

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

БРЕНКВЕЛЛА

4(12)2019

ВРЕМЕНА

**Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал**

Выпуск 4 (12) 2019

**Нью-Йорк
2019**

ВРЕМЕНА
Международный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

VREMENA
International Journal of Fiction, Literary Debate,
and Social and Political Commentary

Publisher Leon Mikhlin

Editor David Guy

Design and layout Slava Petrakov

Copyright © 2019 Leon Mikhlin

No part of this publication may be reproduced or transmitted
in any form or by any means – electronic, mechanical,
photocopy, or any other – except for brief quotations in printed reviews,
without prior permission from the Publisher.

For any information about obtaining permission to reproduce
selections from the journal, please call **917-922-4153** и **646-270-9615**
or send an email to **lbm28w@aol.com** и **guydavid094@gmail.com**

All rights reserved

Printed in the United States of America

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

ИРИНА БАСОВА-ЗАБОРОВА	(Франция)
МАРК ВЕЙЦМАН	(Израиль)
ГЕННАДИЙ КАЦОВ	(США)
ГАРИ ЛАЙТ	(США)
АНДРЕЙ ОСТАЛЬСКИЙ	(Англия)
ЛАРС ПОУЛЬСЕН-ХАНСЕН	(Дания)
СЕМЕН РЕЗНИК	(США)
МИХАИЛ РУМЕР-ЗАРАЕВ	(Германия)
ЭЛЛАЙДА ТРУБЕЦКАЯ	(США)
МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР	(США)
ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН	(США)

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

ГЕННАДИЙ КАЦОВ	
Метробусы	9
ВИКТОР ДАЛЬСКИЙ	
Короткий век любви (пьеса)	63
РОМАН ВЕРШГУБ	
Дмитька	129
БОРИС САНДЛЕР	
Катафалк	146
ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ	
Кот Шрёдингера (окончание)	161

ПОЭЗИЯ

ГАРИ ЛАЙТ	55
МИХАИЛ ШЕРБ	110
ФЕЛИКС ЧЕЧИК	118
ВАЛЕРИЙ ЧЕРЕШНЯ	122

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

ЯКОВ ФРЕЙДИН	
Остров «Быть»	203

ЮБИЛЕИ

МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР	226
ВЛАДИМИР ФРУМКИН	235

СТРАНИЦЫ АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Виктор НОРД	
«Хелло, Долли!» (окончание)	251

МЕМУАРЫ

АНДРЕЙ ФРОЛОВ	
Генерал СМЕРШ (продолжение)	274

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО...

ВИКТОР БРОНШТЕЙН	
Задний проход	285

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжные новинки	292
-----------------------	-----

НАША ПОЧТА

ВЕРА КОРЧАК	
Америка: от либеральной демократии к коммунизму?	297

К ЧИТАТЕЛЯМ

Завершился третий год выпуска международного литературного журнал «ВРЕМЕНА». Издание наше становится объемнее, в каждом номере уже более трехсот страниц. Мы стремимся донести до читателей лучшие образцы прозы, поэзии, публицистики, рожденные авторами, живущими в разных концах света, а не только в Америке. Это особенно важно, ибо количество «русских» литературных изданий, выходящих на бумаге, неуклонно сокращается. Увы, такова тенденция – выпускать их финансово все тяжелее. И уходят издатели массово в Сеть, в Интернет, что намного дешевле...

Напомним: мы не получаем грантов и вообще, какой-либо материальной помощи. Наш проект – благотворительный, филантропический, держится исключительно за счет поддержки издателя Леона Михлина и вашей, друзья, небольшой оплаты за подписку. Еще одно направление нашей деятельности – публикация острой прозы и публицистики российских авторов, которых не печатают в России, опасаясь гнева властей предрержащих.

Весьма важна для журнала обратная связь с читателями. Нам звонят, присылают письма, с нами обсуждают публикации, высказывают критику, пожелания. В связи с этим будем признательны, если вы, господа, оперативно пришлете свои отклики на прочитанное в 2019 году и предложения относительно новой тематики и новых рубрик. Ваши пожелания окажут неоценимую помощь издателю, редактору и членам редсовета.

В первом номере за 2020 год мы опубликуем ваши высказывания.

Связывайтесь с нами по электронной почте guydavid094@gmail.com

Наш журнал – подписной, но отдельные номера и годовые комплекты можно заказать в редакции. Любое пожелание жителей раз-

личных штатов стать подписчиками мы тут же удовлетворяем – стоит лишь позвонить нам и дать свои координаты.

В течение этого года прошли презентации – в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Вашингтоне... Такое прямое общение дает замечательную возможность услышать мнения читателей о журнале.

В редакционном портфеле – немало любопытных и даже сенсационных текстов, которые увидят свет в 2020 году. По вашим, дорогие друзья, просьбам мы усилим раздел публицистики. Уже в первом номере 2020-го года будет опубликован «Круглый стол» с участием читателей, которые выразят свои мнения по актуальным проблемам внутренней и внешней политики США. Напомним: в новом году – президентские выборы...

Также расширится раздел «Библиография». Постараемся знакомить вас с книжными новинками на русском языке, появляющимися в Америке, России, Европе.

* * *

Напомним условия подписки. Они несколько изменились по сравнению с прошлым годом. Годовая подписка подорожала на 10 долларов. Это связано с увеличением объема журнала и, естественно, ростом почтовых расходов. Так что годовая подписка стоит теперь 60 долларов.

Единственная просьба: если хотите остаться нашими читателями или впервые подписаться, не затягивайте эту процедуру, не ждите Нового года. Нам очень важно заранее узнать количество подписчиков и определить тираж.

КУПОН ДЛЯ ПОДПИСКИ

Дорогой читатель! Вот данные по годовой подписке на 2020 год (4 номера объемом более 300 страниц каждый). На чеке надо указать цифру 60 долларов (почтовые расходы включены) и дать название компании издателя заглавными буквами: LM Studio LLC. Чек вложить к конверт и отправить по адресу:

David Guy

97-07 63 Road Apt.11H Rego Park, NY 11374

Телефон для справок **646-270-9615**

Спасибо!

* * *

Вы также можете увидеть нас в интернете, набрав za-za.net и далее кликнуть “Вход в журнальный зал”.

Реклама «Времен» размещена на крупнейшем американо-русском портале «Новый Континент» (<http://nkontinent.com>), в чикагском ежемесячнике «Шалом» (www.obshina.com), а также в Facebook. Реклама журнала появится и в других изданиях...

Итак, мы уходим в четвертый год существования. Надеемся, он будет успешным и мы не разочаруем вас, друзья!

Леон Михлин, издатель

Давид Гай, редактор

Геннадий КАЦОВ

МЕТРОБУСЫ

От редакции:

Перед вами, уважаемые читатели, цикл новелл «Метробусы». Неологизм в названии сразу определяет место действия всего цикла: городской транспорт – метро и автобусы. Подземная, inferнальная часть города, с нашим периодическим и недолгим в ней пребыванием (отсюда – мистическая, мифологическая, метафизическая канва ряда новелл); и наземная, казалось бы, видимая, очевидная, привычная городская топография, но с нечто большим, нежели предлагает нам реальность, если внимательно к ней приглядеться.

Действие новелл, за редким исключением, происходит в замкнутых пространствах вагона ньюйоркского сабвэя и в маршрутных автобусах. При этом – никакой клаустрофобии: вам просто не до нее, поскольку динамика происходящего не позволит расслабиться, да и сюжетные повороты настолько резки и непредсказуемы, что нет времени отвлекаться от остроумного и тревожного авторского письма, за которым стоит наблюдательный рассказчик. Storyteller, как верно определит англоязычный читатель.

Это все можно было бы определить по жанру как смесь **магического реализма и фэнтези**, не детализируй автор ряд проблем, которые актуальны для сегодняшней Америки и подавляющей части американцев. Гендерные и расовые вопросы, угрозы терактов и массовый психоз по этому поводу, религиозная несовместимость и политкорректность, одиночество и семья в мегаполисе, неразрешимые задачи иммигранта и проблемы между детьми и родителями, нищета и неравенство, нашествие робототехники, эскапизм и фатализм, присущие нашему времени.

Удивительным образом в контексте «метробусов» большая часть проблем решается позитивно. А в качестве «приправы» – лирические отступления, связанные с воспоминаниями, с параллельны-

ми, происходящими или давно произошедшими, событиями, которые автору навязывает ассоциативная память.

Весь цикл можно рассматривать, как единое произведение, читающееся с большим интересом как всякая оригинальная проза.

Метро. «О'кэй!»

В вагоне сабвэя напротив меня сидел человек лет семидесяти. Из престарелых хиппи, которых в Америке все еще пруд пруди.

Типичный представитель «flower power» – «власти цветов»: растрепанный, поседевший хайер; шузы, немало впитавшие от добра и зла; джинсы, ровесники своему хозяину; и «психоделическая» рубашка кричащих тонов, чтобы, на случай чего, можно было прятаться в буйных тропиках среди разноцветных попугаев.

На рубашку была надета темная вельветовая куртка: шел гнусный декабрьский дождь, а поскольку зонтик иметь не обязательно, то вода стекала с куртки напрямиком на пол вагона.

Такой себе чувак, чудик, чудесник, «дитя цветов» из хрестоматийного слогана «мир, дружба, жвачка».

Он и жевал увлеченно бутерброд от сети закусовых Subway, и ничего вокруг его не интересовало. Разве что, на каждое объявление по вагону о следующей станции, чувак громко отвечал «о'кэй!».

Остановки на маршруте, как вы знаете, заранее записаны актерским голосом. В нашем случае текст наговорила актриса. К примеру, женский голос произносил: «Следующая остановка – Кингс Хайвей».

Хипарь поддерживал своим «о'кэй».

Без эмоций, но убедительно.

Поезд подходил к станции «Кингс Хайвей». Двери открывались, выходили пассажиры.

Голос по селектору объявлял: «Следующая остановка – Авеню М». Хиппи, забив рот бутербродом, хрипло выплевывал «о'кэй», и продолжал добивать сэндвич дальше.

Удивляла скоординированность их действий: женский голос предупреждал о следующей станции – звучало «о'кэй» – после чего машинист поезда отпускал тормоз и смело двигался вперед.

Складывалось впечатление, что если что-то в этой цепочке не

сработает, поезд дальше не пойдет. Причем, и голосу, и машинисту следовало, видимо, всякий раз свои слово и дело согласовывать с уплетающим бутерброд.

Хиппи в абсолютном пофигизме проводил досуг от одной станции к другой, но на голос отзывался так, будто от быстроты его реакции зависела длина вечернего косяка.

А теперь представьте всю степень моего ужаса, когда я увидел, что за две станции до той, на которой мне надо было выходить, сосед напротив засобирался сваливать и решительно все для этого предпринимал. Он положил остаток бутерброда на пустующее рядом сидение, вытер пальцы о джинсы, высморкался на пол вагона, и когда двери открылись, выбрался на платформу, не оставив мне никаких инструкций.

В вагоне, кроме меня, в противоположном углу сидела, уткнувшись в айфон, молодая китайка; неподалеку от нее – обдолбленный рэпом, вооруженный дорогими наушниками Beats афроамериканец.

Похоже, порядок остановок на маршруте им был до лампочки.

И когда приятный женский голос объявил название следующей станции, я сообразил – а что еще оставалось делать – срочно ответить «о'кэй», стараясь подражать хриплому голосу покинувшего пост хипаря.

Вы не представляете: трюк сработал. Машинист, сделав паузу и, видимо, убедившись в правильности моих голосовых обертонов, закрыл двери вагона, отпустил тормоз и нажал на газ.

На следующей остановке женский голос объявил станцию, на которой мне предстояло выходить – и опять все прошло без нервотрепки: я согласовал название хриплым «о'кэй», машинист исполнил свою часть общего дела, и мы благополучно добрались до нужной мне станции.

Пребывая в эйфории, что так все гладко получилось, я покинул вагон.

И как только оказался на платформе, меня охватила паника. И до сих пор не покидает.

Как они там, в саввэе, без меня? Кто подхватит эстафету и будет вести ребят от станции к станции? Сможет ли он так же безупречно похрипывать, произнося «окэй», чтобы составу не выбиться из графика?

Все-таки, это огромная ответственность, и я не уверен, всякий ли способен заменить нас с хиппи на этом посту.

Я заменить хиппи смог.

Автобус. Любовники

Поначалу ничего не предвещало скандала, тем более – кровавой драки.

Мало ли кто и с какими целями заходит в маршрутный автобус?

Кто спрашивает.

Эти двое – один крупный, грузный, другой поменьше и посуше – вели себя в рамках приличий, сперва ничем не выделяясь среди остальных пассажиров.

Они оплатили свой проезд и уселись на передние пластмассовые кресла.

Тихо и никого не задевая.

Надо сказать, что в автобусах городского маршрута пассажиры ведут себя иначе, нежели в сабвэе. В подземных вагонах, где до машиниста-оператора не добраться, могут и бомжи прекрасно проживать сутками, и хулиганы в любое время дня и ночи нападать на попутчиков. Может и случайная психопатка беспричинно закатить истерику, а нестерпимо громкие школьники готовы тройками-парами метаться по проходу, сбивая по пути все, что попадет перед ними и вокруг.

Если проанализировать проезд по типам общественного транспорта, то у пассажиров автобуса сдерживающих факторов больше, чем у их коллег из сабвэя.

В автобус заходят только с передней двери, водитель при этом осуществляет что-то вроде face control – наружного досмотра. Однажды я видел, как дверь закрылась перед спитым или передозированным молодым человеком, которого так ломало и трясло, что он был не в состоянии стать на ступеньку.

А в сабвэй он бы худо-бедно попал и, возможно, пребывал бы там до глубоких своих седин.

Не располагает компактный салон автобуса к нарушению правил общественного поведения. Были случаи, когда я наблюдал тихо помешанных пассажиров. Не без того. Они никому не причиняли

зла, лишь периодически командуя на воображаемом поле битвы: взмахивали руками, негромко отдавали приказы адъютантам и уверенно тыкали пальцами в сторону вражеской кавалерии.

Попутчиков не трогали, выходили на нужной остановке и все о них тут же забывали.

Эти двое заняли сразу три пустовавших строенных кресла – в переднем отсеке городских ньюйоркских автобусов вдоль прохода, по обе от него стороны, сиамскими тройками стоят строенные кресла, непосредственно за кабиной водителя и напротив.

Пара мужчин лет сорока-сорока пяти расположилась напротив водительской кабины. Тот, что похудей, помоложе и поспортивней, был и одет построжее (черные узкие джинсы, черные остроносые, на высоких каблуках туфли с оловянными застежками, темно-коричневая ковбойка, и в тон – черная кожаная мотоциклетная куртка на молниях).

К бледному лицу прилагались закрученные по краям, аспидного цвета усы. Они шли в комплекте с такими же крашеными прямыми волосами, спадающими до плеч.

Серьга в правом ухе, пирсинг на верхней губе и в обеих ноздрях.

Наколки с картинками, узорами и надписями латиницей на шее, запястье, тыльной стороне ладони намекали на то, что таких тату по всему телу может быть сколько угодно.

Второй был полным, рыхлым, с крупными залысинами. Круглый анфас оливково-желтого оттенка, пивной бездонный живот, плотные ноги и крупные руки учтивого продавца из мясного отдела гастронома.

Одежда на нем служила наглядным примером того, что эклектика – это, прежде всего, эстетика, если к ней со знанием дела подойти эстету: семи цветов радуги рубаха с короткими рукавами не по сезону, распахнутый желтый пуховик, бутылочного цвета джинсы и низкие красные сапоги на каблуках. Ансамбль значимо дополнял шелковый гофрированный шарф в разноцветный горошек.

Мелкий взял в свою руку лапу рыхлого.

Рыхлый обнял мелкого сверху за плечи. И они взасос поцеловались.

От наслаждения живот рыхлого задрожал и вошел в ритм известного турецкого танца, а усы мелкого встали дыбом.

Это был классический французский поцелуй глубокого языкового бурения: языки мужчин сплетались, умело скользили по краям губ, цокали от нахлынувшей необоримой страсти.

Они хотели испить, как писали бы романтики, один другого до дна.

По крайней мере, до нижнего белья.

И ниже нижнего белья, поскольку воля хозяйская, никто не помешает.

Пассажиры вокруг с едва скрываемой злобой начали усиленно смотреть в окна. В воздухе не повисла, а повесилась, казалось, тишина, как перед психическим срывом кого-либо из присутствующих; при этом те, кто всегда увлечен собственными мобильниками, сейчас с какой-то особой преданностью пялились в них, не отрывая глаз.

Уже через минуту нельзя было понять, сидели мужчины или лежали на трех креслах. Если раньше я писал о тихо помешанных в автобусах, то эти оказались буйными. Их ноги, руки, затылки, уши, губы, шеи, торсы, бедра срослись в единый – не ком даже, а некий акт-процесс удовлетворения желаний. Они сопели, чмокали, перешептывались, активно потели, бурно ласкали друг друга и похотливо целовались.

Весь мой опыт пребывания в московском андерграунде в 1980-х, а затем – пятнадцатилетний проживания в центре Манхэттена и походов по самым вызывающе модным клубам, подготовил меня ко всяким неожиданностям. Меня вряд ли можно удивить экстравагантной одеждой, отсутствием общепринятых манер или половым высокохудожественным актом – публичным, постановочным и беспощадным.

Но маргинальное поведение все еще раздражает. Рабочий, что называется, полдень, в автобусе – старики, женщины и дети: в таком порядке обычно говорят о жертвах геноцида, репрессий или терактов, но они и стали жертвами в городском автобусе.

Ведь до следующей остановки из него не выйти, в отличие от сабвэя, где вы можете перейти в любое время в соседний вагон. Они и были жертвами насилия, ведь насилие – не обязательно надругательство над телом. Быть соучастником сцены, которую вы не хотите наблюдать и слушать, однако вынуждены стать ее невольным

свидетелем – это насилие над вашими чувствами и желаниями. Есть не только sex abuse, но и, что общеизвестно, smell abuse, visual abuse, emotional abuse и прочее.

Другое дело, что в наше политкорректное время, когда только Верховный суд США оказался в состоянии защитить религиозного, верующего в своего христианского бога кондитера, который отказал в изготовлении свадебного торта паре молодоженов-гомосексуалистов, мало кто захочет влезать в историю с парой сексуально озабоченных в автобусе мужчин, делая им замечание.

Тем более в Нью-Йорке, где уже не наказывают тех, кто опорожняет мочевой пузырь в общественных местах. Мол, делай что и как хочешь, пока твои действия не считаются уголовными.

Одна из мам, сидевших неподалеку от увлеченной пары, развернула маленького мальчика лицом к окну и, облокотившись на спинку переднего сидения, села так, чтобы полностью перекрыть своей фигурой боковой обзор сыну.

Как-то в манхэттенском кафе «Энивей», в котором в середине 1990-х я был одним из совладельцев, выступал художник-акционист и перформансист Александр Бренер. Тот самый, который в те же примерно годы вышел на Лобное место перед Кремлем, надев боксерские перчатки и выкрикивая: «Ельцин, выходи!»

Бренер читал с листа эротический текст. При этом, расстегнув ширинку и засунув сверху руку в штаны, показывал оттуда кончик большого пальца. Палец, вполне крупного, кстати, размера, то высовывался из ширинки, то обратно в нее залезал.

Эстетический посыл этой акции был понятен.

Какую вместо пальца хотел бы акционист показывать нижнюю часть тела, тоже не казалось присутствующим загадкой. Было ясно, что Бренер провоцировал зал, пытаясь его шокировать, завести, вывести из себя.

На то он и акционист, чтобы подстрекать публику на любого рода реакции. Ради этого публика и пришла. Билеты покупала, инвестировала самое дорогое, что у нее есть – время, в просмотр перформанса, после которого кто-то будет плевать, а кого-то будет трясти от восторга.

В автобусе же, как настаивала в свое время супер-группа «Queen», the show must go on – и хоть умри!

Автобус отошел от остановки на перекрестке двух авеню – Coney Island и U. Партнеры по здоровому сексу уже расстегнули брюки и самозабвенно возбуждались, поглаживая, не при детях будь сказано, гениталии. Нетрудно было предположить, чем закончатся их ласки к ближайшей остановке – авеню T.

Внезапно, едва отъехав от авеню U, автобус остановился. Как раз напротив турецкого ресторана с остроумным и запоминающимся названием east@bull, что при внимательном прочтении означало «Истамбул». Похоже, местные турки решили поразить бруклинцев своим креативным мышлением.

Дверь кабины водителя резко распахнулась. Из нее выскочил разъяренный латиноамериканского типа крепкий мужик, с обезумевшим взглядом и покрасневшим от негодования лицом. Он что-то выкрикивал, но поначалу слов было не разобрать.

Он сделал несколько шагов по направлению к рыхлому и с силой заехал кулаком ему по носу. Тут же, развернувшись, одним ударом снес мелкого с кресла, и тот улетел, визжа, в проход.

Водитель бил рыхлого двумя руками с такой скоростью, что тот не успевал защищаться. У него не было никакой возможности подняться с сидения под градом ударов, то есть, он пробовал встать, неповоротливо и что-то извиняющимся тоном проговаривая, но нападавший ударами отправлял его обратно, в уют пластмассового кресла.

Из носа рыхлого фонтаном била кровь. Скорей всего, водитель сломал ему перегородку.

Кровь брызнула на желтый пуховик и рубашку, пестрый шарф мгновенно набух алым соком, а рыхлый продолжал получать удары в челюсть, в нос, в лоб, в горло. Создавалось впечатление, что слетевший с катушек водитель его на наших глазах убьет. Сейчас, на этом месте, далеко не отходя от своей водительской кабины.

И здесь я услышал – не только о его намерениях, но и о причине столь дикой вспышки гнева.

Водитель прокричал: «Я убью тебя!»

И добавил, поначалу необъяснимо для посторонних, мужское имя – то ли Рамон, то ли Рауль.

Сходу было не разобрать.

Он назвал рыхлого по имени.

Уже несколько пассажиров бросились к водителю, пытаясь оттащить его от свесившего голову на грудь полуживого Рауля или Рамона, а водитель продолжал, сопротивляясь и рыдая, у него текли по щекам слезы, вопить: «Я убью тебя, Рамон! Я убью тебя, Рамон! Я убью тебя, Рамон!»

Все еще было не понять, Рамон или Рауль, но суть происходящего быстро прояснялась, как буквы, нанесенные на бумагу симпатическими чернилами. Водитель и Рамон-Рауль не только знали друг друга – они-то и были любовниками. А сцену в автобусе заговорщики разыграли между собой, чтобы по какому-то поводу досадить водителю и вызвать чувство ревности.

Подождали автобус на маршруте, сели напротив главного зрителя.

Дальше все пошло, как по маслу.

Задумали поставить спектакль, но, похоже, переиграли. То ли перестарались, то ли, действительно, увлеклись, будучи мужчинами южными, горячими, страстными.

При таком остром чувстве ревности оставалось только удивляться, как водитель не разнес на куски весь автобус со всеми его пассажирами.

Я мог ошибаться, и едва прояснившийся сюжет мог бы стать исключительно продуктом моей фантазии. Однако, мелкий, пробежав по проходу, бросился на безумного водителя с кулаками, выкрикивая: «Ты его убил! Ты убил его, подонок! Он любит тебя, а ты его убил! Идиот!»

Моя догадка подтвердилась.

Потом, когда медики выносили из автобуса Рамона-Рауля, и рука его театрально свесилась с носилок, а полицейские выводили из автобуса в наручниках водителя и мелкого усаца, все еще нервно размазывавшего над верхней губой кровавую юшку, один из полицейских заметил другому: «Дебилы! Не выношу латиноамериканских сериалов».

Замечание неполиткорректное, варварское, но верное.

Латиноамериканские сериалы изобретают по таким жизненным сценариям, от которых в реальности становится тошно. Я их не смотрю, но такое ощущение могу предсказать.

Хотя возможен и другой вариант: жизнь реализует такие лати-

ноамериканские сериалы, от которых – только жуть и тоска. Причем, они могут настигнуть вас одновременно в одном, отдельно взятом североамериканском маршрутном городском автобусе.

Который с утра до ночи мирно колесит по дорогам Бруклина.

Метро. Теракт

«О, боже! Я не хочу умирать! Я не хочу умирать!!!»

Средних лет афроамериканка истошно вопила: О, my god! I don't wanna die, I don't wanna die! – и если бы не она, вряд ли в вагоне обратили внимание на этот неприметный пакет.

В том месте, где он обнаружился, сидела, до выхода на предыдущей остановке сабвэя, мусульманка в никабе. Черная с головы до пят, молчаливая фигура с парой выглядывавших сквозь прорези глаз.

Рядом с мусульманкой стояла коляска, в которой спал ребенок, сразу вспомнилось мне, и вышла она минуту назад из вагона, толкая коляску перед собой.

Дверь за ней закрылась, поезд плавно отошел от станции, после чего, почти сразу, заорала на фальцете афроамериканка, сидевшая напротив того места, которое покинула женщина в никабе.

На опустевшем сидении остался непрозрачный пластиковый пакет. В нем что-то находилось, выпирая несколькими углами наружу.

Я уверен, паника бы не возникла, не начни женщина безумно визжать, указывая в ужасе рукой в сторону пакета.

Да, само собой, *see something – say something*, как уже много лет нас, пассажиров и пешеходов, предупреждают повсюду городские плакаты и спецслужбы, но не биться же в истерике с выпученными от страха глазами, когда этот самый «самсинг» вдруг перед собой возник.

А если это не террористический «самсинг», а мирный?

Без взрывчатки, в чем я был почти уверен.

Правда, мелькнуло далекое воспоминание, заученная текстовка для экзамена по гражданской обороне: при взрыве одного килограмма тротила происходит разрыв внутренних органов и возможен смертельный исход, если вы находитесь на расстоянии от 1 до

3,5 метров. А если вам повезло оказаться на расстоянии до 15 метров от места взрыва – гарантированы травмы и контузия.

Конечно, там ни слова не было сказано о том, как разрывает взрывной волной борта вагона, как скоро могут задымиться загоревшиеся обшивка и изоляционные материалы?

Как, в конце концов, выбраться из него, вставшего во время перергона, полыхающего и с выдуваемыми в мрачный туннель клубами дыма?

Естественно, как тем выбраться, кому повезет после взрыва уцелеть.

Такая чертовщина полезла в голову в считанные мгновения, поскольку пассажиры бросились от пакета врассыпную, оказавшись по оба конца вагона. Мозг отказывался воспринимать все происходящее всерьез, но инстинкт самосохранения подсказывал, что лучше держаться от опасного пакета подальше.

И сделать это, по возможности, стремительней и центробежней.

В левом конце вагона дверь оказалась незапертой и человек пятнадцать пытались одновременно протиснуться в узкий дверной проем. Давка, крики, невыносимые последние аккорды борьбы за жизнь.

Сильные отталкивали слабых. Кто-то пытался успокоить страсти, но его не слышали.

Пакет продолжал угрожать с пустого сидения.

Я с моим счастьем оказался в противоположном конце вагона. Дверь в соседний вагон была заперта.

Нас, похоже, обреченных, если рассматривать обстановку как боевую, столпилось тоже около пятнадцати человек. И до пакета, тут уже начинаешь верить в нумерологию и гематрию, было не больше пятнадцати метров.

То есть, на части не разорвет, но контузит и покалечит прилично.

Чушь какая-то. В обычный рабочий день, в мирное время, в самом неприглядном месте Нью-Йорка – в подземке. Умереть от теракта?!

Весь это бред усугублялся еще и тем, что психопатка, заметившая пакет первой, оказалась именно в нашей команде смертников, и

тряслась в рыданиях, поминая бога и дьявола с частотой проклятий в ее адрес со стороны окружающих.

С одной стороны, чокнутую просили заткнуться, но с другой – кое-кто уже звонил по мобильнику, в попытке связаться с родными для последнего «love you!» перед уходом на тот свет.

Дверь не открывалась. Связь не работала.

Все это лишь усиливало панику.

Бежать было некуда. Я зажмурил глаза, поддавшись общему настроению – слаб человек – и приготовился к худшему.

В это время в пакете сухо щелкнуло – и раздался оглушающий, разрывающий барабанные перепонки грохот.

Взрывная волна выгнула и вырвала вертикальные хромированные поручни, которые мгновенно вышибли стекла, или сама взрывная волна стекла и вышибла, отрывая по пути кресла и выворачивая наизнанку пол листом мебели. А за всем этим из чернильной клубящейся глубины вырвались языки пламени.

Удушающий дым сгущался, заполняя преисподнюю мигом и выдавливая вместе с собой воздух в раскоряченные двери и в полые оконные проемы.

Воздуха категорически не хватало.

Свет потух. Запахло паленой пластмассой, резиной, гарью и концом жизни.

Верней, все было категорически не так.

Я открыл глаза.

В это время отбросил рваное, грязное ватное одеяло лежавший под ним мужичок.

Всю дорожку он хрипло и громко распевал какие-то маршевые песни, похоже, рассчитанные для строевой подготовки, периодически поднимая край одеяла и оттуда выглядывая.

На нем была вязаная красная шапочка, из-под которой выползал наружу безумный мутный взгляд.

Вытянув ноги, мужичок занимал всю скамью, параллельную проходу, и чувствовал себя по домашнему уютно, как и прочие городские бомжи, алкоголики и наркоманы, прятавшиеся от январских морозов в вагонах подземки.

Когда толпа с шумом разбежалась в противоположные от пакета стороны, мужичок высунул красную шапочку с таким же крас-

ным носом из-под одеяла, и удивленно за локальным переселением народов наблюдал.

В какой-то момент он вытащил руку и, не отрывая взгляда от ломившихся в распахнутую дверь в конце вагона, сделал несколько глотков из открытой пивной банки.

Расплескал пиво по седой щетине подбородка и на выцветшую фуфайку, но одним пятном больше, одним меньше – кто считает.

После чего, оказавшись наедине с пакетом в освободившемся от пассажиров центре, практически, вагона, мужичок сбросил на пол одеяло.

Огляделся по сторонам. Не находя причин для беспокойства, он опустил с пластмассовой скамьи ноги в повидавших на своем веку светло-грязно-без-шнурков высоких ботинках.

Не спеша поднялся.

Поставил почти пустую пивную банку на сидение. Сделал шаг к лежащему в трех-четырех метрах по диагонали от него пакету и стиснул его правой рукой.

Истеричка подавилась своим последним криком.

Те, кому еще не оторвали голову в битве за взятие открытой настежь двери, застыли в неестественных позах и тарасились в глубину вагона, показывая чудеса левитации. А окажись президент какой-нибудь кавказской страны в нашем углу, он бы машинально начал жевать собственный галстук.

За неимением президента и галстука, рядом со мной стоявший молодой человек стал нервно колупаться в носу. Крайне нервно и очень активно.

Было бы противно на это смотреть, захоти я отвлечься от того, что происходило в эти секунды с бесстрашным мужичком.

Он взял пакет.

Героически открыл его.

Опустил голову, пытаясь разглядеть содержимое.

Затем, недовольный результатом, вывалил все составные части взрывчатого вещества, как и положено хозяину дома, на сидение.

Частью взрывчатого вещества оказался пустой бумажный стакан с пластиковой крышкой и торчащей сквозь нее трубочкой. Остальными частями были смятая коробка от халяльной, видимо, жареной куриной четверти из KFC, салфетки, белые пластмассовые

ложка и вилка с ножом, и прозрачный куб с остатками овощного салата на дне.

Короче, мужичку поживиться оказалось нечем.

Он еще раз посмотрел по сторонам.

Ничего не пытаясь изменить, в который раз убедился в том, что вокруг полно сумасшедших, и вернулся на скамейку, под родное мягкое одеяло.

Накрыл им голову.

Надо думать, мгновенно уснул.

Поезд подошел к станции. Вагон очистился буквально в секунду. Надо или не надо было сходить на этой станции, но вышли все.

Выжившие, сконфуженные, не контуженные, еще не до конца осознавшие, что в пакете ничего угрожающего их судьбам не было.

Я покинул вагон. Двери за мной закрылись.

Мне захотелось оглянуться.

Вагон был пустым, на первый взгляд безлюдным. Безучастным в своем запрограммированном вперед движении по рельсам.

Вдоль скамейки под одеялом лежал безумный спаситель нескольких десятков заурядных психов, рассредоточивавшихся сейчас по платформе сабвэя молча и незаметно.

Стирая воспоминания о произошедшем как можно скорей.

Мне показалось, что невольный наш спаситель поднял руку над одеялом и помахал мне на прощание.

«А не пошел бы ты к черту!» – выкрикнул я про себя.

Было бы хорошо, если бы он меня не услышал.

Автобус. Знакомство

В автобусе мужчина пытается познакомиться с женщиной, сидящей рядом.

Оба уже не первой молодости.

На лице мужчины широкие, ухоженные усы ловеласа, над которыми бегают озорные глазки. Пальцы цепкие, такими пальцами – сразу к горлу.

Мужчина говорит не переставая.

Энергии и слов у него много, а тема не важна, поскольку главное – не делать пауз.

Он уже выяснил, на какой остановке женщина выходит, так что время пошло и здесь основной работающий принцип – не останавливаться. Что производит, похоже, на соседку впечатление.

Бесспорно, она очарована, обольщена и обворожена.

Остаются, правда, мелкие вопросы.

– А сколько вам лет? – интересуется женщина.

– Мне сорок шесть, – флиртуя, отвечает мужчина.

– Так вы меня младше!

– Пятьдесят, – парирует мужчина.

– Ну...

– Пятьдесят четыре, – настаивает ловелас.

– Вот это другое дело, – подводит итог женщина, и они продолжают быстро знакомиться, поскольку ей уже совсем скоро выходить.

Метро. Час пик

На Манхэттене все дороги к метро ведут под землю. В Лондоне подземка так честно и называется – Underground.

Уже в Бруклине, Бронксе, Квинсе поезда выходят на поверхность, но метро в Нью-Йорке – это повсюду Subway, то есть дорога с приставкой «саб», как и в случае с подводной лодкой: submarine.

А дальше, попав под землю, равно как и под воду, вы должны быть готовы к тому, что там – другой мир, с неведомыми пространствами, запасом кислорода и странным освещением, о чем нас давно предупреждали Орфей с Данте.

Мир алогичный, и к этому надо быть всегда готовым.

Я возвращался в час пик домой.

В перегруженном вагоне, через одного пассажира от меня, сидела девушка лет двадцати, увлеченно читая книгу. Уже одно это выделяло ее среди прочих, поскольку сегодня читают, в основном, с экрана мобильного, а остальные слушают музыку, надев наушники и закрыв устало глаза.

Обладательнице книги досталось что-то комическое. Время от времени она радостно фыркала и громко всхлипывала, при этом книга подлетала вверх, затем читательница начинала так искренне

хохотать, будто рядом сидящий скучный тип с бородкой щекотал ей подмышки.

Хохотала она заразительно. «Аа-хахаха-ха-хаха!», – закатывалась девушка на весь вагон. Соседи начинали улыбаться, напротив парень с подругой – строить смешные рожи, а старушенция, уже засыпавшая через проход, резко распахивала оба глаза и, таращась на источник смеха, попискивала забавными «хихи-хихихи!», поддерживая читательницу почти в терцию.

Понятно, вся эта история развлекала пассажиров вагона. Они как-то возбужденней стали тереться друг о друга, и всех, кто стоял и сидел, прыскающая от смеха девушка просто вынуждала отбросить свои банальные мысли о природе зла вокруг и улыбаться, как минимум.

Ехавшая с мамой девочка-подросток лет двенадцати определенно была счастлива такому развлечению. Она залиvisto «гигикала» так, что вагон уже раскачивался от смеха, теперь не фрагментарно звучавшего из разных его углов и почти со всех сидений.

Мне стало любопытно, что же девушка читает.

Поскольку книга периодически взлетала с ее колен, то увидеть обложку удалось без напряжения. Это оказался писатель второй половины XX века Джером Сэлинджер с его короткими, как было напечатано по-английски *Short Stories*, рассказами.

Насколько я помню, ничего такого в мистическом творчестве Сэлинджера, чтобы захлебываться да изнемогать от хохота, не было в помине. Так можно дойти и до рассказов Чехова, а затем перейти к его же «Степи», чтобы совсем умереть от безостановочного смеха.

Сэлинджер – мастер символических, с затаенным смыслом рассказов, и открытых (пусть читатель сам додумает) финалов, но эти истории не могли стать причиной такой активной читательской реакции. В них был точный язык рассказчика, понимающего философию и сатиру жизни. Были меткие неожиданные определения, нестандартные придурки-герои, стилистический блеск, загадочно переплетенные сюжетные ходы, построенные на цветовой гамме санскритской поэтики и оптике дзен-буддизма...

Но чтобы от всего этого богатства, основанного на восточных мифологиях, ржать и валиться с сидения в вагоне сабвэя? Чтобы, простите, вот так уписываться от хохота, так прыскать, уморяя себя

неудержимым пырсканьем – поводов для этого в писателе Сэлинджере было явно недостаточно.

Другое дело, что я ничего в Сэлинджере, возможно, не понимал, и отраженные в его «Девяти рассказах» «девять чувств» драматической поэзии затмили, видимо, ироническое письмо, некую балаганно-юродческую фактуру изложения, в которую так глубоко въехала двадцатилетняя американская читательница.

Вероятно, в свое время я как-то не так писателя Сэлинджера прочитал.

Старушка вытирала слезы, накатившие от смеха. Парень с девушкой катались по своим сидениям, восторгаясь хохотушкой напротив, а двенадцатилетняя девочка уже всю икала, так ей было от всего этого весело. Даже скучный тип с бородкой, которого можно было подозревать в щекотании подмышек, повеселел, иронически о чем-то своем улыбаясь.

Я не мог поверить, что причиной такого мини-карнавала могли стать блистательные, но вовсе не убойные, говоря о комическом, рассказы писателя Сэлинджера.

И тут девушка, продолжая прыскать и давиться, встала со своего места.

Ей надо было выходить на следующей остановке, до которой оставалось не больше минуты.

Она держала книгу в левой руке.

Она закрыла книгу и направлялась к выходу из вагона.

На обложке книги, снизу вверх, ярко горели крупные литеры «Короткие рассказы».

А над ними – имя автора: Вуди Аллен.

Есть такие книжные издания, когда два автора, или два романа, два сборника стихотворений или рассказов выходят под одной обложкой. У таких книг нет привычных начала и конца, а есть только начала по краям, при этом концы сходятся в середине книги.

В нашем случае, в зависимости от того с какой, задней или передней, обложки вы возьмете книгу в руки, у вас получится либо Сэлинджер, либо Вуди Аллен. Последний – тоже американский писатель, наш современник, и уж точно юморист – с нередко мистически-иудейским акцентом. Чемпион яркой репризы, мастер анекдота и виртуозно написанных смешных рассказов и сценариев.

Само собой, под настроение и при обостренном чувстве юмора, от Аллена можно ухохатываться и вести себя, задыхаясь от смеха, неадекватно. В общественных местах, под землей, под водой, да хоть на Северном полюсе и в глубинах далекого космоса.

А писатель Сэлинджер здесь не при чем.

Скажем мягче и не так категорично: может быть, не при чем.

Ведь в условиях подземки, на определенном расстоянии от поверхности земли, все возможно.

Сабвэй, как я себя и предупреждал, это особый, парадоксальный мир.

Автобус. Мобильная реклама

На выходных обещают снегопад. По мне, так поскорей бы, поскольку бесснежная в этом году зима – это нескончаемые морозы все 24 часа в сутки.

А со снегом, возможно, станет теплей.

Есть такая народная примета.

Все последние дни температура воздуха не поднималась по утрам выше 20-22 по Фаренгейту. При ветре и неутомимой нью-йоркской влажности – это, по моим ощущениям, в районе античеловечных градусов десяти.

Стынешь на ледяном ветру в ожидании автобуса, затем сидишь в тепле свои положенные семь остановок, после чего выходишь, а до центра Антарктиды – двадцать шагов, не больше.

И так каждый рабочий день.

Я никогда не понимал и не пойму всех этих амундсенов с пири, которые героически идут к любому из земных полюсов, не имея никаких шансов отогреться в маршрутном автобусе.

Середина января.

Снега нет, и не было, если не считать буран 14 ноября, который закончился едва ли не сразу после того, как вяло начался. Не лети я в тот день в Израиль и не столкнись с задержкой рейса в аэропорту им. Кеннеди на шесть часов, кто бы об этом буране сейчас вспоминал.

А пока снега нет, сегодня, во вторник днем, я сел в автобус после работы, прилично и привычно обмороженный. Можете пред-

ставить, каково было коченеть на автобусной остановке ранним утром?

В салоне пассажиры грелись, как могли, не отнимая, естественно, ни секунды от просмотра мобильных.

Кто-то размяк в тепле, клюя носом; кому-то было интересно, как снаружи выживают на таком холоде пешеходы, и он смотрел в окно.

На остановке вошли, оставляя пар дыхания за спиной, несколько пассажиров.

И тут я почувствовал нервное беспокойство среди присутствующих. словно нежданный энергетический болид разорвался у водительского кресла, да так, что головные уборы снесло даже у тех, кто сидел в задних рядах, на галерке.

В салоне возник молодой человек. Физически крепкий, роста среднего, черноволосый, белокожий, с явной тягой к сине-пунцовым оттенкам на носу и щеках, поскольку вошел он с мороза.

Если бы к этому описанию нечего было добавить, то и рассказ мой не стоило бы начинать.

На молодом человеке были модные лиловые, немного под цвет щек, кроссовки, джинсы с положенными дырками в районе бедер и колен, и красная майка с короткими рукавами.

Я хочу сказать, что кроме красной революционной майки, верхнюю часть атлетической фигуры ничего больше не покрывало.

Парень прошел внутрь автобуса и оказался на сидении передо мной.

Вообще, я давно заметил, что у мобильных появляются конкуренты, когда что-то аномальное, занятное или опасное происходит за пределами их экранов. Здесь оказался такой букет, что даже маленькая девочка отложила свою электронную игру и уставилась в ходячую, а теперь уже и сидячую аномалию.

Она пока не понимала, смеяться ей или рыдать.

Когда-нибудь мое любопытство добром не кончится, но я не утерпел и поинтересовался у молодого человека, с какого такого бо-дуна он интригует окружающих и одет не по сезону?

Для ответа не понадобилось и трех секунд.

Молодой человек будто ждал моего вопроса и с готовностью поднялся с сидения, показывая надписи на майке мне и моим соседям.

– Грандиозное открытие ресторана! – он указал название ресторана, выделенное ядовитым желтым на груди, и выкрикнул его имя. – Всю эту неделю, с 12 часов дня! – он подчеркнул пальцем на майке соответствующие часы работы в районе пупка.

Повернулся спиной: – Блюда кавказской кухни!

На спине было отпечатано краткое меню ресторана с заслуживающими внимания блюдами от шеф-повара.

– Так вы – мобильная реклама? – не боясь выглядеть идиотом, я попросил подтверждения того, в чем можно было не сомневаться.

– Да. Приходите в ресторан, очень вкусно! Хачапури, пхали, лобио, сациви, чахохбили, харчо, хинкали, аджапсандали, чакопули, сацебели, шашлык, – без запинки выпалил рекламный парень.

– И вам не холодно?

– Тренируюсь с детства, – он перешел на тон вполне человеческий. – Я стоек к низким температурам, как Вим Хоф. Знаете такого голландца? Ну, вот, – посвятил в тайны профессии «ледяной человек». – А реклама креативная, привлекает внимание.

Безусловно, владельцу ресторана надо иметь особые революционные мозги, чтобы проводить рекламную кампанию подобным образом.

– А почему рекламируете в автобусе?

– Не, – ответил закаленный с детства рекламный агент. – Я уже час ходил вокруг ресторана и по соседним улицам. А потом стало холодновато, но не пойдешь же в соседний ресторан или в ближайшие офисы. Вот я и решил: остановок пять проеду, а потом обратно еще пять.

– Так вы к нам погреться?

– Да, погреюсь – и на работу.

Славный оказался малый.

Натуральный, по-моему, «отморозок».

Я от изумления забыл спросить, как его зовут. Хотя, вероятно, еще встретимся.

Ведь открытие ресторана – всю неделю, с 12 часов дня.

Метро. Время ланча

Лучше бы мне было не просыпаться.

После таких слов необходимо дать пояснения. Иначе выходит, что остальные, видите ли, просыпаются безо всякой задней мысли, а я, по какой-то уникальной причине, оказываюсь перед выбором из двух возможностей.

В дальнейшем будут раскрыты и причины, и их последствия.

Пока же я заснул в вагоне сабвэя, следовавшего из Манхэттена в Бруклин. Это мне никогда не удастся в маршрутном автобусе, зато в сабвэе, под монотонный стук колес о рельсы, при приглушенном свете, веки опускаются сами, дыхание становится равномерным, спокойствие мягким коконом облегает расслабленное тело – и всё, ты в объятиях Морфея-Кашпировского.

Ничего тебя не интересует, кроме черного квадрата под веками, на котором, как на темном экране, возникают абстрактные цветные полосы и прочие бессмысленные супрематические объекты.

Субъект же спит. Его сон чуток и недолог, в большинстве случаев – ровным счетом до следующей остановки.

На этот раз до следующей остановки я не дотянул. Неопределенный внешний раздражитель заставил раскрыть глаза и осмотреться вокруг.

Первое, что я ощутил – общую наэлектризованность в мчащемся с приличной скоростью вагоне. Соседка слева от меня, средних лет белая женщина, в левой руке державшая зеркальце, а правой наносившая косметику на ресницы и брови, недовольно фыркала и возмущенно раздувала ноздри; крупная афроамериканка справа от меня отвлеклась от чтения книги и картинно зажимала нос двумя пальцами.

Напротив нас сидела девушка восточной наружности. Скорее всего, японка.

Прожив в нью-джерсийском Палисайд Парке десять лет, я научился отличать японцев от китайцев, тем более от корейцев, с вероятностью попадания 60-70 процентов.

Тайну не раскрою. Это непростая тема и разговор сейчас не об этом.

На девушке было светлое трикотажное пальто с ярким расти-

тельным орнаментом на лацканах. Лицо казалось гладким, без морщин, что для японцев норма, а взгляд, очевидно, благодаря узкому разрезу глаз, был слабо сфокусирован.

На правую руку была надета белая лайковая перчатка. Так неудачно, словно девушка надела перчатку с левой руки. По крайней мере, руке в перчатке было тесно и неудобно, и она лежала, вывернувшись вверх ладонью, на правом колене.

На левом находилась коробка из тонкого пенопласта с открытой штампованной крышкой.

В коробке шевелились розовые черви и какие-то пиявки в пурпурной масляной подливе, от которой, видимо, и разносилась убийственная вонь по всему вагону.

В отличие от пассажиров городского автобуса, в городском метро едят часто, с аппетитом, выбрав блюда нередко самые пахучие.

Как широко распространенные, так и экзотические. Хотя, какой-нибудь банальный гамбургер с луком не обязательно уступит прочесночному шедевру вьетнамской кухни, а мексиканский буррито с резким перцем халапеньо (jalapeño) в виде гарнира – не готов отдать пальму первенства креольскому супу гамбо с поражающим все живое калифорнийским перцем рипер (reaper).

Распространенная в сабвэе практика – выложить съестное на колени и уплетать за обе щеки, не обращая внимания на соседей. Японка брала левой рукой в лайковой белой перчатке извивающегося червяка и, опустив его в густой соус, отправляла в изящный рот.

Ее губы были выкрашены ярко-рубиновой помадой.

Вслед за червяком, без лишних эмоций, экономными движениями она брала жирную пиявку, привычно вымачивала ее в соусе, и посылала в аккуратный ротик.

Те, кто сидел с японкой рядом, освободили места справа и слева.

Коробка с беспозвоночными деликатесами распространяла такое зловоние, о каком могли только мечтать изобретатели химического оружия. Невыносимое амбре, казалось, уничтожит всех, кто не надел противогаза, но таких в вагоне было подавляющее большинство.

Точней, никого в противогазе не оказалось вообще, так что сто процентная смертность пассажиров была гарантирована.

За исключением поглощавшей червей с постоянством пневматического молотка, самой японки. Она молча отправляла еду, не пережевывая, в пищевод.

Пища была органической, полезной для организма, но настолько острой, что у японки текли слезы. Они смешивались с черной тушью, которая грязными ручейками стекала по щекам к подбородку. Почти по цитате из романа «Лови момент» Сола Беллоу: «... и беспомощность, и запах непролитых слез».

Это если считать, что и запах есть, и слезы уже пролиты.

Поезд из подземки выбрался на Манхэттенский мост и остановился.

Похоже, жить оставалось недолго.

То, что произошло дальше, описать нетрудно, но перенести было невыносимо. Японка схватила двумя пальцами очередную пиявку, поднесла руку в перчатке к губам – и в этот момент ее голова развернулась ровно на сто восемьдесят градусов, лицом к окну.

Тело не шелохнулось, не сдвинулось ни на миллиметр.

Колени, грудь, плечи – все оставалось на месте. Плюс голова, обращенная к зрителям затылком.

Рука продолжила движение, послав слизкую тварь в то место, где у гурманки прежде находился рот, и вдавливая маслянистое тело с поперечными перетяжками в черные густые волосы японки.

Ее пальцы разжались.

Пиявка выпала. Беспомощно шевеля присосками, покатилась по светлому пальто и тяжело шмякнулась на пол вагона.

Это был кошмар, в который можно поверить только в состоянии наркотического трипа либо белой горячки. Люди верещали так, будто их завели в газовую камеру, но при этом каждому черная тень орла еще выклевывала печень.

Внутри летального группового шока раздались крики, в череду которых настойчиво выделялось: «Он! Он! Вот он!»

В дальнем углу вагона высокорослый мужчина удерживал парня студенческого возраста, и тряс его, пытаясь выбить из молодого человека душу. Студента мотало из стороны в стороны, как бельевую веревку под порывами ветра.

В руке он держал что-то вроде мобильного телефона, но без экрана. Когда устройство у него отобрали, на передней панели мож-

но было увидеть всего несколько кнопок, при полном отсутствии буквенной и цифровой клавиатуры.

Это был миниатюрный пульт дистанционного управления.

Студент заикался, ничего не мог объяснить и был напуган, понимая, что осатаневшая толпа сейчас его разорвет. Не знаю, отменяли ли в Америке суд Линча, но вряд ли кто мог бы гарантировать в этот момент студенту неприкосновенность и его безопасность.

На следующий день, когда в городских таблоидах «Нью-Йорк Пост» и «Дэйли Ньюс» появились сенсационные статьи по поводу всего произошедшего, я обнаружил, что стал участником культурно-научного эксперимента, за который группе экспериментаторов, надеюсь, можно будет предъявить коллективный иск.

Организаторами этого шокинга оказались несколько компаний. Одна из них занимается разработкой секс-роботов третьего поколения, которых, вслед за поколением роботов Affetto, созданных японцами и похожих на настоящих детей, не отличить от взрослых, половозрелых сапиенсов. Они умеют моргать, открывать рот, достоверно двигать руками и передвигаться по-человечески. Поэтому основной проблемой было, не обращая на себя лишнего внимания, протащить японку-робота в вагон и посадить в правильном положении.

Еще одной задачей было все сделать так, чтобы при дневном свете нельзя было распознать на ее лице отсутствие мимики, то есть увидеть в ней куклу. Поэтому было решено развернуть лицо от зрителей в сторону окна, едва поезд выйдет из туннеля к дневному свету.

Второй компанией оказалась группа художников, работающих в жанре шокинга. Они заявляют, что подобными акциями исследуют поведение человека в шокирующих условиях, которые усиливают и без того нелегкое пребывание горожан в урбанистическом пейзаже.

Они снимают скрытой камерой реакции подопытной группы в нестандартной обстановке.

Они фиксируют стресс, погружающий в массовый психоз по всему спектру органов чувств.

Здесь очевиден расчет на скрытые в современном человеке архетипы и фобии, архаическую мистику, актуальные мифы. На веру

в искусственный интеллект и разумных гуманоидов, в последствия многолетних культурных влияний на массовые эстетику и психику обывателей – от трансценденций Гилберта и Джорджа до попыток Марины Абрамович и Улая создать коллективное существо, называемое «другое»...

Мне с ними все понятно. И станет еще понятней, если по решению суда пострадавшие получают от этих исследовательских групп компенсации за пережитые психические травмы.

Непонятно одно.

Японка методично поедала червей. Это вводило зрителей в состояние шока, а ученые и художники в реальном времени замечательно сей феномен исследовали.

Но из глаз робота текли настоящие слезы.

От перца в соусе японка начала плакать, но возможно ли это у робота?

Никто из исследователей не сказал, что именно так и было задумано экспериментом. Наоборот: вызывающе отвратительное питание должно была отвлечь взгляды от технического несовершенства черт японки, от искусственной мимики.

Окружающие, пораженные зловонием и тошнотворным видом еды, в последнюю очередь обращали внимание на то, что перед ними – лицо не-человека.

А слезы, вытекающие из узких глаз, как раз могли привести к обратному: к сосредоточенности взглядов на кукольном лице, что устроителям было абсолютно не нужно.

Робот плакал сам по себе, и это не было учтено разработчиками программы.

Не было.

И если задаться вопросом о душе и теле в таком ракурсе: «Что же в нас плачет: тело или душа?», – то в случае с роботом – а ведь плачет, думаю, душа – она, как оказалось, есть.

У нашей японки-робота душа плакала.

Автобус. Полезный муж

В бруклинском автобусе.

Утро. Пожилой дядя сидит, рядом с ним стоит в проходе средних лет женщина.

В процессе их беседы, завязавшейся по ходу поездки, выясняется, что женщина недавно переехала в Америку.

– Надо учить английский, – говорит дядя. – Это первое условие.

– Да, я понимаю, – поддерживает тему женщина.

– А муж чем занимается?

– Он портной.

– Ну, – воодушевился дядя, – хоть пуговицы будет вам пришивать.

Метро. Паранджи и никабы

Я не в первый раз попадаю в такую неприятную обстановку.

Несколько лет назад мы с женой были в Лондоне.

Лето, жара, конец июля.

После посещения Букингемского дворца зашли в Гайд-парк. Неподалеку от входа – симпатичная, с виду, кафешка, тихая, тенистая.

И далеко ходить не надо, поскольку уже и жажда замучила, и перекусить нам, туристам, пора.

Входим внутрь. Помещение просторное, интерьер умиротворяющий, свет от высоких окон мягкий.

Прочные деревянные столы с удобными креслами.

Ни на что больше мы не успели обратить внимания. Это как если бы внезапно, пробив стену, в кафе на скорости въехал грузовик: здесь опасно! надо выбираться отсюда как можно быстрее!

Такие же тревожные мысли возникли, едва мы огляделись по сторонам.

В зале находились, уж не помню – в безмолвии ли, несколько десятков женщин с детьми. Поскольку на всех были надеты никабы, то не могло быть полной уверенности, сколько среди них женщин, а сколько детей. Да, и нет ли среди них, под никабами, мужчин – тоже вопрос, хотя с этого места уже начинает паниковать моя обывательская паранойя.

Никаб – это мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз.

В кафе сидели несколько десятков посетителей и подозрительно, создавалось ощущение, смотрели на вошедших сквозь узкие прорези. На некоторые фигуры была надета паранджа, то есть прорези были затянуты мелкой сеткой, чтобы еще и глаз не было видно.

Все это представлялось не менее дискомфортным, нежели случайно попасть в похоронную процессию: ты не видел людей, только их грузные бесформенные фигуры, с головы до пят, от мала до велика одетые в черное.

И все они молчаливо разглядывали тебя, словно ты бесстыдно возник перед ними, в чем мать родила.

Нечто подобное я испытал, войдя сегодня в вагон сабвэя. Поезд следовал из Манхэттена в Бруклин, и в этот полуденный час в нем оказалось необычно много пассажиров. Они заняли почти все места и плотно стояли в проходе, так что, оказавшись в центре вагона, мне уже никуда отсюда было не деться.

Я обнаружил себя в окружении тридцати, не меньше, женщин, сидевших в никабах, паранджах и бурках. В застывших позах они расположились впереди и сзади меня, как справа, так и слева по ходу движения. Часть из них смотрела в мобильные телефоны, часть – на пассажиров, внимательно изучая их, как мне представлялось, из-под прорезей в черной легкой ткани.

Они ничем не угрожали, но исходило от этой группы чувство, явно мною накрученное, опасности, как от любого «чужого», чьих намерений ты не знаешь, и чье лицо от тебя скрывают. Как от любого «другого», в традициях которого может оказаться все, что угодно, не исключая и побития камнями до смерти, а то и каннибализма до самой тонкой обглоданной косточки.

Последнее в условиях проезда в сабвэе вряд ли, но в наше время я бы не удивился, достань любая из этих женщин нож, пистолет, автомат из-под широкого платья, или небольшой бульдозер в известном жанре «бульдозерного теракта».

Свалить от них в толпе не представлялось возможным: по проходу – не протиснуться, да и совсем уже отдаться собственным страхам и фобиям казалось унижительным и недостойным.

Я стоял, наблюдая сверху черные головы, подрагивавшие в

ритм движению поезда. Будто в потоке черной воды, двумя течениями обогнувшей тебя спереди и сзади.

Ощущение не из приятных.

В это время поезд подошел к очередной станции, двери раскрылись, и в вагон протиснулась женщина предпенсионного возраста, в коричневом пальто, платке цвета кофе с молоком, с телефоном в правой руке. Женщина была небольшого роста, но такая деловая, что ее энергии хватило бы не на одну баскетбольную команду.

Она продвинулась к освободившемуся месту, села в гуще женщин-мусульманок, и продолжила беседу по мобильнику.

Из всех находившихся в вагоне, ее выделяло то, что говорила она по громкой видеосвязи, поставив телефон на режим speaker. Женщина периодически отвлекалась, копаясь в собственной объемной сумке, но продолжала что-то обсуждать на весь вагон, держа телефон перед собой. При этом прослушать прямую речь ее собеседницы можно было, не напрягаясь.

Поезд вышел из туннеля на поверхность и пошел по Бруклину. Мобильная связь была стабильной.

Женщина разговаривала во весь голос, похоже, по-узбекски. В Бруклине проживает огромное количество узбеков. Причем, если лет тридцать-сорок назад в США иммигрировали, в основном, евреи (религиозное меньшинство в Узбекистане) из Бухары, размещаясь в Нью-Йорке в районе Квинс, то последние лет двадцать в США приезжают этнические узбеки из Ташкента, Самарканда и других, преимущественно мусульманских, городов, кишлаков и аулов. И заселяют, квартал за кварталом, Бруклин.

Однако узбекскую женщину можно узнать не только по узбекскому языку. То ли это такой национальный проект, то ли срабатывает принцип «все свое ношу с собой», но женщина из Узбекистана предпенсионного возраста, бывают и моложе, – это верхняя челюсть в золотых зубах. Нередко, и нижняя, но у нашей любительницы публично пообщаться, сбережения в единственно надежной форме были упрятаны в верхней челюсти.

Понять, о чем узбечки, любуясь друг другом, говорили ушераздирающе по телефону, было нельзя, не зная узбекского. И если поначалу в диалоге улавливались имена Зухра и Фархунда, с явной неприязнью к последней и более-менее сносным отношением к Зухре,

то затем обсуждение перешло в какие-то таинственные сферы. Это могло оказаться всем, чем угодно: от способов приготовления шурпы и лагмана, до, с равной вероятностью, потенциальной возможности восстановления американской военной базы в Карши-Ханабад.

Несколько человек, мирно спавших в отдалении, проснулись от звучного разговора, и возмущенно делились мнением по этому поводу с соседями. «Форменное безобразие!» - поддержала одного из возмутившихся соседка-азиатка, а афроамериканка рядом, выйдя из тяжелой задумчивости, обреченно вздохнула, не к месту помянув христианского бога.

Я заметил, что женщины в черном начали проявлять странную активность.

Они о чем-то перешептывались, подавали знаки друг другу, сигнализировали руками заговорщицам через проход.

До тракта оставалось несколько минут.

Телефонная связь работала отлично. Подруги-узбечки от военной базы, похоже, опять вернулись к лагману.

В этот момент все женщины в никабах, паранджах, бурках и абайях, нажали несколько раз на сенсорные экраны мобильных – и в вагоне на полную телефонную мощь зазвучала арабская музыка; дюжина мусульманок созвонились со своими товарками и, поставив собеседниц на speaker, принародно погрузились в громкий треп, перекрикивая музыку в силу своих возможностей, а самая в группе находчивая подняла над головой телефон с видео, на которое тайком была записана голосистая узбечка.

Это был класс! Браво-брависсимо! Невероятный триумф слаженной команды и остроумного, в духе капустника, коллектива над одинокой волчицей, нарушившей общественный порядок. Если хотите, одинокой верблюдицей или среднеазиатской адской коброй.

Представительница солнечного Узбекистана выпучила глаза, поначалу ничего не соображая, пытаясь прорваться к голосу на противоположном конце трубки сквозь какофонию звуков, а пассажиры в это время торжествовали и поздравляли друг друга. Было бы шампанское – открыли бы тут же бутылки, и пробки с бешеной скоростью вылетали бы из них вместе с брызгами шампанского и празднично бились в потолок.

Какие замечательные, все-таки, эти мусульманки, кто бы мог подумать. Да и узбечка, смутившаяся в конце концов и осознавшая, по-моему, что была неправа, тоже замечательная.

Попутчики улыбались, понимающе перемигивались и были счастливы.

А что еще в дороге нужно? Тем более, когда страхи сами по себе, при встрече с реальностью, вдруг начинают выглядеть балаганными страшилками.

Конечно, всегда бы так. Теперь ехать было весело и, не поверите, даже приятно – со всеми этими черными никабами и паранджами вместе.

Всем желаю хорошего дня!

Автобус. Китаец – собиратель банок и бутылок

С позднего субботнего вечера шел отвратительный, мрачный январский дождь.

Ночью я выглянул в окно – перед глазами маячило что-то вроде мокрой фрески (a la prima) с мексиканскими мотивами, вполне в блоковском духе: «Ночь, курица, фонарь ацтеков...»

К одиннадцати утра воскресенья температура воздуха поднялась до 48 градусов по Фаренгейту.

Лил дождь.

А в ночь с воскресенья на понедельник пространство обледенело. Температура к рассвету упала до 7 градусов по Фаренгейту. За одни сутки рухнула на сорок один градусный пункт, как это четко сформулировали бы на фондовой бирже.

Выйдя утром из подъезда на улицу, то есть по пути на работу, я очутился в царстве Снежной королевы.

Стекольная промышленность ударно за ночь потрудилась, покрыв ломким хрусталем не только дороги и тротуары с припаркованными к ним машинами, но и целиком многоэтажные дома с невысокими жилищами по соседству. А также остеклив металлические ящики, в которых были упрятаны утренние газеты, и столбы линий электропередач с прозрачными проводами, которые провисли над черными пластиковыми мешками с мусором. Мешки были огромные и, словно покрытые смальтой, отражали окружающее оцепенение.

Белой глазурью окоченели дождевые ручки у бордюров и чугунных решеток над дорожными стоками.

Будь я мальчиком Каем и не опаздывай в этот час на работу, непременно стал бы выкладывать из ледяных кубиков простые и понятные слова. К примеру, имя и фамилию моего шефа, благодаря которому я сейчас тащился к остановке, боясь поскользнуться и грохнуться посреди дороги на пятую опорную точку.

Транспортное средство долго ждать не пришлось, что уже само по себе было неплохим началом очень холодного зимнего дня. Водитель осторожно вел автобус по обледеневшей трассе, которую еще не успели посыпать, условно говоря, «солью».

На остановке «Avenue U» в салон вошли двое: девушка, потирая покрасневший от мороза нос, и высокий молодой человек в форме водителей городского транспорта и с рюкзачком за спиной.

Я сталкивался с этим уже не раз: пересменка. Водителя, чья смена начинается, подбирает на заранее обговоренной остановке напарник, который смену заканчивает. Они меняются местами, все это продолжается несколько минут от силы, после чего завершивший свой рабочий день водитель покидает автобус, а заступивший на вахту отпускает тормоз и продолжает движение по маршруту.

Водители попрощались друг с другом. Осторожно приспосабливаясь к опасному дорожному покрытию, водитель повернул влево руль и вывел автобус на дорожную полосу авеню Coney Island.

При этом автобус забуксовал, его слегка повело по сторонам, и водитель сбавил газ.

Мне надо было выходить на следующей остановке, ровно через один квартал после предыдущей.

Я прошел вдоль салона и остановился у широкого лобового стекла.

На светофоре зажегся красный свет.

Едва заступив на смену, водитель как-то неуверенно нажал на тормоз. При нормальных условиях, автобус остановился бы точно перед пешеходным переходом, но сейчас передние колеса заскользили, въехав на «зебру».

По ней, толкая впереди себя тележку, бессрочно одолженную у супермаркета Net Cost, пересекал дорогу пожилой китаец.

Он съезился от холода и ничего постороннего не замечал.

Тележка китайца была забита прозрачными огромными паке-тами, наполненными пустыми пластиковыми бутылками и жестяными банками из-под «соды» и пива.

Проволочная корзина в тележке была плотно запакована, а над ее поверхностью на полтора метра, примерно, возвышались пакеты, перевязанные вдоль и поперек тонкой бечевкой. Конструкция не казалась устойчивой, но поскольку было безветренно, то у китайца появилась возможность довести товар до пункта приема утиля.

Сдача бутылок и банок в США, на мой взгляд, это тот самый «мартышкин труд», который имеет аналог и в английском – monkey business. Иными словами, работа, не дающая практического результата.

Правильней сказать: то, что можно считать результатом – совсем уже копейки. Если когда-нибудь опускаться на социальное дно, то это последнее, чем я хотел бы заниматься.

Судите сами: пустая жестяная банка из-под пива стоит пять центов. Чтобы заработать доллар, вам нужно собрать, где и как угодно, двадцать таких банок.

Двести пустых банок принесут вам десять долларов, а тысяча банок – аж пятьдесят долларов. А если одной купюрой, то с портретом президента США и героя Гражданской войны Улисса Гранта.

Я не в курсе, сколько стоит пустая пластиковая бутылка емкостью 500 грамм, но в торговой сети BJ's в Нью-Йорке вы можете приобрести упаковку из 40 бутылочек Poland Water за восемь долларов плюс два доллара депозита за тару. Вам намекают, что вы можете себе вернуть два доллара, сдав когда-нибудь пустые бутылки из этой упаковки.

Таким образом, разделив два доллара на сорок бутылок, мы получим те же пять центов за бутылку.

На десять долларов, сдав двести пустых бутылок, вы можете приобрести 40 бутылок заполненных. Ни на бутылку больше.

Есть, безусловно, масса других вариантов, кроме покупки бутылок с водой в BJ's, но десять долларов – совсем немного при нынешней экономике, а времени для сбора двухсот бутылок требуется немало.

Хотя, если нечем больше заняться, то такой «манки бизнес» – путь к успеху.

В тележке китайца и над ней было, навскидку, банок и бутылок долларов на двести. Несметное богатство, труд многих дней и ночей.

Не ищите в моих словах иронии: всякий труд почетен и я отношусь к любому труду с уважением.

Итак, китаец толкает тележку впереди себя. Большая площадь парусности, скверная остойчивость. Центр тяжести сооружения расположен гораздо выше рекомендуемых норм.

Все бы ничего, но в какой-то момент в эту тележку въезжает автобус.

Не то, чтобы въезжает – едва касается горячим лбом, но этого оказалось достаточно, чтобы тележка повалилась набок и все *сметные* сокровища начали из нее с облегчением высыпаться.

Думаю, расскажи я водителю в этот момент смешной тематический анекдот, он бы его не понял и не рассмеялся.

Анекдот такой:

– Ты ночью высыпаясь?

– Куда высыпаюсь?

– Понятно...

Верхние пакеты, падая на дорогу с высоты полутора метров, бесшумно разрываются и из них выкатываются разноцветные жестяные банки и пластиковые бутылки.

Это был праздник для сетчатки глаза и триумф пуантилизма: зеленый Heineken, фиолетовый Foster, алло-охровая Stella Artois, снежно-невинный Buckler, цвета пера от черного лебедя Wittinger, золотистый Holsten, ультрамариновый Carlsberg, металлических оттенков Coor's Light, нежно-голубой Lowenbrau, чудный бело-пунцовый Beck's, с сюжетными картинками Tuborg, янтарная Corona, красный с вертикальной надписью Budweiser, яркие революционные Coca-Cola, салатных оттенков Sprite, игривые 7 Up...

Калейдоскоп из множества радужных стеклышек и жестяных деталек – в поисках своего неповторимого узора, единственного и мгновенного орнамента.

Бутылки и банки заскользили по авеню Coney Island, как по катку, заполняя ее до пересечения с авеню W. Затем – дальше, до авеню X, Y и Z; рассыпались дребезжащей лавиной вдоль эстакады, нависшей над хайвэем Belt Parkway, и потекли, минуя обе авеню –

Neptune и Brighton Beach – к промерзшему, серому океану, поперек которого ветер гнал рваные тучи.

В этом потоке белыми лебедями, с богатым внутренним содержанием, плыли прозрачные пакеты, выпавшие непосредственно из корзины тележки и не лопнувшие при ударе о дорогу.

Они торжественно, выстроившись цепочкой, следовали по течению.

Они возвышались над лязгающим в розницу карнавалом, напоминая ювелирные шедевры-изделия в драгоценном окладе.

Далеко впереди автобуса, что значит – оставив его далеко позади, искрящаяся самоцветная лава вливалась в Атлантический океан, сказочно инкрустируя озябшую от ледяной воды поверхность нью-йоркской гавани.

Водителю и мне это напоминало декоративные наряды героев и фон полотен австрийского символиста Густава Климта.

Хотя, склонялся я больше к китайскому акварелисту Ли Цину. К одной его картине, написанной плоскими кистями в мазковой технике: структурные мазки, которые передают яркое и жесткое солнечное освещение и вибрацию света. Дивная, завораживающая акварель, настолько красочная, что невозможно было подозревать о таком количестве существующих цветов и оттенков.

Я посмотрел сквозь лобовое стекло автобуса на китайца. Он стоял потерянный и беспредельно раздосадованный произошедшим.

Он был фактически убит утекшими безвозвратно в океан его 200 долларами.

Мы пересеклись взглядами. Отвели глаза и пересеклись взглядами еще раз.

Я почувствовал, что и он видит явившуюся нам пеструю панораму не работой гениального Густава Климта, а акварельным шедевром мастера Ли Цина.

– Похоже на Климта, – произнес негромко водитель, ни к кому не обращаясь.

– По мне, – не поворачивая головы и глядя в лобовое стекло, сказал я, – это, скорее, акварель Ли Цина.

Вероятно, мне показалось, но китаец бросил короткий взгляд снаружи в салон автобуса.

В мою сторону.
И утвердительно кивнул головой.

Метро. «Поэзия в движении»

Согласно Гиппарху, гермы устанавливались на дорогах из Афин с указателями расстояний и популярными сентенциями.

В проекте Poetry in Motion, задуманном И. Бродским в начале 1990-х, когда он был избран поэтом-лауреатом Библиотеки Конгресса, поэтические цитаты поэтов хороших и разных были развешены в вагончиках сабвэя. Помню, на плакатах – Сильвия Платт, Фрост, Элиот, Уитмен, По, Эмерсон, Оден...

Одна цитата одного автора, тиражируемая на весь вагон, местах в тридцати, причем, в разных форматах: прямоугольниками под потолком, крупными и мелкими квадратами – на стенах. Такой, супрематизм в движении...

Если отвечать перед древними греками, получается, что гермы с популярными сентенциями не столько поджидали путников на дорогах, сколько в наше время отправлялись вместе с ними в путь.

По всей метро-карте.

И подземное царство превращалось в подобие библиотеки.

Ведь недаром: гермы великих поэтов и мыслителей, со времен Праксителя, когда они не представляли больше Бога (Гермеса), выставлялись в виллах и библиотеках.

Похоже, время действительно следует по спирали. И иногда замыкается в кольцо.

Автобус. Ребенок

Ранним утром, недавно встав с постели, она должна была привести волосы в порядок.

Левой рукой молодая женщина брала густую прядь длинных, до пояса, светло-каштановых волос и, держа в правой руке расческу, проходила по пряди сверху вниз.

Не торопясь, поэтапно, вытягивая каждый волосок тонкой струной и уверенно держа деревянную рукоять расчески.

Утренние туалетные процедуры – вещь интимная. Святая. И никто бы не увидел, как симпатичная женщина ухаживает за волосами, не находясь она в салоне бруклинского маршрутного автобуса.

Она расположилась на сидении, ближе к проходу.

Покончив с одной прядью, женщина резко перебрасывала ее через левое плечо, и принималась за следующую. Иногда волосы-одиночки медленно слетали на пол, нередко – на «дутое», салатного цвета зимнее пальто.

Волосы запутывались меж металлическими мелкими зубчиками, воткнутыми в выпуклую поверхность расчески, и волос становилось там все больше. Расческа быстро приобрела сходство со сплетенным из нитей-веточек птичьим гнездом.

Позади женщины с расческой сидела раздраженная мать с маленькой, лет пяти, девочкой на коленях. Матери вся эта санитарно-гигиеническая активность не нравилась, и она отмахивалась от волос сидящей перед ней попутчицы так, чтобы они не падали на лицо ребенку.

При этом, девочка ничуть не возражала. Она осторожно, словно лазутчик в тылу врага, брала чужие волосы в пучок, сплетая их в косички и в мелкие колечки, тем самым категорически сводя труд женщины по приведению волос в порядок – к нулю.

Девочка, судя по всему, прекрасно понимала, что будучи поймана хозяйкой волос, может нарваться на неприятности. Поэтому она так бережно и деликатно, так мастерски точно и филигранно уничтожала приведенную в порядок прическу, что любой ювелир мог бы ей позавидовать.

Девочка была увлечена, собственный эстетический потенциал ее потрясал и вел к экстазу. Было очевидно, что ребенок испытывал взлет творческого вдохновения с азартом одновременно.

Она облизывала языком губы, сдерживала дыхание, чтобы ничем себя не выдать и не потревожить соседку впереди, плела из волос, как из тонкой соломки, предметы мелкой утвари для воображаемой куклы, и была счастлива.

Я смотрел на это со стороны, понимая, что после такой феерической работы с волосами, расчесать их будет дьявольски трудно, а то и невозможно.

Надо ли отмечать, насколько довольна была в эти минуты де-

вочкина мама, наблюдавшая, как нарушителю общественного этикета воздается по заслугам.

Не могу сказать, что тех, кто находился от причесывающейся женщины на дистанции, это сильно волновало. Сидевших рядом – понятное дело, но все остальные за многие годы поездок в метро и в автобусах навидались всякого, и не единожды натерпелись и пострадались.

В метро это вообще рядовое событие: выщипывание бровей; нанесения туши, помады, пудры, тонального крема быстро и мастерски на разные части профиля и анфаса; опрыскивания духами за мочкой уха и дезодорантом – умиротворенных подмышек.

Я пока не видел, чтобы в общественном транспорте чистили зубы или целенаправленно выдергивали волосок за волоском из носа, но из ушей – случалось, так что дело за малым.

Справа от женщины, развлекавшей малую часть автобусного салона расчесыванием волос, сидела тучная, средних лет афроамериканка. Из тех, кого в американском народе называют «багама-мама».

Она занимала сидение с четвертью и в бешенстве смотрела в окно. Время от времени она поворачивала голову к соседке и эти взгляды становились все опасней.

Надо думать, она представляла, что попутчица, расчесывая волосы, мало ли кого может вычесать, и эти очень малые кто, невидимые глазу «лайсы» и насосавшиеся крови «бед-багсы», перебегут к ней незванными гостями, чтобы поселиться в ее кудряшках на долгие годы.

Это им так мечтается, коли с ними не бороться. Подобное происходило, когда она подростком отправилась на школьные каникулы в летний лагерь и привезла оттуда столько вшей, что бабушка грохнулась в обморок.

Терпение у багама-мамы было на исходе.

Женщина продолжала расчесывать прядь за прядью, девочка сзади, сидевшая у мамы на коленях, все это увлеченно в творческом порыве доводила до совершенства, а соседка справа, накапливая для скандала соответствующий синтаксис, уже была готова больше не сдерживаться.

– Так ты не могла найти другого места, стерва! – сразу с фаль-

цета, привычно расправляя богатырские плечи, начала она скандал.

То, что для уха иностранца в переводе означает «солнце пляжа», для американцев – однозначно «сын стервы». Применимо к мужским особям (к женским – на первое слово короче), которые ищут на свою задницу приключений.

С этих слов, без лишней дипломатии перейдя на классический «маза факер», скандал получил необходимый импульс и вошел в кулачную стадию. Как писал по схожему поводу Дмитрий Александрович Пригов, «... все дело перешло / В ранг ненужно-личных отношений».

Женщина едва успела отвлечься от расчески с очередной прядью, как оппонентка столкнула ее с сидения рестлерским движением бедра и влезла всей пятерней в ее волосы, уже вполне причесанные.

Вопли, истерические крики, шум с галерки, требования к водителю немедленно остановить автобус.

Кто-то звонил в полицию, кто-то пробовал оторвать крепкую пятерню багама-мамы от головы ее бывшей соседки слева.

Это удалось, но усилием нескольких человек и не сразу.

Я посмотрел на маленькую девочку.

Конечно, дракой взрослых она была потрясена. Дурная, тяжелая энергия участников потасовки мигом уничтожила ангельскую окрыленность, в секунду превратила душевный подъем в безысходное падение.

Но это не было главным.

Девочка смотрела на длинные, светло-каштановые волосы, в которых уже нельзя было различить ни сплетенных ею косичек, ни колечек, с такой увлеченностью завитых и удачно закрученных.

Не было больше ни домашней утвари в виде миниатюрных корзиночек для где-то существующей куклы. Ни странных соломенных человечков и их родителей светло-каштанового цвета.

Ничего не осталось.

Девочка смотрела, как отдирают крупную пятерню от макушки чужой, взрослой тети. Она плакала, казалось, не слыша криков и не понимая, что происходит вокруг.

Она горько плакала, внезапно осознав, что ее минутное увлечение на глазах превратилось в искомканные чужие волосы, уже не имеющие к ней никакого отношения.

Возможно, она интуитивно понимала в эту минуту, что так этим обычно и кончается. За редкими исключениями, хотя, если посмотреть с совсем удаленных расстояний, исключения ждет тот же финал и они также превращаются в ничто.

В этот день маленькой девочке еще неведома была спасительная идея одного известного писателя, который, высказав ее, дал другим возможность меньше думать о превращении чего-либо в ничто.

Он сказал: «Все, что с тобой происходит – не твое дело».

Автобус остановился неподалеку от остановки. Двери открылись.

В салон вошли двое полицейских и поинтересовались у водителя, в чем проблема, что делать и кто виноват?

Водитель произнес несколько коротких фраз. И показал рукой вглубь автобуса.

Метро. Встреча Востока и Запада

В Манхэттене было где-то около полпервого дня. Почти столько же оказалось бы и в Бруклине, удаленном от Манхэттена ровно на расстояние одного проезда по Манхэттенскому мосту, если бы Койфманы не зависли над рекой Ист-ривер в вагончике сабвэя именно в этот самый полдень.

Причина непредвиденной стоянки была объяснена машинистом по внутренней трансляции, причем несколько раз. После чего мр. Сэмьюэл Петерсон, Jr., машинист, сочтя свой профессиональный перед Койфманами долг исполненным исключительно, закрыл африканского стиля глаза и поплыл хорошими джазовыми мечтами куда-нибудь на своем рабочем кресле на Юг.

Со слов мр. Петерсона, Jr., ждать предстояло минут пятнадцать как минимум. О чем Койфманы не догадывались. Вернее, мама-Койфман кое-что подозревала, поскольку за полгода до эмиграции пошла на курсы английского языка и теперь всякий раз волновалась, обнаруживая в незнакомой речи туземцев известные ей слова.

Другое дело Койфман-папа. Во-первых, английского он не знал напрочь.

А во-вторых, если бы и знал?!

Второй с утра косяк, раскуренный перед выходом из отеля все-

го минут тридцать назад, унес папу-Койфмана в такие перспективные дали, где и по-русски едва понимают со словарем, а английский никакого отношения к языкам вообще не имеет. Так, крик удода на болоте: «йес-йес» да «ноу-ноу».

В предыдущей своей московской жизни чета Койфманов, как это заведено в компаниях их круга, покуривала. Не часто, но вечерний косячок для баловства и утренний под видом компенсации зарядки – обязательно. Америка же предложила Койфманам такой вариант счастья, который прямо на глазах преобразился в цивилизованный вариант Рая. Всю серьезную неделю после приезда в Нью-Йорк семья Койфманов не переставала ехать мозгами и удивляться: всего за сорок долларов на любом, практически, углу можно было купить скромный прозрачный пакетик. А зная места, травку можно было купить удивительную.

– Так ты не верила, да, – прослезился патриот Америки папа-Койфман, в первый же день передавая первый американский косяк маме-Койфман для первой затяжки.

Джойнт благоухал до того искренне, что все иммигрантские страхи улетучились моментально.

Если бы не кончились деньги. То есть, едва со здоровьем наладилось, как возникла очередная неприятность. Дело в том, что Еврейская благотворительная организация, к удивлению Койфманов и по странному совпадению называвшаяся «Джойнт», выдавала деньги едва прибывшим иммигрантам раз в месяц, просчитав затраты среднестатистической семьи на еду и проезд. При этом случай семьи Койфманов в расчет не принимался, хотя синонимическое единство в названиях – «джойнт», по мнению папы-Койфмана, обязывало.

Спорить с евреями бесполезно. Деньги, выдаваемые на месяц вперед, закончились через полторы недели, несмотря на то, что в результате красивой жизни Койфманы почти отказались от плотной мясной пищи и общественного транспорта.

Все доходы уходили не напрасно, но вернулись полным безденежьем. Оставалась единственная надежда: институтский товарищ мамы-Койфман (по подозрению папы-Койфмана, вероятный в прошлом ее любовник), с характерно московским для конца пятидесятих именем Арнольд.

Арнольд жил в Бруклине лет двенадцать, владел малопонятным для вновь прибывших бизнесом, и уже на второй день после их приезда навестил Койфманов в гостинице. Сводил пообедать в испанский ресторан в Сохо, упился с папой-Койфманом пивом до красных рож и фиолетовой мочи, и теперь ждал всех троих с ответным визитом в Бруклин.

Пока были деньги, выбраться из Манхэттена не представлялось никакой возможности. Три, в среднем, косяка в день не позволяли расслабляться и держали в отличной форме. И только сегодня утром папа-Койфман, растратившись на очередной пакетик, обнаружил, что денег осталось ровно на переезд сабвэем из Манхэттена к Арнольду, да еще на пару hot dogs к завтраку.

Надежда на то, что до следующего еврейского взноса Арнольд одолжит деньги, по подсчетам папы-Койфмана, не такие большие для работающего в Америке человека, — эта надежда на Арнольда была достаточно велика, и семья решила ехать немедленно.

Как отдавать деньги потом?

Над этим папе-Койфману сейчас думать было лень. Справа, за строгими фермами Манхэттенского моста, виднелась статуя Свободы величиной с малахитовую шахматную фигурку; слева искрился на фоне полуденной Ист-ривер стремительный катерок, с высоты моста также казавшийся игрушечным – и в этом зачарованном пространстве между небом и медленной водой до самого горизонта, в этом майском, прозрачном от солнца вагончике сабвэя папа-Койфман ощутил такой силы духовный подъем, что не раскрыть пакетик и не скрутить здесь же, на высоте парящего боинга, косяк не было уже никакой возможности.

Первая затяжка превзошла всякие ожидания: мир вокруг зашел. Зацвел. И закрутился каруселью.

Джойнт пошел по кругу. Мама-Койфман мигом испытала такое, отчего откровенно и с наслаждением закашлялась, а шестнадцатилетний Даник, затянувшись три раза подряд, пробормотал: «Кайф».

После чего удовлетворенный папа-Койфман осторожно взял переданный Даней джойнт.

Исторически обоснованная идея отъезда ради детей, ради их капиталистического будущего, здесь, в Нью-Йорке, получила реаль-

ное подтверждение: в такой стране за Даню можно было не волноваться.

Папу-Койфмана потянуло на лирику.

– Это статуя Свободы, сынок, – показал Койфман-старший вправо.

– Понимаю, – произнес Койфман-младший с мечтательными интонациями. Из чего можно было сделать вывод, что Америку в семье Койфманов понимают правильно.

В противоположном от Койфманов конце вагона расположился мистер Тони Чарлз Томсон. Он устало предложил на всеобщее обозрение рифленые подошвы «Nike», вытянув ноги вдоль нескольких соседних сидений.

Тони пребывал в состоянии глубочайшего сомнамбулизма. Все ночи его были бессонными, поэтому отсыпался Тони днем, в вагончиках сабвэя, где никто его не трогал, и время текло строго по маршруту выбранного им трэйна.

Ночью Тони искал жратву и приключений. Хотя, основной причиной ночных бдений был страх перед шэлтером, в котором бездомные могли найти ночлег, но и запросто потерять жизнь: в шэлтерах царил вероломный беспредел.

Днем Тони отдыхал. Спокойный восьмичасовой сон в сабвэе был гарантирован, и Тони, едва опустившись утром на сиденье, отключался от суеты земной, как младенец.

В половине первого дня Тони как раз досматривал очередной сон – лучезарный, африканский. В этом сне далекий прапрадед Тони, еще не будучи увезен из Африки в рабовладельческую Алабаму, охотился на крокодила, тут же продавал ценную шкуру заезжим белым туристам, а на вырученные деньги покупал у еврея-шинкаря бутылку рома и под музыку в ритме рэп развлекался с чернокожей мисс Африка всю ночь до самого праздничного утра.

В эту минуту, когда папа-Койфман взял протянутый Даней джойнт и запустил его по второму кругу, Тони как раз наблюдал своего прапрадеда, танцующего все тот же рэп на песчаном берегу беспредельного Океана, однако вместо обаятельной мисс Африка рядом с прапрадедом выделял древнезанзибарские «па» невесть откуда взявшийся, совершенно голый мр. Сэмьюэл Петерсон. Jr., машинист трэйна «Д» по маршруту Бронкс-Манхеттен-Бруклин.

Эта картинка не могла не побеспокоить Тони. Пока окончательно не просыпаясь, он целиком поразился, к чему бы здесь мр. Сэмьюэл Петерсон, Jr., кто он вообще и откуда, и не от него ли исходит такой удивительно знакомый запах.

«О, мама миа! – внезапно пробудился Тони, еще не раскрывая глаз. – О, королева моих чресел, розовая лань в роще моих ноздрей! О, голубка над гнездом моей души, шит! О, факир моего мяса и пуха, скользкая тень утренней розы, бесса мэ мучос, мазефакер! О-о, – приоткрыл Тони левый глаз, – о-о-о, сан оф э бич, шит!.. You know, man!» – поднял Тони ноздри к потолку вагона и с восторгом подумал: О, mother fucker.

Папа-Койфман уже передал джойнт вовсю кайфующей маме-Койфман, когда Тони поднялся со своего сиденья и отправился в противоположный конец вагона.

Ни слова не говоря, как бы без нужды в пояснениях, ибо оказался в кругу своих, Тони по-деловому занял место между мамой-Койфман и Даней, и с трепетной дрожью затянулся последовавшим от мамы косячком. «Любовь моих туманов! Жаркое семя шуршаний и шелеста, сладкий ветер моих подмышек! – томился Тони, передавая джойнт расслабленному Койфману-младшему. – О, скипидар моих усилий», – медленно выдыхал Тони вместе с дымом слова собственных молитв.

Сказать о том, что семья Койфманов не обратила на Тони никакого внимания, значило бы сказать глупость. Прежде всего, Койфманы были типичными представителями своего поколения и понимали гармонию Weather Report и Pink Floyd, а, следовательно, относились ко всему происходящему вокруг с присущей для Универсума невозмутимостью.

И еще по одной причине приход Тони остался без внимания: каждый из семьи Койфманов отсутствовал в это время в вагоне сабвэя. Тела их, понятно, можно было обнаружить без труда, но духи... Дух папы-Койфмана уже с минуту непрерывно требовал что-то такое, невесть откуда всплывшее, типа: «Ай-да, пацаны, на озеро!»; дух мамы-Койфман пчелкой перелетал от малиновых кругов к зеленым перышкам и обратно, а дух Койфмана-младшего плавно плелся туда, куда и призывал дух любимого папы, а именно: на озеро, к пацанам. До Тони вряд ли кому было дело.

Возникла неумолимая пауза.

Минут пять неумолимая пауза наслаждалась вкуснейшим, медленно растворявшимся в вагоне дымком; развлекалась катаясь по соседнему Бруклинскому мосту машинами; и застывала, уже напрочь неуловимая, в далеких всхрапах машиниста Петерсона, Jr., в голове состава.

– Do you speak English? – раскованно поинтересовался папа-Койфман, выходя из трогательного кайфа.

Тони активно замотал кудрявой головой.

– Конечно, – еще раз подтвердил Тони для верности.

– Where are you from? – неожиданно легко выскользнуло из папы-Койфмана, как из самого натурального американца.

– Нью-Арк, штат Нью-Джерси, – начал издалека Тони.

И вдруг его понесло: то ли под впечатлением от джойнта, то ли просто оттого, что давно уже никто не интересовался, откуда Тони и зачем, а скорее всего и от одного, и от другого, и еще от чего-то третьего, которому можно бы подыскать определение, только вряд ли оно сейчас того стоит.

– Ты знаешь, мэн, – обращался Тони исключительно к рыжеватой бороде папы-Койфмана, – нас пять братьев в семье и три сестры, мэн. И все они, ты знаешь, любят джаз, все мои сестры и братья, мэн, любят джаз, мэн...

– О, Jazz, – творчески подошла к беседе мама-Койфман.

– Джаз, ты знаешь, – воодушевился Тони ее участием. – Хотя сам я, знаешь, больше люблю рэп, мэн. Это наша музыка, мэн, такая городская музыка черных, знаешь. Знаешь Хэммера, мэн? Ну, Хэммер, «Паблик Энеми», мэн, «Блэк Шип», «Квин Латифа», «Йо-Йо», мэн, – Тони счастливо улыбнулся. – Там все о моей черной душе, мэн, в этой музыке, знаешь. Вот Эминем – это другое, мен, совсем не то, мэн. Знаешь: джаз, рэп и баскетбол – это наше, мэн. Как ты к баскетболу, бро? – спросил Тони почти по-родственному.

– О, баскетбол, – убедительно повторил папа-Койфман. Он был завзятым фаном литовского «Жальгириса», но с восторгом, объективно оценивал и игру американцев: один Майкл Джордан чего стоит!

– Один Майкл Джордан чего стоит, мэн, – Тони загадочно чмокнул губами. – И это не потому, бро, что я черный и не люблю

белых, ты знаешь. И Эминема люблю, и Джейсона Уильямса. Мне без разницы, мэн, какой ты: белый или черный, знаешь. Есть и среди белых хорошие, мэн, и среди желтых. Я всех белых люблю, мэн, как и черных, мэн. Я и евреев люблю, хотя они везде и всех скупили.

– О, Jewish, – дружески поддакнула мама-Койфман, представляя насколько, ясное дело, совпадают ее мнение и мнение этого угнетенного, душевного афроамериканца в вопросах еврейства и антисемитизма.

– Как пел наш Пафф Дэдди, «все дело в бенджаминах, детка», – завершил мысль Тони.

И резко замер: папа-Койфман доставал из джинсов пакетик для очередного, судя по количеству травы, завершающего косяка.

Удерживая нить разговора под контролем, папа-Койфман уловил, что раз речь зашла о братстве, то настал черед трубки мира. Точнее, джойнта мира между объединившимися пролетариями Afro-Americans и Jews всех стран.

«Леди и джентльмены!» – раздалось по этому поводу из динамиков внутри вагона.

Едва проснувшийся мр. Сэмьюэл Петерсон, Jr., машинист, прокашлялся в микрофон и еще раз обратился церемониально: Ladies and Gentleman, – после чего объяснил, что, слава Богу, дали разрешающий зеленый и теперь появилась стопроцентная возможность съехать, наконец, с этого чертова моста в сторону Бруклина.

– Спасибо за кооперацию, – дословно поняла мама-Койфман заключительную фразу машиниста.

И вольно вздохнула: Америка ей все больше приходилась по душе.

– What is your name, my dear friend? – спросила мама-Койфман у Тони очаровательно.

И немедленно получив ответ, передала новому, приятному во всех отношениях знакомому, скрученный папой-Койфманом косяк.

И выдохнула заclubившийся в воздухе аромат через плечо, в сторону отъехавшего теперь на расстояние ровно одного Манхэттенского моста Манхэттена.

Окончание – в следующем номере

Геннадий Кацов – поэт, прозаик, эссеист. В середине 1980-х был одним из организаторов легендарного московского клуба «Поэзия». В мае 1989 г. переехал жить в США, где последние 30 лет работает журналистом. Свою деятельность начал с программы Петра Вайля «Поверх барьеров» на радио «Свобода» и критических публикаций по культуре в ежедневной газете «Новое Русское Слово» (США).

Вернулся к поэтической деятельности после 18-летнего перерыва в 2011 г. Автор 7 поэтических книг; сборника стихотворений, прозы и эссе «Притяжение Дзэн» (изд. «Петрополь», 1999) и визуально-поэтического альбома «Словосфера» (из-во «Liberty», США, 2013), в который вошли 180 поэтических текстов, инспирированных шедеврами мирового изобразительного искусства. Поэтические сборники «Меж потолком и полом» и «365 дней вокруг Солнца» вошли в лонг-листы «Русской Премии» по итогам 2013 и 2014 гг. соответственно; поэтическая подборка «Четыре слова на прощанье» вошла в шорт-лист Волошинского конкурса 2014 г., а поэтическая подборка «Ты в мире, но не от мира сего» – в его лонг-лист 2015 г. Лауреат премии литературного журнала «Дети Ра» за 2014 г. Со-составитель и участник альманаха «НАШКРЫМ» (миротворческий проект 2014 года, антитеза известной идеологеме. В альманахе опубликованы стихотворения о Крыме 120 поэтов разных поколений из 10 стран мира. Со-составитель и участник альманаха «70» (70 поэтов из 14 стран мира), посвященного 70-летию государства Израиль (2018 год). Учредитель литературно-музыкальных вечеров в нью-йоркском музее им. Николая Рериха, сезон 2016-2017 гг.

*Публикации последних лет в литературных журналах «Времена», «Дружба Народов», «Звезда», «Знамя», «Октябрь», «Нева», «Семь искусств», «Окно», «Крещатик», «СЛОВО/WORD», «Интерпоэзия», «Новый Журнал», «Новый Гильгамеш», «Литературная Америка», по-английски - в *Cimarron Review* (США), *Blue Lyra Review* (США), *Life and Legends* (США) и других.*

Гари ЛАЙТ

НОВЫЕ СТИХИ

«Река Олета, мантра облаков...»

Река Олета, мантра облаков,
калифорнийская мелодия Флориды
от временных явлений января –
означенных прохладой и туманом
Палитра цвета – отражение основ...
У скептиков – весь антураж Фемиды.
На рейде, не тревожа якоря
маячит лайнер полуиностранный.

Зима на крайнем юге – феномен,
не занесённый в праздные реестры,
но для короткой прозы – в самый раз,
диктантом променада – гул прибора.
Он чем-то даже сладок – этот плен,
когда отлёт отсюда неуместен
на Средний Запад, где всю горазд
тяжёлый снег – как соло для гобоя.

Куда уместнее читать под крепкий чай,
как подобает, перелистывать страницы,
внимая стилю, чувствуя строку
под крики чаек, сознавая трепет слов...
При этом слышать волны невзначай,
невольно пеликанами гордиться,
ответить в рифму на острогу рыбаку
жалая засыпающий улов.

Устав от повсеместных новостей,
сочащихся изъяном в диалоги
стремиться мысленно в мерцающий Ки Вест,
как на другую, недалёкую планету,
не внемля той риторике вестей,
где в ощущениях – избитые пороги,
предпочитая ей далёкий лес,
и мантру облаков реки Олеты.

Этюд

Уходит в меланхолию Пьеро,
изъян не помешает Паганини,
нелепый некто, заигравшись в Пуаро,
на много лет отвадил героиню.
Погодных аномалий череда
приводит за собой закономерность,
влюбленная в сплошное никогда –
она опровергает достоверность.
Так тихо на безлюдном берегу,
что даже чайки верят в совпадения –
и первый отблеск молний на лугу
с ней не поладил в области круженья.
Претензии и прочие клише,
столь неуместны в пригороде Рима,
что помянув о ломанном гроше,
она бывала музой пилигрима.
У варваров есть роль во все века,
регресс необходим для перспективы,
и так, чтобы уже наверняка,
она вернётся в рамку, на картину...
Пьеро спиртного дух не выносил,
у Паганини не было изъяна,
смутил Агату Кристи – де Бюсси,
а героиня вышла из тумана.
И потому из эфемерности слова
звучат до тех лишь пор, пока красивы.

Гарантию вступления в права
ей выдали в отсвете Хиросимы.
Когда возник из будущего штрих,
к тому же замерев на нотном стане,
не завершённый, обронённый ею стих,
так и растаял в титрах на экране.

Аллегория

Обитель в Подмосковье, эклектика - сезон.
Тень прошлого прокралась с комфортом на балкон:
Весь вечер на арене – потомок палача,
под доск местоимений люд внемлет хохоча.
Гость шутит и шаманит – что в нём уже никак:
В потомке отдыхают сапог-наган-тесак.
Хозяева салона – радушие и шарм,
а в небе безвоздушном – дрон, выполняет план.
В углу стоит гитара, её черед придёт,
её принёс в подарок заезжий рифмоплёт,
он числится поэтом, без виз славянофил,
но нынче не об этом. Едва хватает сил
прилежным кукловодам, чтоб собранный народ
сидел, хвалил погоду, был приглашенью горд.
Здесь чисто элитарно – сплошные москвичи,
провинции бездарной сюда не проскочить...
Беседы кулуарны – о вечном, о душе...
Почти звучат литавры, альт, скрипка – как клише.
Но вот в чём незадача – потомок палача
шлёт лексикой невзрачной альтистку на... причал
И зреет нечто вроде размолвки на балу,
и как раскукловодит подобную хулу...
Пелевин не подскажет, Сорокин не ссудит,
а лексика всё гаже, и москвичам претит
токсичность атмосферы, роящийся скандал,
и морщатся химеры с фасадов Нотр-Дам,
на купленных намердни у антиквара Ли,
веков как будто средних гравюрах, фресках ли...

Но кажется залито вином елейных фраз
нутро антисемита хозяйкою на раз...
Увы, потомок – нервный, он столько пережил,
не он альтистку первый здесь матом обложил...
Но снова не об этом, грех прошлым ворошить,
здесь собрались эстеты – к чему батон крошить...
История болезни – той, рухнувшей страны,
с тех дней остались песни, нет ни на ком вины.
Разъехались под утро, кто мог быть за рулём,
а бережливым, мудрым – есть комнаты внаём.
И так по кругу. В этом изысканный резон –
всегда подругу друга здесь приютит салон.
Но если не пропитан, а предок не палач,
не вышел колоритом, не обессудь – без сдач.
В коттеджах здесь, на виллах не мало суеты...
Всему своё начало, достоинство и сны.

* * *

В. Кара-Мурзе-мл.

Гладиатор здесь проездом.
Чтобы в городе уездном
кадры об убитом друге
предъявить в общинном круге –
те, с моста в Замоскворечье...
Свет не виден, тень не вечна.
Он не ищет пониманий,
но сквозит от подсознаний
некий импульс фатализма,
и ему пророчит тризну.
Гладиатор терпеливо
лицезрит всё это диво.
Не вопрос звучит из зала.
а инструкция к началу
его грустной одиссеи –
ведь из зала всем виднее.

Гладиатор тих и вежлив,
но ему вменяют: – «Брежнев,
был давно уже не Сталин,
вы же снова всех достали.
Вам неймётся, что стабильно,
что в стране правитель сильный.
поприжавший либералов,
мы и здесь им дали жару...»
Гладиатор с самолёта,
воскресенье, не суббота.
Он не спросит, здесь не «Эхо»,
мол – зачем вам было ехать,
чтоб собой остаться прежним,
получив еду с одеждой.
Продолжение парада –
объяснив ему как надо,
часть народа гордо встала –
в сетке Первого канала
сериал за новостями...
заждались жена с гостями.
Гладиатор их не судит –
разные бывают люди.
Он на паспортном контроле
улыбнется своей доле,
будет день, и новый город,
и мигрень, и кофе молот.

Реминисценции

Двадцатый век, последняя декада.
Прямые сводки из сараевского ада.
На Saint-Germain – парад стереотипов.
Тень Сартра, и толпящиеся скифы.
Мы с ней пьяны, женаты и раздеты.
Парижским вечером заманивает лето.
В азарте лондонской, московской канители,
первой неверности распробовав постели,

спешим друг друга убедить в обратном,
всё в двадцать пять – смешно и адекватно.
Во след любви – такси на Левый берег,
где сумерки волшебнее Америк,
той, где сквозит из будущего танго,
и той, куда вернёмся бумерангом.
Но это позже... Слёзы Сребреницы...
Мы в уличных кафе читаем лица,
и убежденные, что нет невиноватых,
любовью ладим все изъяны в циферблатах.
Ещё в живых элита эмиграций,
мы ей представлены в отсутствии оваций,
в глазах легенд мы чересчур американцы,
вполне уместно для тогдашней Франции.
Телеэкран не передал мольбы и гари
с водонапорной башни в Вуковаре...
Но возвращение случилось не за этим,
забывшись сном открытых окон на рассвете.
Ретроспектива ловко метит грани,
лишь нагота сквозит в парижской рани,
укрытая в туман июльской Сены...
Предназначений ощущения мгновенны.

Симбиоз

Мимо птицы Пикассо*,
По мосту Патона*,
Над озерной Скоростной
Долетим до дома.
В Ботаническом саду
Выдубецкий виден
а Равинию в бреду
предсказал Овидий.
Университетских стен –
красных и лиловых
Как шевченковский катрен –
над Лойолой сполох...

За Крещатиком левой
волны Мичигана.
По Девану шёл еврей,
прямо до Майдана.
Если в Дарнице запеть
песню под гитару,
Мортон Грова круговерть,
все разгонит хмары**.
Из подольского двора
кот заходит в Скоки,
вот – Батыева гора...
Раджерс Парк. Истоки.
Куренёвскую печаль
лечат в Хайланд Парке
Заднепровской дымки даль
в Эванстона арке.
И в «динамовских шарфах»
ходят на «Медведей».
Прежний Фима да Исаак –
Джефф и Аик намедни.
Так сложилось невзначай,
что на Прорезную,
чтобы пить с друзьями чай,
выход через Туи.
...Расстояний больше нет,
есть родные лица,
оттого Чикаго свет
В Киеве искрится.

* в стихотворении присутствует оригинальная топонимика имен собственных, присущая Киеву и Чикаго

** тучи (укр.)

***Гари Лайт** – уроженец Киева. Он живет в Америке уже без малого сорок лет. Большую часть времени — в Чикаго, порой с длительными перерывами на Новую Англию, Европу, Флориду, Вашингтон... По профессии – адвокат. Специализируется на разных аспектах*

международной юриспруденции. Считает, что правозащитная деятельность – неотъемлемая часть адвокатской работы.

При этом своим призванием с юности считает литературу. Поэтом себя не называет. За него это делают другие. Он выпустил семь поэтических книг. Его недавний сборник стихов «Траектории возвращений» был удостоен Литературной премии Союза писателей Украины. Участник Антологий «Строфы Века-2», а также «Киев. Русская поэзия. XX век». Стихи публикуются в российской, украинской и американской литературной периодике.

Гари Лайт – член редсовета журнала «Времена».

Виктор ДАЛЬСКИЙ

КОРОТКИЙ ВЕК ЛЮБВИ

Пьеса в двух действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Семья Фришмен

Марк Фришмен, 45 лет, школьный учитель истории. Слегка располневший добряк-интеллигент. Постоянно улыбается, всегда готов к компромиссу. Обожает работы по дому, непрестанно стремись в нём что-то усовершенствовать.

Мэрилин Фришмен, его жена, 45 лет. Театральный менеджер.

Нервное, выразительное лицо. Небольшого роста, худенькая, с чрезвычайно короткой стрижкой. Почти неизменно в брюках. Резкая, быстрая в движениях.

Мэрилин и Марк вместе учились в школе, начиная с первого класса.

Алисон Фришмен, их дочь, 21 год. Студентка университета. Будущий специалист по маркетингу, мечтает стать моделью. Внешне похожа на мать, с которой часто пикируется. Очень привязана к отцу и бабушке.

Кэрол Росс, мать Мэрилин. Владелица крупного благотворительного фонда. В очень тёплых отношениях с внучкой и зятем.

Семья Манчини

Дино Манчини, 47 лет, преуспевающий страховой агент.

Динамичный, шумный, румянощекий крепыш. В разговоре активно жестикулирует. Типичный страховой агент – нахрапистый, самодовольный, но с ярко выраженным персоналити и обаянием. Одет всегда чуть пестровато; из-под рубашки часто видна футболка с надписью «VIVA ITALIA». Голова непременно лоснится от геля.

Анна Манчини, его жена, 42 года. Специалист по компьютерной бухгалтерии. Моложавая, статная, пышнотелая, с медоточивым голосом. Ранимая, деликатная. Обожает сладости.

Франко Манчини, их сын, 22 года. Студент выпускного курса школы искусств в одном из университетов. Мечтает стать фотографом. В свободное время подрабатывает барменом.

Обе семьи живут в Нью-Йорке в двух смежных, разделённых общей стеной домах. Построенные по типовому проекту, они абсолютно идентичны. Отличается только интерьер – с выраженным налётом театральности в доме Фришмен и достаточно безликий, но с элементами излишней помпезности у Манчини.

Действие происходит то на первом этаже дома Манчини, то в интерьере дома Фришмен, то на Бродвее.

ДЕЙСТВИЕ 1

Сцена 1

Празднование Дня Благодарения в доме Манчини. Вокруг празднично накрытого стола все представители обеих семей. Франко поочерёдно предлагает присутствующим коктейли.

Дино (*отхлёбывая*). Замечательно, сынок. Высший класс. Никто не делает джин и тоник лучше тебя. (*Картинно бросает на поднос купюру.*) Мастерство надо поощрять. Ваши чаевые, сэр.

Кэрол. В моём возрасте уже надо пить только безалкогольные напитки. Ну да ладно. В День Благодарения можно. (*Делает глоток.*) Особенно, когда на дворе метель и стужа. Не помню второго такого студёного ноября в Нью-Йорке!

Анна (*в переднике, с большой столовой ложкой, которой она только что орудовала в кухне*). А вдруг я потеряю голову от твоих коктейлей и забуду про индюшку? И она подгорит.

Франко. Ещё никто не терял голову от джина с тоником. Другое дело – Лонг Айленд Айс Ти.

Марк. Этой индюшке уже ничего не грозит. Чуть раньше её перевернем, чуть позже, какая разница? Ну так покроется хрустящей корочкой. Только вкуснее будет.

Мэрилин (*залпом выпивая коктейль и поправляя причёску*). Пока эта птица там томится, давайте что-либо придумаем. Что-нибудь активное. Оригинальное. Ненавижу все эти праздники. После очередного страшного обжорства приходится две недели поститься.

Марк. Какая диета, дорогая? Ты – в прекрасной форме.

Дино. Мужское население домов солидарно. (*Чокаясь с Марком.*) По этому поводу, дорогой сосед, предлагаю тост. За женщин, которых мы любим!

Мэрилин. Ну, а раз любите, не сможете отказать им в небольшой просьбе. Анна, когда будет готова эта замечательная индюшка?

Анна. Минут пять – семь...

Мэрилин. Тогда давайте потанцуем. Франко! Ты же не только бармен, но и диск-жокей, не так ли? Поставь что-нибудь лирическое.

Франко (*добродушно*). Франко – бармен, Франко – диск-жокей. Что ещё изволите? Аргентинское танго устроит?

Все дружно хлопают в ладоши: Устроит, устроит!

Алисон (*после паузы*). Хотите что-то оригинальное? Предлагаю «Белый танец». Дамы приглашают кавалеров. Как вам идея?

Дино (*с воодушевлением*). Bravo, Алисон, bravo!

Кэрл (*чуть в сторону*). А с кем прикажете танцевать одинокой вдове? Или вы мне закажете кавалера по интернету? Столетнего дедушку с подагрой и геморроем! (*Все смеются.*)

Марк. Дорогая тёща, обещаю вам второй танец. Только сами знаете, какой я танцор.

Мэрилин. А как оно называется, это аргентинское танго?

Франко. «Танго предместий».

Анна. Я, пожалуй, лучше покараулю индюшку. Вы мне не простите, если она подгорит.

Дино. Нет, нет, дорогая. Это – танец влюблённых.

Мэрилин (*Франко*). А это твоё «Танго предместий» может быть белым танцем?

Франко. Понятия не имею. Завтра спрошу у ди-джея Рола. (*Ставит диск.*) Хотя я точно знаю, что во время танца можно меняться партнёрами. (*Хлопает в ладоши.*) Внимание! «Танго на два дома!» Танцуют все!

Мэрилин. Хорошо хоть мы не празднуем День Благодарения целой улицей. А то бы я точно растерялась кого пригласить. (*Подхо-*

дя к Дино.) Разрешите вас пригласить, мистер Манчини?

Дино. С удовольствием, мадам-соседка. (Марку:) Марк, не отставай. Устроим небольшой танцевальный конкурс. Белое танго в преддверии индюшачьего ужина.

Франко направляется к Алисон, собираясь её пригласить, но та опережает его и приглашает на танец бабушку.

Алисон. Извини, Франко. Но танец – белый. Поэтому я приглашаю своего самого замечательного партнёра по жизни. Моего очаровательного бабулика. А ты пока приготовь свой Лонг Айленд Айс Ти. Я уже неделю про него слышу... (Почти силой увлекает за собой бабушку.)

Кэрол. А кто в паре будет кавалером?

Алисон. Ну, конечно, я. У меня в этом есть кой-какой опыт. Когда я брала уроки актёрского мастерства, иногда приходилось играть мужские роли. (Франко:) А ты не ленись, покажи миру, какой ты бармен.

Франко. Можете не сомневаться. Сейчас только немного поколдую. В коктейле главное – точная пропорция. Пол-унции джина, пол-унции водки, столько же белого рома и текилы. Но берегитесь, этот коктейль бьёт в голову!

Попеременно проходя в танце, на авансцене появляются все три пары. На мгновение приостанавливаясь, перебрасываются несколькими фразами и уплывают в глубь сцены. При этом Мэрилин и Дино танцуют весьма профессионально, с шиком подчёркивая каждое па; Анна же с Марком неуклюже топчутся на месте, не попадая в такт музыки. В финале танца луч света фокусируется на Мэрилин и Дино.

Дино. Ты замечательно танцуешь.

Мэрилин. Я всё-таки в прошлом профессиональная балерина. Если бы не проклятая лодыжка, наверняка стала прима-балериной в Хьюстонском балете. Бен Стивенсон во мне души не чаял... (После очередной паузы.) Да, но и ты – превосходный партнёр! Откуда это?

Дино. О, танцы – моя старая страсть. В каких только клубах я не брал уроки. Сальса, румба, пасадобль, даже чечётка... Послушай, я давно хотел спросить. Ты раньше часто продюсировала новые постановки. Почему только драматические? Ты ведь – профессионал в балете...

Мэрилин. Я бы не перенесла провала в балете. Слишком болезненно. А продюсирование... Хватило последнего опыта с бродвейским мюзиклом. Спектакль стоил нам с партнёром 6 миллионов. Жил 3 дня... Потом мы решили его прикрыть, чтобы не усугублять потери. И, поверь, совсем неплохо получилось. Просто кто-то с нами сводил счёты. В «Нью-Йорк Пост» появилась заказная разгромная рецензия – и всё! Зрители не пошли, критики вежливо улыбались, а мы были мертвы. Я залезла в долги. Пришлось продать дом. Насилу выкарабкались. В мире нет более стрессовой специальности, чем продюсер шоу-бизнеса. Сплошная борьба и нервотрёпка. Всегда на краю, всегда только одна попытка, без права на ошибку. Поэтому теперь я занимаюсь менеджментом. Попросят организовать, платят – я готова. Хотя и эту работу курортом не назовёшь.

Дино. Решишь когда-нибудь создать балет, не забудь про меня. Готов быть даже статистом. *(Увлекая за собой партнёршу, проходит в танце по кругу, демонстрируя каскад замысловатых па. Потом, оставляя Мэрилин, уходит на кухню.)*

Теперь на авансцене Анна и Марк.

Марк. Танцы никогда не были моим коньком. А однажды и вовсе вышел конфуз. На свадьбе у школьного друга я вдруг расхрабрился и пригласил на танец невесту. На венский вальс, который никогда в жизни не танцевал. В разгар танца ковровая дорожка под нами вдруг заскользила по паркету и я, в объятиях невесты, оказался под столом, в ногах у матери жениха. Вот смеху было.

Анна. Дино много раз предлагал мне взять несколько уроков. Даже учителя нашёл. Но я всё время находила какую-нибудь уловку, чтобы отвертеться. Может и стоило попробовать...

Марк. В танцах я – совсем бесталанный. Другое дело – что-либо по дому. Тут я – король... Но дамский танец с королевой кулинарии сочту за честь.

Анна *(с напускным смущением).* Ну, не надо преувеличивать. И потом, что-то мне не нравится сегодня эта индюшка... *(Неуклюже продолжают танец, ежесекундно наступая друг другу на ноги.)*

Высвечиваются Кэрол и Алисон.

Алисон. Бабуленция, ты – чудо. Боюсь, я никогда в жизни не найду лучшего партнёра.

Кэрол. Пока был жив дедушка, мы часто ходили на разные тан-

цевальные вечеринки. А иногда и дома танцевали. Просто ставили пластинку и танцевали. Вдвоём... И никто нам был не нужен...

В комнату с большой, клубящейся паром керамической миской в руках входит Дино.

Дино. Паста готова, дамы и господа! (*Пробует.*) Сюрприз от шефа – «Паста ди Песто!» Пальчики оближете!

Кэрол, Мэрилин, Анна, Алисон, Марк (*одновременно.*) Дино, ты неисправим! При чём тут паста, когда мы готовим индюшку?!

Дино. Паста всегда к столу! Поверьте, итальянцу. Нет пасты – нет праздника!

Франко (*хлопая в ладоши*). Коктейль готов. Экспресс из Лонг Айленда прибыл точно по расписанию!

Раздается оглушительный вой сирены. Потом аларм начинает посылать громкие прерывистые сигналы тревоги. Внезапно гаснет свет. В наступившей кромешной темноте звучит разрозненный хор голосов:

Анна. О, My God! Сигнализация! Я всё-таки забыла про нашу индюшку-толстушку!

Дино. Да здравствует День Благодарения!

Марк. Я же говорил, что индюшка получится с корочкой!

Алисон. Бабуля, где ты? Ты жива?

Кэрол. Я здесь, моё золотко.

Мэрилин. Бедная невинная индюшка. Придется ограничиться коктейлями.

Франко. А вот в этом можете не сомневаться. Мой бар открыт 24 часа в сутки. Что изволите, дамы и господа?!

Сцена 2

Дом Фришмен. Вокруг стола, на котором вода и фрукты, молча сидят Марк, Анна и Дино. Стоящая у окна Мэрилин автоматически помешивает ложечкой в кофейной чашке. Рука заметно подрагивает, чашка позвякивает. Затянувшееся молчание нарушает Анна.

Дино. Франко обещал быть через 10 минут. У них завтра открытие выставки. Знаете, как они её называли? «В плену у города». Неплохо, правда?

Марк (*после долгой паузы*). Я видел несколько работ. Я бы её назвал «Город заневоленных лиц». Нью-Йорк есть Нью-Йорк.

Анна. Давайте ещё раз подумаем, как лучше всё объяснить. Боюсь даже представить их реакцию.

Мэрилин. Будем мы готовиться, не будем, по большому счёту ничего не меняет. *(Роняет чашку с кофе, чашка разбивается.)* Чёрт, всё валится из рук.

На втором этаже появляется Алисон. Она в экстравагантном, весьма открытом платье. Две самые отличительные детали туалета – крупный цветок на груди и достаточно крупное татуированное лого дизайнера на обнажённом животе.

Алисон *(спускаясь по лестнице).* Попрошу никого не падать в обморок. Этим платьем откроется показ новой коллекции «Дома Ольги Пеллини». И меня выбрали для его презентации. Потрясающе, правда?! А сейчас я должна вам показать мой выход.

Дино *(с ухмылкой).* По-моему, правильнее это назвать показом новой коллекции тел.

Анна, Мэрилин *(одновременно).* Дино!

Дино. Дух захватывает!

Марк. Как видно, у «Дома Пеллини» серьёзные финансовые трудности. Нет денег даже на ткани. Если это платье открывает показ, то кто его завершает?! Парад голых красоток! И вместо фиговых листков на интимных местах клеймо от Пеллини!

Алисон. Что так мрачно, папочка? И вообще, что случилось? На всех лица нет. Объясните.

Резкий звонок. Через мгновение дверь в дом шумно распахивается и на пороге, весь увешанный фотоаппаратами, появляется улыбающийся Франко.

Франко. Всем привет. Можете меня поздравить. Моя работа – на плакате нашей выставки. *(Стаскивает с себя фототехнику.)* Умоляю, дайте глоток воды. Иначе, подобно греческому марафонцу, известив о победе, умру от жажды у ваших ног.

Анна молча наливает и подаёт сыну стакан с водой.

Франко *(залпом выпивая).* Ух, чуть легче. *(Наливает и так же жадно выпивает ещё один стакан.)* Что произошло?!

Марк *(собравшись с духом).* Дорогие дети. Мы расходимся... *(Совершая замысловатые пассы руками).* И опять сходимся... Проклятие, не могу это сказать... Дино, что же ты молчишь?

Дино *(совершая те же замысловатые пассы руками, но в проти-*

воположном направлении). И во втором случае мы тоже расходимся и сходимся... (Мэрилин подходит к Дино, кладёт свои руки поверх его, успокаивает. Алисон и Франко изумлённо переглядываются.)

Алисон и Франко (одновременно). Что-о-о? Что вы говорите? Кто с кем сходится?! Кто расходится?!

Мэрилин (решительно). Дорогие мои. Алисон и Франко. Мы с Марком, и Анна с Дино решили расстаться.

Анна.

Но в то же самое время Мэрилин и Дино, и мы с Марком решили попробовать... Но мы не расстаёмся врагами, нет...

Франко. Вы что, рехнулись? С ума сошли на старости лет?! **Алисон.** Договорились, разыгрываете нас? Так что, бывает? Чтобы четыре человека, одновременно?

Франко (язвительно). Ещё скажите, что решили пожениться. (Позвякивая бутылкой о стакан, наливает ещё один стакан воды.) Или создать настоящую «шведскую семью»?!

Алисон (подходя к Марку). Папа, ты здесь единственный нормальный человек. Скажи, вы шутите? Правда? (Смотрит на календарь на стене. Начинает полуистерически хохотать.) Франко, Франко. Смотри. Они-таки нас надули.

Франко. Сегодня – Первое апреля?! День Смеха! Они нас разыграли! Признавайтесь, чья была идея. Гран-При в разделе «Чёрный юмор»!

Алисон. Уморили! (Подхватывая Франко и кружась с ним по комнате.) Заставили поверить, что у нас будут крохотулечные братики и сёстры! Памперсы и соски! Что на старости лет мы не будем одни-одинёшеньки! (Анне:) Надеюсь, у вас нет мастита, дорогая мадам Манчини?! (Обнажая грудь перед Анной.) Не хотите ли покормить грудью очередную малютку?

Анна, теряя сознание, оседает на пол. С разных сторон к ней одновременно подсказывают Дино и Марк

Дино, Марк. Что с тобой?

Анна (открывая глаза). Не обращайтесь внимания. Голова закружилась. Жарко. (Детям:) Дорогая Алисон! Франко! Это не шутка. Никто не подумал, что сегодня – Первое апреля. Это – совпадение. Но мы действительно решили попробовать...

Франко. Попробовать что? Лечь в одну постель? Ударно соорудить нам младших братьев и сестёр? Вы что, с ума сошли?

Мэрилин. Мы понимаем, это большое потрясение. И мы...

Анна (*подхватывая*). Как матери решили, что лучше, если вы останетесь в своих домах, с матерями, никуда не переезжая.

Франко. Очень трогательно. Огромное спасибо. Вы, четверо, сделали всё, чтобы уничтожить нас, разрушить оба дома.

Алисон (*подбегая к стене, срывает парный фотопортрет родителей, с остервенением рвёт его на мелкие кусочки, топчет ногами.*) Ненавижу!

Марк. Вы должны нас понять. Жизнь – сложнее всяких формул. Так сложилось...

Дино. И потом...

Анна (*негромко, но твёрдо*). Мы решили, это касается нас четверых. Нам так гораздо комфортнее, теплее, по крайней мере – сегодня. В жизни бывают повороты судьбы.

Дино. Со временем вы поймёте. Семейная жизнь – это... (*подбирая сравнение.*) не тротуар перед «Белым Домом». Бывают рытвины, ямы. И мы – не ангелы...

Алисон. А дальше что, ангелы? Что с нами будет, вы об этом подумали, так называемые «любящие родители»?

Мэрилин. Конечно, подумали. Наши новые дома открыты для вас в любое время. И отцы, и матери любят вас как прежде. И неважно, где мы живём – здесь, или где-то по соседству, когда продадим дома.

Франко (*гневно*). Как это неважно? Неважно где, неважно с кем, что же тогда важно? (*Хватает и надкусывает яблоко, закашливается. Кашляя всё сильнее, тем не менее продолжает свою обличительную тираду.*) Дерьмо! Блядуны! Компания лжецов!

В разговор включается Алисон. Одной рукой она яростно стучит по спине Франко, другой – совершает резкие рубящие движения в такт своим словам.

Алисон. Ни одному вашему слову нельзя верить! Ни одному! Что вы твердили с самого детства? Мой дом – моя крепость! Семья превыше всего! Демагоги! Болтуны!

Анна нервно доливает себе кофе. Залпом выпивает. Чашка падает, разбивается.

Алисон (*распаляясь*). Правильно. Бей, круши всё подряд! Было две семьи. Два по-своему, но счастливых дома. Ничего не осталось.

Руины, осколки. (Хватая всё, что лежит под рукой, – подушки с дивана, надувные игрушки – запускает в родителей. Те тщетно пытаются уклониться от летящих в них предметов.) Обманщики! Ублюдки! Прелюбодеи! Fuck you!

Мэрилин. Алисон, Алисон, опомнись!

Марк. Дочка, доченька, что с тобой?

Алисон снимает туфлю и начинает иступленно лупить по огромному, в рост, парному фотопортрету отца и матери на стене. Портрет падает на пол. Франко расстёгивает брюки и с преувеличенным удовольствием на лице начинает мочиться на портрет. Брюки спадают на пол.

Анна. Ты с ума сошёл, Франко! Что ты делаешь?!

Алисон ногой наносит ещё один удар по портрету.

Дино. Ну и бестия!

Алисон подхватывает с пола и запускает подушку в направлении отца, стоящего в этот момент у входной двери. Тот уклоняется, подушка срывает вошедшую в дом Кэрол.

Кэрол (обводя взглядом дом). Что тут происходит? Последний раз я видела подобное побоище 30 лет назад в сумасшедшем доме под Бостоном. Мы туда пришли с бабушкой вручать больным рождественские подарки. Но ведь там были – больные люди... Кстати, хотела вам сказать про своё завещание. Похоже, не вовремя...

Сцена 3

Дом Фришмен. Дино в футболке с надписью «VIVA ITALIA» – в мыльной пене, с бритвой в руках, стоит перед гигантским настенным телевизором и слушает своё выступление перед неистово аплодирующей аудиторией. Увлечённый самосозерцанием, не замечает, как в дом с большим конвертом в руках входит Франко.

Дино (с экрана). Каждый из вас много раз на дню должен повторить одну простую – азбучную истину. Настойчивость, настойчивость и ещё раз настойчивость. Только каждодневная настойчивость найти и подписать новых клиентов делают успешным страхового агента. Таким был мой путь, путь моих учителей, всех людей, успешных в Америке...

Франко (издевательски подхватывая, поверх голоса отца, про-

должающего вещать с экрана). Вы должны работать всё больше и больше, 24 часа в сутки, без сна, без отдыха, без отпуска, без обеда и туалета, и когда-то там, в далёком будущем, вы, может, станете миллионерами. (*Меня тон.*) И пока все эти дураки будут слушать тебя и верить, и работать всё больше и больше, без сна, без отдыха, без туалета, другие, более ловкие люди, будут делать настоящие, не выдуманные тобой, миллионы! А дураки-клиенты будут страховать свою жизнь и верить в сказки людей без совести, без чести – страховых агентов...

Дино (*удивлённо.*) О, Мамма Миа! Porca Madonna! Ты как сюда прокрался, лазутчик?! Ты с ума сошёл, Франко! Что ты несёшь? Я продал уже десять тысяч таких кассет. Нет, не десять, двенадцать! С огромным успехом выступал на конференциях в Майями, Чикаго и Вегасе. И никто никогда не говорил, что это – ерунда. Вот увидишь, и завтра, в Бостоне, весь зал, тысяча человек, без исключения, устроит мне овацию. И мы не слишком преувеличиваем необходимость страхования жизни. (*Примирительно.*) Слушай, прекрати демагогию. Пойдём куда-нибудь пообедаем. Это моё последнее утро дома... Я сейчас, только добреюсь...

Франко. Ну его к чёрту, твой обед. У меня натурные съёмки в Центральном парке. (*Запускает подушкой с дивана в экран.*) Нет сил больше слушать эту галиматью. Хренятину. Дома бесконечно собой любовался, и здесь та же заезженная плёнка.

Дино. При чём тут плёнка? Я завтра выступаю в Бостоне, решил посмотреть, что надо усилить, где были слабые места.

Франко (*запальчиво.*) Сколько можно оболванивать людей?! Супер-агент! Агент номер один! Тьфу! Противно слушать! Обманщик номер один – да! Оболваниватель номер один – да! Супер-лжец! Которому всё равно, кому врать и всучивать свои проклятые страховки: одинокой чёрной матери, насмерть напуганному новому эмигранту или абсолютно нищему мексу, у которого нет денег даже на пропитание...

Дино (*опять вспыхивая.*) Ты – идиот, безмозглый крикун. Да, я всучиваю людям страховки, но для их же блага. Спроси у семей жертв Оклахома-Сити или Всемирного торгового центра! Тысячи, сотни тысяч людей получили компенсацию за родных и близких. За свои увечья! Многие выжили только благодаря самой идее страхования!

Франко. Твоё спасение, что случилось несчастье. Сотням могли, а миллионы – оболванили. *(Хлопая дверью, уходит. Через мгновение возвращается. Кладёт на стол конверт.)* На вот, передай Алисон. Отпечатал её фотографии для модельного агентства. *(Уходит.)*

Дино *(нервно позвякивая стопкой о графин, наливает стопку водки. Залпом выпивает).* Хорош сынок, нечего сказать. Вот тебе благодарность за всё это. *(Обводит рукой дом.)* За поездки в горы, в Лондон, Барселону. За бесконечные классы фотографии. *(Наполняет ещё одну стопку. Кричит вдогонку Франко.)* Что ты, щенок, что твоя мамаша! Тексты под копирку!

Звонок в дверь. Дино открывает. На пороге Марк с дрелью в руках.

Дино *(удивлённо.)* Марк?! Ты? А почему с дрелью?

Марк. А что тебя удивляет? Пришёл дверной замок поменять. Заодно и вещи свои заберу. *(Кивает на стоящие чуть в стороне от входной двери два полузакрытых чемодана с набросанными в них вещами.)* Вот, всё, что накопил за 20 лет. Два чемодана. Не густо...

Дино.. Замок? Зачем?

Марк *(иронически).* Как зачем? А вдруг я решу свой собственный дом ограбить? Драгоценности, которые сам подарил, украсть? Бывшую жену изнасиловать.

Дино. Кто это придумал?

Марк. Понятно, не я. Я бы не додумался... Наша драгоценная не постеснялась. Ты ведь не рукодел...

Дино. А зачем ты согласился?

Марк. А ты считаешь, я должен был её послать? Всегда всё по дому делал, а тут вдруг переродился.

Дино. Но тогда ты был в нём хозяином. Слушай, ну его, этот дурацкий замок, давай лучше выпьем по рюмке, поговорим.

Марк. Не, не могу. Работа по спецзаказу. Замок-капкан на самого себя. Чтоб больше в свой дом, к своей дочери ни ногой! Только – по специальному запросу! Иначе – наручники, тюрьма!

Дино. Полный идиотизм! К чёрту! Пойдём лучше выпьем по стопке. Хочешь виски?

Марк *(вздыхнув.)* Ну давай. Кто сегодня за хозяина?

Дино. В отпуск уехал. Будем угощать друг друга. *(достает из бара*

бутылку, фужеры, наливает, протягивает один Марку.) Ну, давай. Чтобы не разочаровались! (чокается.)

Оба выпивают. Дино наливает ещё по одной.

Марк. В точку! Иначе будем настоящими посмешищами! Хотя и раньше был посмешищем. Даже в собственных глазах.

Голосом Мэрилин. Я когда-нибудь могу получить вразумительный ответ? Чтобы мужчина никогда не имел собственного мнения! Не муж, а недоразумение. Одни дырки в голове.

Марк. Так чем тебе помочь, дорогая?

Дино (голосом Мэрилин). Помочь? И ты ещё спрашиваешь? Муж-невидимка на 25 лет. Я всегда одна: на презентациях, премьерах, церемониях вручения наград. И на наших театральных вечерах одна – из всех семейных пар. Вечно вынуждена искать, кому подарить второй билет...

Марк. А что мне там делать? Я там – чужой. Среди снобов и выскочек. Ни одного нормального лица! Ни одного искреннего слова! Галерея масок! Музей лжецов! Захолустный филиал «Мадам Тюссо»!

Голосом Мэрилин. Ну конечно, все нормальные люди сосредоточены в школе Марка Твена. Учащиеся – гении, все без исключения: эфиопы, латинос; наши меньшие чёрные братья тоже чрезвычайно сметливы и когда-нибудь, лет через 200-300, по уровню развития догонят и перегонят...

Дино. Годы террора. И как ты это выдерживал?

Марк. Странно, но мы совсем неплохо прожили эти годы. Давай выпьем! (Дино наливает. Чокаются, выпивают.) Другое дело – её характер. Но что я мог сделать? Корни этих бешеных перепадов настроения, нервных срывов уходят в её детство – без любви и тепла. Родители любили только друг друга...

Дино. Характер – характером, но в чём-то она права. Какой женщине захочется вечно быть одной? И про школу тоже; зачем ты там торчишь 24 часа в сутки? Отработал, иди домой. В жизни так много интересного. Ты ведь не на комиссионные работаешь. Всё стабильно – зарплата, бенефиты.

Марк. Как ты не понимаешь, Дино? Это не просто работа, за которую платят деньги. Я – учитель. Уччу детей, самых разных, отвечаю на их вопросы, стараюсь помочь, поддержать, если нужно. Некоторые из них безнадежны, у меня нет иллюзий. Но я и их стараюсь тя-

нуть вверх. Вниз они сами покатаются. И я уважаю свою профессию. Что тут странного?

(Меняя тему.) А у тебя как было? Анна ведь гораздо мягче.

Дино *(опрокидывая стопку)*. Там всегда одна песня.

Голосом Анны. На бис! Возьми меня с собой! Я всегда одна. Ты – в Майями, Панаме, Чикаго, а где я? Дома, одна в четырёх стенах?! И ещё в своей рабочей клетке, выгородке два на два, перед монитором с мелькающими экранами. Я – как заневоленная пружина. Ненавижу эту проклятую работу! Счета, вечные проклятия больных, возмущённых невероятными счетами от докторов, доктора, для которых мы лишь ничтожные пешки. Из дома на работу, с работы – домой... А что впереди? Грустная старость... Горбушка жизни...

Дино. Ну успокойся, успокойся дорогая. Какая старость? Мы всё ещё наворачиваем.

Голосом Анны. Я тебе всё время говорю, надо ценить и радоваться каждому новому дню. Хочу наслаждаться жизнью, отдыхать, путешествовать, пока мы ещё в силах, здоровы... Но тебя никогда нет рядом.

Дино *(теряя терпение)*. Porca Madonna! Боже, я не в силах больше это слышать. Одно и то же – изо дня в день, годами. Пашу как сумасшедший, с утра до ночи, до чёртиков в глазах, и только и слышу упрёки. И от кого – от жены, от сына, кого люблю, для кого стараюсь. Будь прокляты ваши стенания и жалобы! Поневоле будешь стремиться сбежать из дома. *(Изображает, будто спохватываясь, поворачивается и идёт к жене. Не обращая внимание на её сопротивление, обнимает, целует.)* Ну, хорошо, хорошо, ты права. Вернусь, поедем на Багамы. Следующую презентацию организирую на круизе. Прекрасный корабль, сервис – неделю будем вдвоём!

Голосом Анны. И ещё три тысячи пассажиров – твоих клиентов! Прекрасная интимная поездка... Ты не исправим, Дино!

Дино *(вдогонку)*. Но зато какой сервис! Мечта любой женщины. *(Марку.)* Наливай! *(Марк наливает. Чокаются, пошатываются, смачно выпивают.)*

Марк. Присоединяюсь! Наливай! *(Наливает, чокаются, выпивают.)* Не получится с новыми жёнами, будем жить вместе. Без

ссор, без скандалов! Как люди! (*Выпивает из пустого бокала. Схватившись, чертыхается, с силой разбивает бокал.*) На счастье, мой друг!

Сцена 4

Уличный фонарь со знаком автобусной остановки. На фоне сияющего феерическим светом огней и реклам Бродвея танцуют несколько пар в карнавальных масках. Время от времени музыка на мгновение останавливается, партнёры в парах меняются, после чего танец продолжается. После нескольких перемен музыка заканчивается; все пары, кроме одной, растворяются в ночи. Оставшаяся – на авансцене.

Он. Я был очень рад, когда мы переехали в Нью-Йорк из Буффало. Как только мне предложили возглавить региональный офис, ни минуты не раздумывал. Фантастический город. Как его только не называют. Большого Яблока. Жёлтого Дьявола. Имперский. 12 миллионов лиц.

Она. И миллиона сумасшедших!

Он. А здесь, на Бродвее, их, как минимум, половина. Им даже маски не нужны. Кого только нет. Короли и шуты, жулики и жертвы, трагики и комики – в одном лице.

Он (*внезапно*). Маска, я тебя знаю...

Она. Кто же я, о – незнакомец?

Он. Загадочная и очаровательная... А как эта маска танцует!

Она (*снимая маску*). Дино, не делай мне столько комплиментов. Боюсь, мне не выдержать подобного потока. Я так давно не слышала такого водопада замечательных слов в свой адрес.

Он (*отбрасывая прочь маску*). В них нет ни малейшего преувеличения. Ты – фантастическая женщина, Мэрилин, и я тебя обожаю. Ты всколыхнула всё лучшее во мне, что, я полагал, давно ушло.

Мэрилин. Но это благодаря тебе, Дино. Тому Дино, который сейчас перед мной. Не тому, кого я наблюдала изо дня в день, из-за забора. Тот – самовлюблённый громкоговоритель, обрушивающий на окружающих сотни клише в минуту...

Дино. Да, но и ты – не та Мэрилин, которую я знал. Даже эти тремолирующие нотки в голосе, я их никогда прежде не слышал.

Мэрилин (*на мгновение прислоняя маску к лицу*). Вот – моё новое лицо.

Дино (*подхватывая*). И оно мне нравится!

Целуются. На мгновение отстраняются, улыбаются, целуются ещё страстнее.

Дино. Замечательный вечер. Честно сказать, я уже дважды видел «Producers». Не хотел тебе говорить. Спасибо за приглашение. И за то, первое – на церемонию вручения награды.

Мэрилин. Это не мне – это Марку. Если бы не его отказ, мы не смогли быть сегодня вместе. Кажется, я зря его ругала...

Дино. Жаль, твоя команда не получила Тони. Ваши «Вакханки» – совершенно блестящая постановка.

Мэрилин (*нежно проводя рукой по волосам Дино*). Какое это теперь имеет значение? Наши спектакли уже четвёртый раз выдвигают на Тони. И это – не рекорд. Моего друга Ави Харли номинировали семь раз. И все семь призов давали другим. Но сейчас не хочу даже думать об этом. Все эти призы – погремешки на ярмарке тщеславия. Мир изменился в моих глазах. Даже краски вокруг стали другими.

Дино. И жизнь – другая. Ну ничего, получишь Тони в следующий раз. (*Меняя тему.*) Ты твёрдо решила рискнуть?

Мэрилин. Да. Твёрдо.

Дино. И когда?

Мэрилин. Запускаемся через два, максимум – три месяца. Деньги нашли; пять миллионов дают инвесторы, пять – мама, из моей доли наследства. Насилу уговорила, никак не соглашалась. Говорила, что эти деньги, по завещанию отца, не могут быть получены заранее. Что не любит мюзиклы. Но мы с юристом всё-таки нашли лазейку в бумагах. Всё остальное – готово. Вчера подписали контракт с театром, закончили отбор актёров. Остались мелочи.

Дино. Хороши мелочи, на кону десять миллионов долларов! И никаких гарантий!

Мэрилин. Гарантий нет никогда. И удача, увы, непостоянна. Постоянны только завистники!

Дино. И как ты к ним относишься?

Мэрилин. С возрастом помягчела. Раньше взрывалась как по-

рох. Потом поняла. Не завидуют тому, кто ничего собой не представляет. Если ничего не делаешь, все тебя любят. Говорят, какой прекрасный, замечательный, редкой души человек. А если горишь, стремишься к чему-то, страдаешь, требуешь отдачи, ты – сволочь, неврастеник, кровосос... *(Улыбается.)* Меня надо беречься, Дино... Могу быть опасна.

Дино. Спасибо, что предупредила. Буду знать! *(Глядя на часы.)* Чёрт! Пора уже быть в аэропорту. Я должен вылететь в Чикаго первым рейсом.

Мэрилин. Я провожу тебя.

Дино. Спасибо, дорогая. Если не возражаешь, поеду в Ла-Гвардия один. У каждого свои странности. Люблю, когда меня встречают, и ненавижу, когда провожают. В среду вернусь, решим, что делать дальше.

Мэрилин. Ума не приложу. Столько людей в нашем замкнутом кругу. Родители, дети, бывшие мужья и жены. Я больна от этих мыслей.

Дино. Дети совсем неуправляемы. Франко хамит с утра до ночи.

Мэрилин. А Алисон? У нас всегда были непростые отношения, а сейчас – просто кошмар. Конечно, я понимаю. Слишком неожиданно, слишком болезненно. Но ведь и мы – живые люди. У меня сердце болит с утра до вечера... Как бы они не натворили глупостей...

Дино. Я боялся, ты сорвёшься, когда она в антракте начала вдруг на тебя орать из-за упавшей программки.

Мэрилин. Да, просто чудом сдержалась. Чуть от стыда не умерла. Моя дочь кричит на меня. И где – в театре, где все меня знают, когда вокруг десятки знакомых. На спектакле, куда я её пригласила. Позор!

Дино. Забудь на время об этом. Положись на меня. А пока, подари мне ещё один танец! Мы ведь в самом сердце театрального Нью-Йорка.

Мэрилин. Да, но сейчас два часа ночи. Станный получится танец.

Вступает музыка. Проходя в танце по кругу, пара исчезает в кулисах. Гаснут огни Бродвея.

Дино. Станный? В Нью-Йорке, на Таймс Сквэр? Кого мы уди-

вим в городе миллиона сумасшедших, где всем вокруг на тебя наплевать?! (*Мэрилин кладёт руку на плечо Дино.*) Именно на Бродвее и нужно танцевать на рассвете...

Сцена 5

Той же ночью. Где-то в отдалении часы гулко отбивают два удара. Кэрол и Алисон, в вечерних платьях, на крыльце дома Фришмен. Они только что вернулись с того же бродвейского шоу, после которого мы видели Мэрилин и Дино.

Кэрол. Зачем ты нагрубил матери? В театре, где все её знают?

Алисон. Извини. Не сдержалась. Всё так противно. Мерзко. При одной только мысли, что надо возвращаться домой, у меня начинаются судороги. Этот противный Дино, с его вечно лоснящейся от геля головой. Мама, вся светящаяся при одном только взгляде на него.

Кэрол. Я всё понимаю. Прошу только, не делай глупостей. Не озлобляйся. Нелегко всем – и тебе, и отцу, и матери.

Алисон. Мама, ладно. Но отец, ты знаешь, какие у нас были отношения. Он меня предал... Он был для меня и папой, и мамой. Я к нему шла со своими проблемами. Мать вечно торчала на своих репетициях, презентациях и премьерях. Я почти физически ощущаю его отсутствие дома...

Кэрол. Алисон, дорогая моя. Право, не знаю, что тебе сказать. Знаю одно: со стороны всё видится в ином свете. Жизнь – безумно сложная штука. Я твоего папу по-прежнему люблю как сына. И остаюсь председателем попечительского совета школы. И платиновым спонсором... Наверное, они действительно полюбили друг друга.

Алисон. Ты что, шутишь?! Все четверо? В один и тот же миг? И вообще, почему я должна остаться с ней? Мы с отцом гораздо ближе друг другу. Он – мой друг. Я даже похожа на него. Помнишь, ты мне рассказывала? Когда я родилась, и меня к вам вынесли, все ахнули: «Вылитый папа. Только без бороды и усов. Даже уши такие же...».

Кэрол. Ну вот, мы и улыбнулись. (*меняя тему.*) Так ты хочешь поехать с этим, как его ..., Рокки... в горы, покататься на лыжах. И он хороший мальчик – этот твой Рокки?

Алисон. Не Рокки, бабушка, а Ронни. Ронни! И потом, мы – просто друзья. И оба любим лыжи.

Кэрол. Ах, ну да, друзья, лыжи. И он – католик, правда, моё солнце?

Алисон. Да, бабушка.

Кэрол. Ты знаешь, Алисон, как я тебя люблю. Ты – умная девочка. И ты помнишь, что если выйдешь замуж за хорошего еврейского мальчика, то получишь такой очень красивый, большой чек с многими – многими нулями. А если выберешь ну немножко другого мальчика, тоже очень достойного и умного, и он не пьёт, и не курит, но вместо синагоги по субботам – по воскресеньям ходит в церковь...

Алисон (*смеясь*). Бабушка, ну не смей меня. Пожалуйста...

Кэрол (*приобнимая внучку*). Ты, дорогая моя Алисон, конечно, получишь тоже очень хороший чек, и красивый, но не такой большой, как в первом случае. Ну там... на два, на три нуля меньше. Я тебя очень люблю, моя девочка, и этого твоего... как его, Роджера, тоже почти уже люблю... Хоть он и католик.

Алисон. Не Роджер, бабушка, Ронни. И мы с ним дружим, бабушка.

Кэрол. Оба чека почти одинаковые. Но один такой очень хороший, очень увесистый, и в нём оч-ч-чень – ну очень много нулей. А второй – из того же банка, с той же подписью, но гораздо скромнее. Его даже в банк положить будет стыдно, моя детка. Я не шучу, Алисон, подумай, пока я буду в отъезде.

Алисон. На сколько ты уезжаешь?

Кэрол. Планирую на три недели. Вчера был очередной теракт. 13 убитых, 72 раненых. Много детей.

Алисон. Когда всё это кончится? Этой интифаде не видно конца.

Кэрол. Только за последние два года более тысячи жертв. Я горда, что мой фонд смог реально помочь жертвам террора.

Алисон (*обнимая Кэрол.*) Мне тебя будет не хватать. Я всегда грущу, когда тебя нет рядом.

Теперь Кэрол обнимает внучку, та тесно прижимается к ней. Из темноты появляется Франко.

Франко. Привет лучшим представителям семьи Фришмен. Что

тут происходит? Алисон, пощади бабушку. Ты напоминаешь борца, который намертво захватил противника и готовится шмякнуть его на лопатки.

Алисон (*фыркнув*). Тоже мне специалист. Откуда ты знаешь?

Франко. Недавно фотографировал тренировку нашей национальной сборной. Получилась парочка просто замечательных фотографий. Хотите посмотреть?

Кэрол. Спасибо, Франко. Как-нибудь в другой раз. Мне надо выспаться. Утром поеду домой, начну собираться. В доме чёрт ногу сломит. Ремонту не видно конца. Проклятые строители! Умоляла их делать ремонт поэтажно, даже не подумали. Краски и мусор повсюду! Сколько не плати, никогда не соблюдают сроки! (*Целует внучку, уходит в дом.*)

Алисон. Бабушка завтра уезжает.

Франко. В Израиль? Там, кажется, опять что-то произошло?

Кэрол. Очередной теракт. Каждый раз, когда я вижу покалеченных детей, убитых горем родителей, неделями места себе найти не могу. (*Внезапно.*) А тут ещё дома такая обстановка...

Франко. Вы не расстраивайтесь. Мы обязательно отомстим за их подвиги.

Кэрол. Пожалуйста, очень вас прошу. Не усугубляйте конфликт. Не озлобляйтесь. Лучше от этого никому не станет. А для меня эти скандалы – просто губительны. (*После паузы.*) Пойду в дом. Что-то я сегодня непохожа на себя. Всё валится из рук...

Алисон. Тебе помочь?

Кэрол. Спасибо, я справлюсь. А вы тут пока поболтайте. (*Уходит в дом.*)

Франко. Кэрол безумно переживает. На ней лица нет.

Алисон. Кому это может быть приятно? Вся эта грязь, грязное бельё семейной жизни...

Франко. Мы должны отомстить.

Алисон. Но как? Что мы можем сделать? В суд на них что-ли подать?! Дома подпалить?! Глупо...

Франко. Не знаю. Но мы должны придумать. Ни о чём другом не могу сейчас думать. Как они растоптали нас, как унизили. Мы просто обязаны в ответ втоптать в грязь их чувства и эту их, так называемую, любовь! Я это сделаю!

Алисон внезапно всхлипывает. Прижимается к Франко. Тот пытается её обнять, поцеловать. Алисон мягко, но твёрдо отстраняется. Выскальзывает из его объятий.

Франко. Но почему, Алисон? Ты мне так нравишься! Ты – замечательная девушка. Я всегда мечтал именно о такой.

Алисон. Не обижайся, Франко. Я не могу. Ты мне тоже очень нравишься. Мы с тобой друзья, не так ли?

Внезапный мощный раскат грома, вспышка молнии, ещё один удар грома.

Алисон. Уже поздно, Франко. Идём по домам.

Очередная вспышка молнии, сопровождаемая громом.

Алисон. Помнишь эти стихи? «И ударил гром, и пронзила мир молния и высветила все его пороки, и руины, которые ждут людей, их породивших». Пойду помогу бабушке. Что-то она сегодня действительно не в себе.

Уходит в дом. Франко остаётся один. Хватает подвернувшееся под руку раскладное садовое кресло, с ненавистью швыряет его в дверь дома.

Сцена 6

Интерьер в доме Фришмен. В креслах перед огромным телеэкраном Мэрилин, Дино и Франко. На сервировочном столике ваза с фруктами, вазочки с орешками и прочей снедью, бутылка вина, фужеры.

Дино (поднимая фужер). Дорогие мои. Сегодня – 6 месяцев нашей новой жизни. Франко, я знаю, тебе и Алисон труднее всех. Поэтому хочу предложить тост за тебя. Мы оба, я и Мэрилин, тебя очень любим и ценим. (Сдвигает свой фужер с фужером сына.)

Мэрилин. Разреши мне присоединиться. Вы с Алисон действительно замечательные ребята. Вами можно гордиться. (Придвигает фужер к фужерам Дино и Франко.)

Франко (сдержанно.) Спасибо. Оценили. (Не пригубив, отставляет бокал в сторону.) Мне бы не хотелось за это пить. Тоже мне, дата...

Дино. Но послушай, в конце концов, мы имеем право на собственную жизнь. И строить её так, как нам видится. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Но сколько можно пить нашу кровь? Хамить по

пустякам. Неделями не ночевать дома. За последний месяц мы видели тебя едва ли два-три раза...

Мэрилин (*примирительно.*) Когда Дино вернётся, можем поехать в Монреаль, на джазовый фестиваль? Согласен?

Франко (*отцу*). Куда ты едешь? Зачем? Почему мне не сказал?

Дино. Интересно, как я мог это сделать, если тебя неделю не было дома, а мобильник ты отключил?

Франко. Не знаю. Захотел бы, нашёл.

Дино. Я лечу на семинар в Солт-Лейк-Сити. (*Посмеивается.*) В гости к мормонам. А оттуда – в Феникс, на переговоры об открытии нашего филиала. Буду недели через две, не раньше. Умоляю, не устраивай скандалы. Будь тем Франко, которого мы любим. Открытым, доброжелательным...

Мэрилин. Давайте-таки поедem в Монреаль. Потом можем заглянуть в Квебек и на «Тысячу островов».

Дино. Ну, так как?

Франко (*неопределённо*). Надо подумать. Но вообще-то заманчиво.

Мэрилин. Ты бы снимал. Я тебе устрою встречи со звёздами. В этом году будут Кларк Терри, Херби Хэнкок, Биби Бриджвотер...

Дино. Соглашайся, Франко. А то нам придётся самим превратиться в папарацци. Не уверен, что я, в моём возрасте, готов 24 часа в сутки гоняться за суперзвёздами.

Франко. А что? Всяко лучше, чем охотиться за клиентами и предлагать им страховки и пенсионные планы.

Дино. А вот тут ты абсолютно прав. И именно поэтому должен составить нам компанию. По рукам? (*Протягивает руку сыну.*)

Франко (*нехотя ударяя по руке отца*). Идёт.

Дино. Ну вот и отлично. (*Глядя на часы.*) Времени в обрез. Самолёт через два часа. (*Целует Мэрилин и сына.*) Пожалуйста, не ссорьтесь.

Подхватывает стоящий у порога чемодан, уходит. Через мгновение раздаётся звук отъезжающей машины.

Франко. Извини мою грубость. Это не персонально против тебя. А где Алисон?

Мэрилин. Сегодня ночует на кампусе. У подруги – день рождения. Обещала вернуться завтра к вечеру.

Франко. У них там в колледже не менее 30 вечеринок в месяц. И это изо дня в день – третий год. Как ей не надоело?!

Мэрилин. А у вас что, не так?

Франко. Не, мы, конечно, тоже тусуемся. И гуляем, бывает, по 3-4 дня подряд. Но сейчас, конечно, меньше, не то, что на первом курсе. И потом, у нас нет кампуса. Да и времени у меня тоже нет. Если свободен, работаю в баре или снимаю что-нибудь.

Мэрилин. Ты очень похож на отца. И не только внешне. Та же неистовая страсть к работе.

Франко. Не, я вообще-то лентяй. Просто фотография – моя страсть. Готов снимать с утра до ночи. Это потрясающее чувство, когда вдруг видишь, что получается что-то настоящее. Неважно, портрет, пейзаж или коллаж. Но это – твоё, твой взгляд на мир, увиденное только тобой.

Мэрилин. А бар?

Франко. А что бар? Тоже – творчество. Попробуй придумай что-нибудь оригинальное. Плюс деньги. Могу никого ни о чём не просить, делать что хочется. Кроме того, наш бар – Нью-Йорк в миниатюре. Каждую смену – сотни лиц. Я их всех фотографирую. Если не буквально, то глазами.

Мэрилин. Ну, а коктейли? Сам что-либо придумываешь? Или только традиционные?

Франко. И вовсе не только. Вот недавно придумал новый коктейль – «Небесный крючок»... Хочешь попробовать?

Мэрилин. А что это?

Франко. Водка, ром, джин, текила и всякие ароматические добавки. Клиентам нравится.

Мэрилин. Ну, это, похоже, напиток для настоящих ковбоев. Есть что-нибудь помягче?

Франко. Извольте. В основе мексиканский ликёр – «Калуа». (Готовит напиток.) Готово! (Протягивает бокал Мэрилин.) А себе я, пожалуй, сварганю что-то покрепче. Я, правда, не ковбой, но, надеюсь, в седле держусь.

Мэрилин. За что пьём?

Франко. А чёрт его знает. Может, за одну удачу в год?

Мэрилин. Что это значит?

Франко. Это – девиз нашего фотоклуба. На Рождество мы всег-

да вместе. И первый тост всегда за одну удачу в год. И неважно – удачный кадр, встреча, путешествие или любовь. Важно, чтобы случилось...

Мэрилин. Я – за! Действительно то, что надо всем без исключения. Хотя бы одна удача в год! За этот тост готова поднять даже два фужера. *(Сдвигают бокалы, чокаются, пригубляют.)*

Франко. Какой второй? Опять с ликёром? Может, айриш крим?

Мэрилин. Чересчур сладко. Лучше джин с тоником. Только, пожалуйста, не слишком много льда. *(Делает ещё один глоток.)*

Франко. Будет исполнено, мадам! *(Готовит коктейль.)*

Мэрилин тем временем подходит к стереосистеме, ставит диск. Звучит хит Б. Джоэля «I am in New York State of Mind».

Франко. Готово! Старина Билли Джоэль, конечно, феноменален. Тридцать лет на коне. Каждый год, как минимум, один-два хита. Когда я слышу «In the Middle of the Night», ноги сами начинают танцевать.

Мэрилин *(начинает петь и приплясывать):* – In the Middle of the Night I Go Walking in My Sleep, Through the Jungle of Doubt to a River so Deep.» *(Песня «The River of Dreams»).*

Франко *(смеясь).* Билли Джоэль номер два. Только в юбке. Одна песня на два исполнителя; зритель, правда, один. Слушай, что, если я тебя снимаю. Мне пришла в голову фантастическая идея. Давай попробую создать серию твоих портретов. Назовем её «Лики». Ты будешь менять только причёску и наряды, всё остальное – интерьер, грим – остаётся прежним. А я постараюсь, чтобы был диапазон настроений.

Мэрилин. Идея – хорошая. Боюсь только, главная героиня – неподходящая. Слегка в подпитии... И немолода...

Франко. Почему нет? Ты мне только немного подыграй. У тебя такое выразительное лицо. Ты справишься, я уверен. Ты же актриса. Будь сама собой. Мэрилин – деловая женщина. Мэрилин – на просмотре спектакля. В хорошем настроении, в плохом. Давай, возьмём театральные парики и начнём импровизировать...

Мэрилин *(выпивая одним глотком джин с тоником.)* Почти убедил. Теперь надо только, как говорит один мой хороший знакомый, «поймать наглость хода». Сделай мне ещё один джин и тоник.

Франко. Будет исполнено, мадам. А ты пока достань парики.

Мэрилин. Слушаюсь, сэр. *(Встаёт с кресла, с фужером в руках направляется по лестнице на второй этаж.)* Итак, первая фотография серии. Слегка нетрезвая женщина направляется в спальню.

Франко *(подхватывая.)* Нет, эта фотография будет называться «Вверх по лестнице, ведущей в небо». Почти как знаменитая когда-то книга внучки Шолом Алейхема. *(Берёт фотоаппарат, делает вид, что снимает.)* Внимание! Снимаю! Есть кадр!

Колдует над очередным коктейлем. Появляется Мэрилин – с охапкой париков, шляпок и накидок.

Мэрилин. Решила заодно прихватить всякое барахло. *(Набрасывает накидку.)* Итак, первый портрет. *(Взъерошивает волосы.)* Назовём его «Презрение». *(Застывает в картинной позе.)*

Франко. Снимаю!

Мэрилин *(надевая первую попавшуюся шляпку.)* Второй портрет серии – «Экстра-ваганца». *(Соответствующей походкой дефилирует вдоль комнаты.)*

Франко. Снимаю! Ещё коктейль?

Мэрилин. Что-нибудь экстравагантное. В тон наряду. Но не слишком крепкое...

Франко. Будет исполнено, мадам. *(Прищёлкивает каблук. Смешивает ингредиенты. Мэрилин облачается в новый наряд. Франко подаёт ей коктейль.)*

Мэрилин. Как мы назовём этот портрет? *(Чуть пригубив, пробует коктейль.)* О, это, пожалуй, чересчур. По-моему, в нём все 100 градусов! *(Отставляет фужер.)*

Франко. Ну, не надо преувеличивать. Только 40! Наш следующий снимок – «Оголтелая феминистка на Пятой авеню».

Мэрилин отправляется в очередной поход по дому. Дойдя до лестницы, резко разворачивается. С трудом удерживает равновесие, чтобы не упасть.

Мэрилин. О, о... Главную героиню слегка пошатывает. Даже феминизм не помогает. *(Ещё раз теряет равновесие, едва успевает ухватиться за поручень лестницы.)* Франко, кажется, я слегка опьянела. Помоги мне подняться в спальню. Сама я, боюсь, не дойду. *(Обхватывает подскочившего Франко за шею.)* Этот снимок будет называться «Скорбная процессия».

Франко. Почему же скорбная? Лучше назовем его «Уход в ночь».

По пути нажимает кнопку выключателя. Свет гаснет. Мэрилин и Франко высвечиваются только лучом лунного света сквозь световое окно в потолке. Застывают на мгновение в стоп-кадре. Потом Франко начинает целовать Мэрилин – всё жарче, жарче.

Мэрилин. Франко, что же ты делаешь?

Франко. Целую самую обольстительную женщину в мире.

Мэрилин. Не надо. Ну, прошу тебя. Ну, Франко. Мы не должны... Ты с ума сошёл...

Франко (*раздевая её*). Ну тебе же не хочется сопротивляться. Ты такая жаркая. Иди же ко мне. Иди.

Мэрилин. Франко! О, Франко. Что ты со мной делаешь?

Целуясь и сбрасывая с себя одежды, продвигаются наверх. Застывают во внезапно ставшем ещё более рельефным лунном сиянии.

Конец первого действия

ДЕЙСТВИЕ 2

Сцена 1

Дом Фришмен. Ранний вечер. Распахивается входная дверь, на пороге появляется Алисон. Она в явном подпитии. Сбрасывает на пол плащ, вполнакала зажигает торшер, включает музыку. Резво направляется к креслу, разворачивается, пытается сесть. Промаршируется и... опрокидывается на пол на спину. Смеётся.

Алисон. Нечего сказать. Хороша именинница. Пожалуй, последний скрюдрайвер был лишним.

Тицетно пытается взобраться на барное кресло. Падает на пол вместе с креслом. По лестнице в гостиную в вечернем платье спускается Мэрилин.

Мэрилин (*ехидно*). Восхождение явно не удалось. Горвосходитель рухнул в пропасть...

Алисон. К счастью, вершина была не слишком высокая, и он остался жив. Даже не покалечился.

Мэрилин. К счастью. Но это – сегодня. А что будет завтра?

Алисон. Завтра будут новые вершины. И – новые победы.

Мэрилин. На алкогольном фронте?! Тебе не кажется, что ты несколько перебираешь последнее время.

Алисон. Перебираю в чём?

Мэрилин. В градусах. Всё время – под сорок!

Алисон (*с вызовом*). Ну и что? Что тебе не нравится? В конце концов, у меня – день рождения.

Мэрилин. Но день рождения – завтра. А какой повод был вчера? Или сегодня?

Алисон. Вчера поздно вечером поздравить меня приехали Мэгги с Питером и Ребекка. Завтра их не будет, они улетают в Сиэтл, на стажировку. Надарили мне кучу подарков, цветы, потом мы поехали в казино. В индейскую резервацию. И вернулись только сейчас...

Мэрилин. И ты, как всегда, проигралась в пух и прах, до последнего квотера?

Алисон (*в тон матери*). И ты, как всегда, не угадала. (*Наливает в бокал воду и залпом выпивает.*) Я поставила только два раза. Всё, что у меня было.

Мэрилин. И что?!

Алисон. Крупье лишился дара речи. Владельцы казино стояли на грани банкротства.

Мэрилин. Перестань меня разыгрывать. Расскажи толком, что произошло.

Алисон. В первый раз я поставила все фишки на ноль. Во второй – на два нуля. И оба раза шарик нырнул в лунки, как по заказу. Я выиграла кучу, кучу денег. Почти 18 тысяч долларов.

Мэрилин (*отдуваясь*). Я.. Ты... А как ребята реагировали? Где деньги?

Алисон. О, они хохотали и хлопали в ладоши, как безумные. Мэгги кричала: «Закройте скорее казино, а то она разорит бедных индейцев». Питер упал головой на стол и колотил по нему руками, крича: «Нули, нули, кругом нули! И чем больше, тем лучше. Да здравствуют нули!» И мы на радостях назаказывали разных дринок и куролесили ночь напролёт.

Мэрилин. Поздравляю. В следующий раз не забудь взять меня в долю. У нас сейчас не хватает где-то 100 тысяч долларов на постановку «Корабля дураков». (*Целует дочь.*) Больше сегодня не пей.

Завтра к приходу гостей ты должна быть в форме. (*Надевает плащ, бросает взгляд на часы.*) О, бедный Дино меня уже заждался.

Алисон. Когда вы вернётесь?

Мэрилин. Думаю, не рано. Сначала будет юбилейный спектакль Тонни Фаррелла, затем – банкет.

Алисон. А где бабулик?

Мэрилин. Её рейс задерживается. (*Раздается удар грома, выскерк молнии.*) Из-за погоды. Скорее всего – до утра. По крайней мере, так объявили.

Алисон. А папа?

Мэрилин. Марк со школьниками на экскурсии в Вашингтоне; должен вернуться ночью. (*Приобнимает дочь.*) Однако, ну и запах. От одного поцелуя можно опьянеть. А у меня у самой вечером – банкет... Завтра я тебя поздравлю, как всегда, под утро, ровно в пять, когда ты родилась. Традиции надо соблюдать.

Алисон (*внезапно и с нажимом*). Мне нужны деньги!

Мэрилин (*обескураженно*). Какие деньги? Ты же выиграла.

Алисон. Это я вначале выиграла. А потом проиграла. Проиграла всё, что у меня было. Плюс 13 тысяч.

Мэрилин. Тринадцать тысяч?! Как же ты могла? Сколько раз ты мне обещала больше не играть в казино. Каждый раз один и тот же финал.

Алисон. У меня было ощущение, что выиграю. Но, увы... Я одолжила деньги у Мэгги. На двое суток, до дня рождения.

Мэрилин. На меня можешь не рассчитывать. Мы тебе, конечно, сделаем подарок, но принципиально – не деньгами. Я тебя миллион раз просила, забудь про рулетку. Какой смысл играть, если всегда проигрываешь? И всё больше и больше.

Алисон. Попрошу у отца. Он – даст.

Мэрилин. Я запрещаю ему! Всему есть предел!

Алисон (*зло и ехидно*). Запрещу. Прикажу. Он уже не твой поднадзорный. Не твоя марионетка, которой можно приказывать, понукать, покрикивать... Хватит! Приказывай теперь своей набриллиненной голове.

Мэрилин. Что ты несёшь? Как не стыдно? Дино к тебе всей душой.

Алисон. Дино всей душой? И ты – всю жизнь! Что-то я тебя не помню рядом – ни в детстве, ни в юности. Всегда только папу.

Мэрилин. Не помнишь? Кто тебя таскал в лучшие театры, на концерты? Кто создал в доме круг друзей и знакомых? Ты знала всех: самые знаменитые артисты, музыканты, композиторы – все бывали у нас. Задаривали тебя подарками, фотографировались, приглашали на премьеры, в гости, на свои виллы. Учили уму-разуму... Кто тебе всё это дал?

Алисон. Можно подумать, я об этом просила. От твоих милостей можно только подавиться. Дашь на пенни, а благодарить надо всю жизнь. Назло тебе не приду завтра на день рождения. Сама развлекай своих поганых гостей.

Мэрилин. Ты – неблагодарная маленькая дрянь! (*Бьёт дочь по щеке.*) Стерва! Не зря тебя хорошие юноши за квартал обходят.

Алисон (*всхлипывает*). Да ты, ты сама... Как ты посмела?!

Мэрилин (*безнадёжно махнув рукой*). Извини. Сама заслужила.

Круто развернувшись, уходит из дома, хлопнув на прощанье дверь. Алисон, продолжая жалобно всхлипывать, делает несколько судорожных глубоких вздохов, пытаясь успокоиться. Наконец, без труда, ей это удаётся. Наливает себе в стакан виски. Звонок в дверь. Ещё один. Алисон нехотя направляется к двери.

Алисон. Кто там? (*Удар грома. Ещё два нетерпеливых звонка.*) Да иду я.

Алисон открывает дверь. На пороге – бородатый почтальон, в форменной одежде, в фуражке, чёрных очках. В руках – букет цветов и увесистый пакет.

Почтальон (*заглядывая в ведомость*). Алисон Фришмен? Распишитесь в получении.

(Протягивает Алисон ведомость и ручку, та небрежно расписывается.)

Алисон. А от кого это?

Почтальон (*вручая цветы и подарок*). Вам виднее. У вас что, сегодня день рождения?

Алисон. Да. То есть, вообще-то завтра. Но я его отмечаю со вчера. И довольно бурно. (*Шутливо.*) И сразу в нескольких странах.

Почтальон. В каких?

Алисон. Угадайте с трёх раз.

Почтальон. А если с одного?

Алисон. Получите шанс выпить за здоровье именинницы. Идёт? Хотя вы при исполнении...

Почтальон. Работа – не помеха. А теперь займёмся угадкой. Судя по цвету... и запаху... Вы предпочитаете виски!

Алисон (*хлопая в ладоши*). Правильно. А как вы отгадали?

Почтальон (*прокашливаясь*). С моим опытом, деточка, это нелегко. Я только не уверен, что в вашем возрасте этим можно злоупотреблять. Алкоголь, знаете ли, очень опасен для молодёжи. Тем более – для девушек. Красивых девушек.

Алисон. Опасен. Не опасен. А вам, собственно, какое дело? Надоели эти морали. Вручили посылку и езжайте дальше. Мало мне нравятся родители, так ещё первый попавшийся почтальон читает нотации. (*Пытается выпроводить почтальона за дверь.*) Учите собственных детей. Вырастут – будут трезвенниками. Скажут спасибо!

Почтальон (*упираясь*). Скажут, не скажут. Кто знает? Вы же не благодарите. А где мой виски? Должен же я вас поздравить?!

Алисон (*бурча*). Вовсе не обязательно. Вы уже всё сказали.

Почтальон. (*Внезапно разворачивается, подходит к барной полке, наливает себе в бокал виски.*) За прекрасных наивных именинниц, которые настолько наивны, что могут позволить себе выпивать в компании незнакомого бородатого почтальона в чёрных очках. (*Залтом осушает фужер.*) За очаровательную незнакомку – с пленительной улыбкой и сияющими глазами.

Стремительно идёт к выходу. В дверях внезапно останавливается, резко разворачивается, срывает очки, бороду, фуражку. Перед нами – Франко.

Франко (*хохоча*). Bravo, Франко! Bravo! Какой актрисе, какой талант! Попрошу приз за лучшую мужскую роль! Не узнала ведь, даже не заподозрила?

Алисон (*чуть смущённо*). Действительно не заподозрила. Мне, правда, вначале подумалось, что борода – не натуральная, но я решила, что показалось. Спасибо за цветы! За подарок! А почему сегодня?

Франко. Завтра я с утра до ночи на съёмках. И потом, не хочу их всех видеть – родственников.

Обнимает Алисон, пытается поцеловать в губы. Та уклоняет-

ся. Ещё одна настойчивая попытка Франко. Ещё более решительно отстраняется Алисон.

Франко. Но почему, Алисон? Каждый раз, когда я пытаюсь тебя обнять, ты от меня отшатываешься, как от прокажённого. У нас прекрасные отношения. Ты мне безумно нравишься. Что тебе мешает?

Алисон. Послушай, Франко. Зачем тебе знать? Какая разница?

Франко. Может быть, я полюбил в первый раз в моей жизни. Может, Господь послал мне это чувство в первый и последний раз. Кто знает? Поверь, Алисон, я сделаю всё, чтобы ты была счастлива.

Алисон. Остановись, Франко. Выслушай меня ещё раз. Я чрезвычайно ценю нашу дружбу. Чрезвычайно! Я горжусь, что у меня есть такой замечательный, такой талантливый друг. Но я не могу...

Франко (*нетерпеливо*). Всё понятно. (*Достает из кармана корбочку с таблетками, потрясая ею, говорит – полушутя-полусерьёзно.*) Либо ты будешь со мной, либо я проглочу всю эту гадость. Прямо сейчас. И в записке напишу, что сделал это из-за тебя...

Алисон. Ты что, с ума сошёл? Отдай, отдай немедленно! (*Тицетно пытается выхватить корбочку с лекарствами из его рук. После нескольких безуспешных попыток распаляется.*)

Алисон. Да с какой стати ты обвиняешь меня в том, что собираешься с собой сделать! Это даже не эгоизм, а настоящая подлость. Не хочу с тобой после этого разговаривать! (*Распахивает входную дверь.*) Уходи! Чтобы я тебя больше не видела. Нашёл, чем девушку завоевать! (*Буквально выталкивает Франко за порог.*) Пошёл к чёрту! Идиот! (*в сердцах.*) И они ещё хотят, чтобы их любили! Так называемые мужчины! Бесчувственные эгоисты! Слепцы!

Обессиленно падает в кресло. За окном – тёмная ночь, комната едва-едва освещена вполнакала горящим торшером.

Алисон. Ну и денёк. Просто невероятное нагромождение событий. Пора, пожалуй, рухнуть в постель, чтобы забыться...

Направляясь в спальню, по пути прослушивает сообщения на автоответчике.

Голос девушки. Алисон, дорогая, мы тебя с Дерекком поздравляем. Мы начали праздновать уже сегодня. Кто-то же должен быть первым. Будь... (*Алисон проматывает пленку.*) Будь...

Голос юноши. Алисон, сердце моё, как ты себя чувствуешь, став совершеннолетней? Я лично ощутил себя совершенным стар-

цем. Всё-таки двадцать один – это не пятнадцать! Наконец можешь выбросить фальшивые права и ходить в казино как взрослая девочка, и не врать охранникам про возраст. Поздравляю! Ха-ха-ха!

Хор голосов. Алисон, хай! Мы тебя не знаем, но всё равно за тебя выпиваем и очень даже неплохо. Как тебе этот звук? (*Звук сдвигаемых стаканов.*) Классно, правда? И тебе советуем. Говорят, ты красивая девушка. (*Пауза.*) Будь... будь... (*Шуршание проматывающейся плёнки.*)

Несколько оглушительных раскатов грома. Сверкание молний. Звуки ливня. Пронзительные трели зазвонившего телефона.

Алисон. Идите все к чёрту! Разговаривайте сами с собой. А меня оставьте в покое.

Начинает подниматься по лестнице в спальню. Телефон звонит не переставая. К его трелям добавляются настойчивые звонки в дверь.

Алисон (*разворачивается и направляется к входной двери.*) Если это ты, Франко, я тебе не завидую! (*Резким движением распахивает дверь. На пороге Анна; она – в лёгком халатике и ночной рубашке.*)

Анна. Не пугайся, Алисон. Кто у вас дома? Где Франко?

Алисон (*несколько удивлённо*). Только я. Остальные – кто где. А что?

Анна. Я – одна в доме. Марк в Вашингтоне, а Франко куда-то исчез. Я боюсь. Места себе не нахожу.

Алисон. Боишься? Чего?

Анна. Молнии. Схожу с ума от страха – одна в доме. Можно я зайду, чтобы не быть одной. Я ужасно боюсь... (*Всхлипывает.*)

Алисон. Ну, заходи. Конечно, заходи. Только успокойся, не плачь. Это – совсем не страшно...

Анна (*скороговоркой*). Ты не удивляйся. Ты же знаешь, что я – ужасная трусиха. В детстве ко мне в спальню залетела шаровая молния. С тех пор я просто панически боюсь грозу и этих чёртовых молний. И каждый раз становлюсь просто невменяемой, едва грянет гром.

Алисон подходит к Анне, обнимает её. Та тесно прижимается к Алисон.

Анна. В доме никого нет. Извини, что побеспокоила.

Алисон. Ты вся дрожишь. Успокойся. Всё будет хорошо. (*Гладит Анну, приговаривая.*) Всё будет хорошо. Ты – в безопасности. (*Целует Анну.*) Ничего не бойся.

Анна. Сейчас, сейчас я успокоюсь.

Внезапно Алисон начинает целовать Анну всё страстнее – в губы, шею, плечи.

Алисон. Ты – такая жаркая.

Анна. Что ты делаешь, Алисон? Зачем?

Алисон (*продолжая целовать*). Ты такая сексуальная. Я вся дрожу от желания. Ты мне всегда нравилась. Ты – сладкая, женственная...

Анна. Что ты со мной делаешь, Алисон? Ты с ума сошла!

Алисон, продолжая целовать Анну, растёгивает её халат. Щелчком выключает торшер.

Алисон. Ты – безумно соблазнительная. Неужели ты никогда не пробовала заниматься любовью с женщинами? О, мы знаем, как доставлять удовольствие друг другу. Знаем гораздо лучше, чем мужчины. Нам будет хорошо, вот увидишь. Ты только не сопротивляйся. Я сама всё сделаю.

Целует Анну все страстнее. В какой-то момент Анна отвечает ей. Раздеваются. Целуются уже обнаженные, стоя в луче лунного света.

Внезапно распахивается входная дверь. На пороге Кэрол, с букетом цветов. Зажигает свет. Видит обнажённых целующихся Анну и Алисон. Роняет чемодан.

Кэрол. О, Боже! Только этого нам не хватало! Какой позор! (*Бессильно оседает на пол.*)

Сцена 2

В доме Манчини. Марк с упоением сверлит дырки в стене, мурлыкая под нос.

Марк (*разговаривая сам с собой и перебегая от одного места к другому*). Сюда... Нет, сюда. Нет, пожалуй, лучше вон туда... (*Вонзается сверлом в стену.*) Вот так – другое дело.

По лестнице в гостиную спускается Анна. Она в плаще, с большой дорожной сумкой. Заметив Марка, явно смущена.

Марк (*улыбаясь*). Привет, моё солнце. Ну что, готова? А я пока решил полочку для входящей почты приладить. А то вечно разбросана по всему дому. (*Задерживаясь взглядом на жене.*) А почему ты в плаще? И с сумкой? Мы же собирались порепетировать танго?

Анна (*после паузы*). Ах-да, танго. Ну конечно. А сумка... Это я на завтра приготовила. Старая одежда... (*судорожно ищет слова*) для Армии Спасения, чтобы налоги списать. У тебя больше ничего нет, дорогой?

Марк. Вроде нет. Хотя подожди, я нашел ещё один старый костюм.

Анна. Не надо. Не к спеху. Давай действительно станцуем танго. (*Сбрасывает плащ.*) Как, кстати, оно называется?

Марк. «Холодное солнце Аляски». Его рекомендовал наш учитель Эдди. Сказал, любимое танго.

Вытирает руки, берёт с полки диск, ставит в музыкальную систему. Вступает музыка; это та же мелодия, что напевал Марк, сверля дырки в стене.

Марк. Разрешите вас пригласить, мадам.

Анна (*со странной улыбкой*). С удовольствием, маэстро. Покажем, на что способны.

Начинают танцевать. В финале застывают в стоп-кадре.

Марк. А что, по-моему, получается. По крайней мере я начал получать удовольствие от танца. Не то, что вначале, когда буквально оттапывал тебе ноги.

Анна. Ну, положим, я была не лучше. Топтались на месте, как два пингвина в зоопарке. Сколько мы уже взяли уроков?

Марк. Классов десять... Это, пожалуй, единственное, в чём была права моя бывшая жена. Танцы – это стихия, это – целый мир.

Анна. Давай пройдем ещё раз. Что-то я недостаточно комфортно чувствую себя.

Марк. Это потому, что ты не хочешь во всём следовать партнёру. Закрой глаза и следуй моим движениям. Помню, я где-то читал, танцевать танго – это танцевать ностальгию. Мужчина ведёт своим сердцем. Сердца партнёров – всегда напротив друг друга. Давай попробуем ещё раз.

Включает проигрыватель. Проходят в танце от одного края сцены до другого и обратно. В финале, когда Марк, закружив партнёр-

шу, пытается эффектно завершить танец, пара теряет равновесие и, заскользив, падает. Музыка обрывается.

Марк (смеясь). Давно я не падал, танцуя с невестами. Однако, позвольте поблагодарить вас, мадам. Вы, как всегда, доставили мне огромное наслаждение. И как партнёр, и как женщина.

Анна. И вам спасибо, мистер Фришмен. Вы, как всегда, любезны и галантны. Скоро нас можно будет заявить на чемпионат мира среди ветеранов-любителей. Если не одно «но»...

Марк. Никаких «Но»! Хочешь что-нибудь выпить? Сок? Воду!

Анна. Пожалуй, мандариновый сок.

Марк достаёт из холодильника, разливает сок. Оба жадно, в глоток, опустошают стаканы.

Марк. Знаешь, хочу тебе признаться. Странно, так многое и так быстро изменилось. Я всегда думал, что способен любить только одну-единственную женщину – Мэрилин. И я действительно очень любил. А сейчас мне кажется, будто их никогда не было, наших 25 лет. Ничего не осталось. Она – совершенно чужой мне человек. И я люблю другую женщину. (Обнимает Анну.)

Анна (мягко выскальзывая из его объятий). Спасибо, Марк. Ты умеешь сделать женщину счастливой. Ты – сама заботливость и внимание.

Марк. Да, это как в танго. Танго – идеальный танец для партнёров. Его можно сотворить только вдвоём. Как жизнь... Я тебя очень люблю, Анна.

Анна (после паузы). Я должна тебе сказать, Марк. Мне с тобой очень хорошо. Уютно, надёжно и спокойно. Как никогда не было с Дино. Он мне отравил жизнь, выпил всю мою кровь. У меня с ним не было ни одной спокойной минуты. И не то, что он – подлец и негодяй. Нет, он работал как вол. Заботился о нас. По-своему любил. Но счастливой меня сделать не смог. В конце я его почти ненавидела. Есть только одна проблема, Марк. (Пауза.) Похоже, я его по-прежнему люблю... Попролам с ненавистью... Плюс Алисон, да, Алисон. Я очень виновата перед тобой... Ты не сердись, просто так получилось. Но всё образуется, дай только время. Я к тебе замечательно отношусь...

Марк (совершенно потерянно). Любишь Дино? И Алисон... Что случилось с Алисон, Анна?

Анна. Не волнуйся, с ней всё в порядке. Почти всё. А Дино... Наверное, он так кроваво из меня выходит. Нужно время... *(Меняя тему.)* Слушай, давай примем душ и пойдём в «Блю Ноут». Там сегодня наш любимый джаз-бэнд – Ларри Кристи. Идёт?

Марк *(вяло)*. Ну что ж, пойдём, если хочешь. Мы давно собирались. Там и поговорим. *(Направляясь по лестнице на второй этаж.)* Я буду готов через 10 минут. *(Уходит.)*

Анна, ежесекундно оглядываясь на лестницу, нервно ходит взад-вперёд по дому. Начинает лихорадочно что-то искать в дорожной сумке. Достает сложенный трубочкой лист бумаги, вставляет в цветочную вазу на столе. Садится в кресло, обхватив голову руками. С внезапной решимостью вскакивает, надевает плащ, чёрные очки, подхватывает сумку и быстро выходит за порог двери, ведущей во двор.

Звонок в дверь. Ещё один. По лестнице, в халате, с полотенцем на плечах, спускается Марк. Идёт открывать.

Марк. Иду. Иду. *(Открывает. На пороге – Кэрол.)*

Кэрол. Добрый день, Марк. Извини, что без звонка. Не хотелось это обсуждать по телефону. Надеюсь, ты мне простишь это вторжение.

Марк *(приобнимая Кэрол)*. Конечно прощу. Вы же знаете моё отношение к вам.

Кэрол *(прямо с порога)*. Хочу с тобой поговорить о моём «Фонде Помощи Детям – жертвам террора».

Марк *(несколько озадаченно)*. О фонде? Со мной?

Кэрол. Да, я должна тебе кое-что сказать. Как ты знаешь, мы работаем весьма активно. Многим удалось помочь. У нас – большие планы. Но я уже не в силах. И хочу тебя назначить управляющим фондом. Пожизненно! О деньгах можешь не беспокоиться. Твоя зарплата – 100 тысяч в год, на счету фонда – более 100 миллионов. Никому, кроме тебя, я не могу это доверить. Ты – единственный порядочный и честный человек, кого я знаю. Ты любишь и знаешь детей. Не будешь равнодушным к их бедам. И воровать не будешь.

Марк *(удивлённо)*. А Мэрилин? А Алисон?

Кэрол. Ни одной из них я не могу это доверить. К сожалению, но не могу. Родные – они мне сейчас хуже чужих, противнее. Не хочу их видеть. Такая беда... А ты для меня всегда был как сын. Так

бывает в жизни – друзья оказываются гораздо ближе детей. По духу, по группе крови. Поэтому я переписала завещание.

Марк. Переписали завещание? Что случилось, Кэрол? Что-то экстраординарное?

Кэрол. Просто переписала и всё. Лишила их наследства. Обоих! Раз и навсегда! Решила, так будет лучше. Они меня обе разочаровали. Убили... *(Меняя тему.)* А где Анна?

Марк. Не знаю. Где-то наверху. Лишили наследства, обеих сразу... Невероятно. Что они такое совершили? *(Громко.)* Анна, ты готова? Мы тебя ждём. То есть, я тебя жду. И Кэрол зашла... *(После паузы, нервно.)* Анна, где ты?

Стремительно взбегает вверх по лестнице; так же стремительно сбегает вниз и начинает судорожно метаться по комнате.

Кэрол. Что? Что случилось?

Марк так же молча мечется по комнате. Замечает записку в вазе. Хватает её, разворачивает, читает. Внезапно всхлипывает.

Кэрол. Марк, дорогой мой. Что с тобой?

Марк. Она... Она... *(Безнадёжно машет рукой, протягивает Кэрол записку.)*

Кэрол *(читает):* «Дорогой Марк! Я ухожу. Не пробуй меня искать. Есть обстоятельства, которые я не в силах преодолеть. Спасибо за всё. Извини. Будь счастлив. Анна.»

Марк *(полурядая).* Что? Что она имела в виду? Какие обстоятельства?

Кэрол *(обнимая Марка).* Успокойся. Ну, успокойся, прошу тебя. Я уверена, это какое-то недоразумение.

Марк *(рыдая в голос).* Какое недоразумение, Кэрол?! И Мэрилин, и Анна. Я отдавал им всё! Мою любовь, тепло, заботу. Был им и мужем, и другом. Заботился, жил их жизнью. И что? Что в ответ? Предательство, обман, жизнь под откос. Никого нет. Только позор. Позор и пустота. Будьте вы все прокляты, прокляты! Ненавижу!!!

Бьётся в истерике. Кэрол молча пытается сдержать его вздрагивающие плечи.

Сцена 3

На крыльце перед домами в креслах сидят Мэрилин и Дино. Дино берёт со столика и показывает Мэрилин два увесистых конверта.

Дино. Это – тебе, сюрприз. Никогда не отгадаешь, что в них.

Мэрилин (шутливо). Счета за последний год? Распечатка твоих клиентов? Собрание любовных писем школьных времен?

Дино (смеётся). Ну, положим, их было не так много. Твой те-перешний муж не был таким уж Дон-Жуаном. *(Потрясая конвертами.)* Это – наше путешествие в Испанию. Полный двухнедельный тур. От Барселоны до Мадрида. Плюс 3 дня на Канарах.

Мэрилин. Что случилось, Дино? Неужели ты решился взять отпуск? На две недели?! Не верю!

Дино. И это только начало. Вчера утром, после летучки, я вдруг подумал. Мне 47 лет. Я начал работать с пятнадцати. Чего только не делал. Развозил пиццу, участвовал в переписи населения, работал спасателем. Всегда говорил себе: «Ты – победитель! Ты можешь!» И мог! Был трудоголиком, спал 4 часа в сутки. 20 лет продаю страховки. Как агент известен всей страховой Америке. И всегда работал как ненормальный И всё думал, надо вот это, и то, и пятое, и десятое. Для Анны, для Франко, для семьи. Как мне вдолбили с детства. Что я видел? Тысячи договоров? Счета, расписки? Лица клиентов, самолёты и такси? И я решил, хватит. Ненормально, если человек в моём возрасте ни разу полноценно не отдыхал, не был в Европе. Я и Америку толком не знаю.

Мэрилин. Дино, ты меня поражаешь. Что ты это сделал. Что решился. Ты запомнил, что я никогда не была в Испании? *(Целует Дино.)*

Дино. Конечно, запомнил. У меня вообще неплохой слух. Я всё слышу, хотя многие считают, что я слышу только себя. Люди – странные существа. Каждый думает, что только он всё слышит и замечает...

Мэрилин. Знаешь, Дино, когда это случилось, мне нравилось твои мужское начало, энергия, размах. Но я никогда не думала, что встречу свою вторую половинку. Думаю, немногие догадываются, каков он – настоящий Дино Манчини.

Дино (с полуулыбкой). Я даже на скрипке играл в детстве. Роди-

тели хотели вырастить знаменитого музыканта. В шесть лет я уже играл в знаменитом ресторане «Бельканто». Официанты пели, я – аккомпанировал и солировал. Имел бешеный успех, весь город знал меня в лицо. Но однажды другой маленький мальчик после моего соло бросил мне горсть монет и подарил шоколадную скрипку, которая на жаре начала таять у меня в руках. И всё! Я вдруг почувствовал, что никогда больше не смогу играть для этих людей, в этом игрушечном мире. За мелочь или за тысячи, неважно. И больше не взял в руки скрипку. Меня замкнуло... Родители с горя чуть с ума не сошли. Плакали, умоляли, но я был непреклонен...

Мэрилин. Мы мало что знаем друг о друге. Иногда даже о самых близких людях.

Дино. Я, признаюсь, никогда не думал уходить от Анны. Она меня бесспорно любила. И я – её. Просто мы – совершенно разные люди. Хотя считается, что противоположности притягиваются. А у нас с тобой – всё наоборот.

Мэрилин. И мой Марк – тоже прекрасный человек. И муж, и отец. И я никогда не понимала, что меня так в нём раздражает. И только сейчас поняла. Он никогда в жизни не делал глупостей, не ошибался. Иногда мне казалось, что у него над головой светится нимб. Как у святого! Я всегда знала, что он скажет, что подумает, что сделает. Какие слова высекут у него на могильной плите. (*С пафосом.*) Здесь покоится Марк Фришмен. Образец для всех! Во всём! Апостол Марк!

Дино. Странно. По правде, ты тоже оказалась другой. Не такой, какой казалась из-за забора. Впрочем, я это уже говорил. Тебя все считали взбалмошной, вздорной. Чуть ли не нервнобольной. Говорили, что причина твоих сумасшедших нервных приступов в несчастливом детстве.

Мэрилин. Не знаю, что-то во мне действительно уравновесилось. Успокоилось. Может, я никогда не любила Марка, и это была только привычка. А может, мне была противопоказана его сперма. Знаешь, однажды мы с Марком поссорились, и у меня был бурный роман с одним журналистом. После каждого свидания кожа моя пылала адским огнём, покрывалась волдырями. Впору было маску носить... Я была безумно увлечена, но лечь в постель было настоящей пыткой.

Дино. Не пугай меня такими ужасами! А то я добровольно уйду в монастырь.

Мэрилин (*взъерошив его волосы*). Нет, нет, только не это!

Дино (*шутливо*). Хорошо, обещаю повременить.

Мэрилин (*внезапно меняя тему*). Где мы сегодня будем ужинать? Надо же отпраздновать начало нашей «Испанской баллады».

Дино. Может, в «Casa del Plato»? Но сначала я тебя поцелую. Идёт?

Обнявшись, целуя друг друга, входят в дом Фришмен.

Из дома Манчини на крыльцо выходят Алисон и Франко. Садятся в те же кресла.

Алисон. Зачем мы это сделали, Франко? Кому была нужна эта месть? Глупо... Мерзко...

Франко. На тот момент казалось, мы должны отомстить, постоять за себя. Я был уверен, что хочу их уничтожить. Совратить, испоганить им жизнь, а потом всем всё рассказать. И только потом осознал, когда открыл рот, чтобы выплюнуть это в лицо отцу. И не смог... Вдруг захлебнулся от отвращения к себе.

Алисон (*прерывая его*). Есть какие-то новости об Анне? Я себе места не нахожу. Как подумаю, что мы натворили... Я даже не думала, что так получится, Она сама пришла, сказала, что боится молнии, дрожит от страха... Теперь проклиная себя...

Франко. Перестань каяться! Они тоже хороши. В конце концов, в каждой случайности есть своя закономерность. И потом, что мы, теперь до конца своих дней должны каяться? Это уже случилось, прошло, так зачем теперь убиваться. Заниматься самоуничтожением...

Алисон. Каяться – не каяться, но последние гвозди в гроб семейной жизни забили. По крайней мере, для Марка и Анны.

Франко. Хорошо хоть папа и Марк ни о чём не догадываются. Представляешь себе их реакцию?

Алисон. Что мне представлять? На Марка и без того больно смотреть. Совершенно убит. При одной только мысли, что папа и Дино всё узнают, я впадаю в истерику. Ты уверен, что они не узнают?

Франко. Если и узнают, что мы можем сделать? Я поклялся Мэрилин, что буду молчать. Сам, она меня не просила...

Алисон. Анна даже не звонила?

Франко. Я искал её по всей Америке. Летал из конца в конец, по всем знакомым, звонил, писал. Наконец, она позвонила, поздно ночью. Сказала, что всё в порядке. Живёт в Сан-Франциско, у какой-то новой знакомой. Что сама меня найдёт, когда всё образуется. И повесила трубку, я даже рта раскрыть не успел. И ни черта не понял...

Алисон (*задумчиво, по слогам*). В Сан-Франциско? С новой знакомой?! (*С чувством.*) С ума сойти!

Франко (*не слишком уверенно*). Но как-то же всё образуется?!

Алисон (*резко*). Что образуется? Марк сойдёт с ума? Или ты найдешь другую маму?

Франко. Давай сменим тему. Я болен от этих мыслей. Не помню, когда нормально спал. Всё валится из рук. Я даже фотоаппарат два месяца в руки не брал. (*Берёт руки Алисон в свои.*) Слушай, давай убежим отсюда. Прямо сейчас, не откладывая. Поверь, так будет лучше для всех. Сколько раз я тебя просил быть со мной...

Алисон. Презираю нас за то, что мы сделали! (*Вздыхнув, тихо и очень грустно.*) Зачем тебе всё это надо, Франко?

Франко. Просто я люблю тебя. Ничего не бойся. Я найду работу по специальности. Или буду работать фотографом по контракту. У меня как-никак несколько призов за мои фото. Да и барменом всегда могу подработать. Но мы должны бежать из этого ада. Бежать как можно скорее. Из этого заколдованного круга – с их романами, замужествами, разводами, побегам...

Алисон. Но как мы будем жить рядом? Я – лесбиянка. Я соблазнила твою мать. У меня отвратительный характер...

Франко. Ничего не хочу знать. Мне это неважно. Я люблю тебя!

Алисон. Я к тебе, конечно, очень хорошо отношусь, Франко. Привязана как к брату. Но это ведь не семейные отношения.

Франко. Мы попробуем начать всё сначала. Пусть не сразу, постепенно, всё наладится. Но вначале мы должны бежать отсюда, как можно дальше, чтобы они даже не знали, где нас искать... Время покажет. Потом, может быть, дадим о себе знать.

Алисон. А дальше, дальше что? (*После паузы.*) Как же папа? Его все бросили. Я что-то совсем потерялась. (*Прижимается к Франко.*) Мне страшно за него... И за Анну.

Франко. Однажды твоя мудрая бабушка рассказала старую ев-

рейскую притчу. Ученик захотел испытать своего учителя, уважаемого раввина, и говорит ему: «Ребе! В моей ладони зажат мотылёк. Отгадайте, он жив или мёртв?» При этом ученик подумал: «Если ребе скажет «жив», я сожму ладошку и покажу ему мёртвого мотылька. А если ребе скажет «мёртв», я раскрою ладошку, и он увидит, что мотылёк – жив». Но мудрый ребе разгадал мысли ученика, улыбнулся и сказал: «Всё в твоих руках, сынок!» Всё в наших руках, Алисон!

Звонит мобильный телефон.

Алисон. Это – мой. *(Включает телефон, слушает. Оседает на крыльцо.)* Что, что ты сказала? Когда?.. Что же мы теперь будем делать?

Франко. Что, что случилось? На тебе лица нет.

Алисон. Бабушка... Бабушку забрали в госпиталь. В реанимацию. Врачи делают всё возможное. Сердце... Нет никаких гарантий. Пятьдесят на пятьдесят... *(Плача.)* Это я, я во всём виновата. Я её убила той ночью!

Франко. Хвалёная американская медицина. Всегда говорят правду в лицо. А если мне не нужна их проклятая правда?! *(Крепко прижимает к себе плачущую Алисон.)*

Алисон *(Резко отстраняясь.)* Убирайся! Не могу тебя больше видеть! Мы – мерзавцы, мерзавцы, понимаешь?! Как я могу после той ночи смотреть в глаза отцу, бабушке?! Ненавижу, презираю себя!

Убегает. Франко устремляется вдогонку, крича:

– Алисон, подожди, Алисон, куда же ты?! Я люблю тебя! Ты всё равно от меня никуда не уйдёшь! Неужели ты не понимаешь, мы должны быть вместе. *(Криком:)* Зачем мне жить без тебя?! *(Очень тихо:)* Не уходи, я умру без тебя.

Сцена 4

Дом Фришмен. Дом стоит на продажу. Многое уже запаковано, собрано. Бросающаяся в глаза крупная табличка «FOR SALE («ПРОДАЁТСЯ»).

О былом напоминает только висящий на сцене огромный, в рост, портрет Мэрилин. На другой стене, чуть поменьше размером, портрет Кэрл. За накрытым столом Мэрилин, Марк и Дино.

Остальные 4 стула пустуют. Звучит та же музыка, что в первой сцене спектакля.

Мэрилин. Год прошел. Ровно год. День в день. Сегодня – День Благодарения. Как бы то ни было, надо его отпраздновать. Какие есть идеи? Пока не появился этот тошнотворный агент по продаже...

Марк. Хотел бы я знать, кого и за что я должен благодарить. Для меня это год сплошного крушения. Проклятый год!

Дино. Что, от Анны по-прежнему никаких вестей? Ты не расстраивайся, мы её обязательно найдём. Уверен, она скоро объявится.

Мэрилин. Не могла же она провалиться сквозь землю. У кого-то она должна жить. Может объявление дать? В газетах, на телевидении...

Дино. Чтобы все вокруг узнали о нашем позоре? Люди обращаются к ним с криком последней надежды. Когда кого-то, не дай Бог, убили или похитили... А мы?

Мэрилин. Этот агент мне тоже снится ночами. Такой настырный тип.

Марк. Разводы, разделы, соглашения, юристы. Столько людей, интересов... Я абсолютно раздавлен. Ничего не понимаю... Где мои жёны, дети? Мой дом? Зачем я живу? (*Обращаясь к Дино.*) Ты не знаешь, где этот чёртов договор о продаже? У меня к тебе уйма воров.

Дино. Вчера тебе его передал. Посмотри в бумагах.

Марк. О да, конечно. Сейчас принесу. Хочу всё обсудить до прихода этого прощелыги. (*Внезапно меняя тему.*) Что вообще сегодня происходит – с нравами, порядочностью, миллионами геев? Они уже повсюду! Человечество вырождается, И все молчат. Где эти продажные политики? Мэры, президенты? Идут во главе их колонн на ежегодных парадах, боятся открыть рот, потерять их голоса. Разрешают адаптировать детей, расписывают в мэриях... Позор! Проклятие на их головы и на наши два дома! (*Уходит.*)

Мэрилин (*грустно глядя на Дино*). Марк абсолютно прав. Где наши дети, Дино? Где наши дома?

Звонит телефон. Мэрилин и Дино одновременно бросаются к телефонным аппаратам на кухне и в комнате, синхронно хватают трубки и кричат.

Мэрилин. Алло, алло. Алисон, это ты? Ну не молчи! Где же ты?! Я не могу без тебя...

Дино. Анна, это ты? Франко? Алло, алло, я слушаю...

Мэрилин. Молчание, опять молчание...

Дино начинает нервно ходить из конца в конец дома, бормоча нечто невнятное.

Мэрилин. Успокойся, Дино. Что ты мечешься? На тебе лица нет.

Дино. Какое лицо? У меня сердце разрывается! Куда она подевалась? Где она, что с ней?

Мэрилин. Ты опять про свою Анну? Не могу больше о ней слышать! На тебя невозможно смотреть, выглядишь как побитая собака. Что, у нас другой темы нет? Дети ушли, дома в руинах. Нам надо начинать жить заново, проблемы с детьми решать, это ей на всё наплевать!

Дино. Ты что, меня к ней ревнуешь?

Мэрилин. Ревную, я? Ты с ума сошёл!

Дино. Да пойми, мы столько лет прожили вместе, у нас сын общий. Я не могу вычеркнуть её из своей жизни. Мы даже не знаем, что с ней. А тут ещё эта история с Алисон и Франко. *(Пытается обнять Мэрилин.)*

Мэрилин *(отстраняясь, в полупрострации).* Да, Франко, и я... *(спохватившись.)* К Франко это не имеет ни малейшего касательства. Но есть другие обстоятельства...

Дино. О чём ты говоришь? Какие такие обстоятельства?

Мэрилин *(думая о своём.)* Это неважно. Я не могу это больше слышать. Франко, Анна. Анна, Франко. Я встаю, иду на работу, спать, живу с их именами на устах. Это просто невыносимо, суцый ад... Надо же как-то жить, работать.

Дино *(вспыхивая).* О, Мamma mia! Porca Madonna! Почему ты всегда говоришь только о себе?! Я, я, я! Я сына потерял, жену, пусть бывшую...

Мэрилин *(на крике).* 24 часа об одном и том же! Хватит! *(Неожиданно тихо.)* Время всё вылечит, Дино. У меня тоже сплошные проблемы. Мама переписала завещание. Лишила нас с Алисон наследства. Где я теперь найду 5 миллионов?! Инвесторы – в бешенстве, грозят выйти из проекта. Есть только 2 недели. Иначе – бан-

кротство, крах. И вечная слава неудачницы, проигравшей. Конец карьеры! В нашем мире этого не прощают!

Дино (*прижимая к себе Мэрилин*). К чёрту эти мысли! Всё образуется. О наследстве не думай. Я достаточно зарабатываю. Найдём деньги на другой мюзикл. Надо только пережить этот период. Скоро переедем в новый дом. Мы должны это преодолеть! Иначе, зачем мы встретились?! (*Отстраняясь от Мэрилин и судорожно сглотнув.*) Что-то мне воздуха не хватает... Пойду прогуляюсь! (*На ходу выхватывает из шкафа плащ и, круто развернувшись, почти бегом, выходит из дома через дверь во двор. Мэрилин безуспешно пытается его догнать; едва успевает убрать руки от захлопнувшейся двери.*)

Мэрилин (*тихо*). Неужели всё кончено? Но зачем мы тогда встретились?! (*Опускается в кресло, сжимает голову руками.*)

Одновременно со стуком хлопнувшей кухонной двери звучат нетерпеливые звонки во входную дверь. В дом, с большим конвертом в руках, входит Марк.

Марк (*помахивая конвертом*). Нашёл. Вот он – договор. А где Дино? (*Оглядывается.*) Какой-то сумасшедший дом! Каждую минуту что-то происходит, кто-то исчезает.

Мэрилин. С каждой минутой нас всё меньше, Марк. Иногда мне кажется, я схожу с ума.

Марк (*проходя, похлопывает Мэрилин по плечу*). Ты только сходишь, а я уже – клиент со стажем. (*Внезапно меняя тему.*) Один только год, а сколько изменилось. Хорошо тогда было. Помнишь?

Внезапно в доме зажигаются огни. С разных сторон появляются Кэрол, Анна, Дино, Алисон, Франко – с фотоаппаратом на шее и подносом с фужерами. Чуть слышно звучит то же танго, что и год назад.

Дино (*беря с подноса фужер*). Никто не делает джин с тоником лучше тебя. (*Картинно бросает на поднос купюру.*) Ваши чайные, сэр.

Кэрол. В моём возрасте надо уже пить только безалкогольные напитки. Ну да ладно. В День Благодарения можно. (*Берёт фужер.*)

Мэрилин. А вдруг я потеряю голову от твоих коктейлей? (*Залпом выпивает.*)

Франко. Ещё никто не терял голову от джина с тоником. Другое дело – Лонг Айленд Айс Ти.

Анна. Ненавижу праздники. После очередного страшного обжорства приходится две недели поститься.

Марк. Какая диета, дорогая? Ты – в прекрасной форме.

Алисон. Хотите что-то оригинальное? Предлагаю «белый танец».

Кэрол. А с кем прикажете танцевать одинокой вдове? Или вы закажете мне кавалера по интернету? Столетнего дедушку с подагрой и геморроем! *(Все смеются.)*

Франко *(добродушно).* Франко – бармен, Франко – диск-жокей. Бар работает 24 часа. Что ещё изволите? Аргентинское танго устроит?

Все дружно хлопают в ладоши: – Устроит! Устроит!

Алисон. Дамы приглашают кавалеров! Белый танец. Как вам идея?

Марк, Кэрол *(одновременно.)* Опасная идея! Голова может закружиться! *(Все смеются.)*

Музыка начинает звучать громче. Те же пары, что и год назад, танцуют танго, попеременно солируя и выходя на авансцену. Франко беспрестанно фотографирует.

Когда танец достигает кульминации, музыка внезапно смолкает. Пары картинно застывают в финальной позе. Франко берёт с подноса бутылку шампанского.

Франко *(воодушевлённо).* За День Благодарения! За самый любимый американский праздник! Чтобы он никогда не кончался!

Разноголосие вторящих голосов: За День Благодарения! Чтобы он дарил нам всё новые радости! У-р-р-а!!!

Общее веселье нарушают несколько нетерпеливых звонков в дверь.

Мужской голос *(из-за двери).* Это я – Стэнли Крауфорд, агент по продаже. Прекрасные новости: оба дома проданы! В полдень придут покупатели. Мы должны успеть всё оформить и ещё отпраздновать День Благодарения!

Музыка останавливается. Медленно гаснут огни в доме.

Из бутылки шампанского вылетает пробка, шампанское льётся на пол...

Всё громче и трагичнее плачут и смеются обитатели домов: Хорошие новости! Прекрасные новости! Проданы! С молотка,

ха-ха-ха! Какая радость! Проданы! С молотка! В День Благодарения!!! Наши поздравления!!! Какой фантастический был год!

В воздух одновременно вылетают сразу несколько пробок шампанского.

Гаснет свет, исчезают в темноте герои пьесы, медленно закрывается

Виктор Дальский (Рашкович) начал творческую карьеру в Санкт-Петербурге. Регулярно публиковался в «Литературной газете», «Юности», «Авроре и других изданиях. Долгие годы сотрудничал с «Театром миниатюр А. Райкина».

По его сценариям поставлено 32 телевизионных, документальных и научно-популярных фильма. Написал (в соавторстве с В. Жуком) несколько пьес для детей и юношества. Как литератор и киносценарист удостоен российских и международных премий.

Ещё в России он начал активно работать в качестве импресарио и продюсера. В 1991 переехал в Нью-Йорк и стал со-основателем (с А. Журбиным) и директором первого в Америке русско-американского театра «Блуждающие Звёзды».

Виктор Рашкович – президент основанной им компании *Lege Artis Entertainment*. Компания продюсировала гастроли израильского театра «Гешер», российских театров Е. Вахтангова, Р. Виктюка, «У Никитских ворот» и др., аргентинских «*Concierto*» и «*Легенды танго*», выступления Е. Евтушенко, М. Аверина, Ю. Гальцева, Т. Шаова, ансамбля «*Песни нашего века*», а также гала «*Бриллианты мирового балета*» и «*Московского международного фестиваля чечётки*». Он неоднократно успешно сотрудничал с ньюйоркскими международными фестивалями искусств.

В 2010-м Виктор Рашкович получил престижную награду СМИ «*Лучший русскоязычный продюсер года Америки*».

Он перевёл популярные английские пьесы, с успехом идущие в ведущих театрах России, Украины, Беларуси и в США (Сан-Франциско).

Михаил ШЕРБ

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

Ухмыляясь, месяц тонкий
 Уплывает за карниз.
 Свет просыпан из солонки:
 Резок, бел, крупнозернист.

Наши жесты пахнут мылом –
 Так фальшивы и грубы.
 Расставание уныло,
 Словно прыщик у губы.

Друг без друга, бук без дуба –
 Девять лет ли, сорок дней?
 Я Гекубе иль Гекуба
 Мне тебя теперь родней?

Что ж осталось между нами,
 Старше младший брат-чужак?
 Вот застряло меж зубами –
 И не вытащить никак...

* * *

В саду идей
 Спит иудей,
 Не видя снов,
 И думает: «А был ли пуст
 Тот куст,
 Когда он загорелся,
 А может, жило в нём счастливое семейство
 Весёлых птиц иль шустрых грызунов?»

Не повредило ль им куста горенье?»
Он видит: словно алое варенье
Стекает с веток, пламенем объятых,
И понимает: будет смерть густа
И глубока, как ров, в который крик пернатый
Слетает с ежевичного куста.

Стихоплёт

Слегка настёгивая лошадь,
В телеге, годной на дрова,
Адам на рыночную площадь
Привозит новые слова.

И в день любой (но не в субботу),
С восьми примерно до пяти,
К нему народ, как на работу
Спешит: словечко прикупить.

Адам – мужик простой, но годный,
Отточит имя – как копьё,
Ведь это всё-таки удобно,
Когда у каждого – своё!

В хлеву у мясника Мак-Клова
Теперь и я не ошибусь:
Не тварь с рогами, а корова,
Не что-то с перьями – а гусь.

Теперь мы знаем – где синица,
Где воробей... Наш Том-пострел
Два дня охотился за птицей,
Чтоб дать ей имя – свиристель.

А сколько было разных сплетен,
Завистливых и прочих слёз,

Когда кузнец с базара летом
«ЛЮБИМАЯ» жене привёз!

Лишь стихоплёт из Аризоны
(Признаться, тот еще зоил!)
Ворчит, что это незаконно,
И сам ни слова не купил.

Палитра

Художник уснул, ему чужды пальцы и спицы,
Венеции вульва, округлые Рима колени,
И он понимает, что больше ему не проснуться,
Не выплеснуть на пол кромешную горечь синели.

Над ним проплывает Вселенной малёк большеротый,
Межзвёздный планктон сквозь прозрачные жабры лучится,
И сердце его, - желатиновый ком, аксолотль,
Становится бронзовым слитком под левой ключицей.

И разум светлеет, пока расцветает омела,
На солнечном троне царит в белоснежном убранстве.
Художник становится чем-то без формы и тела,
Не чувствует ни своего положенья в пространстве,

Ни трепета кожи, - он слушает музыку дрожи,
Становится множеством птичьим, галдящею стаей,
Росой на опушке, прозрачной десницею божьей, -
Он света буханку на ломти цветов преломляет.

Блестит на фаянсе его черно-белая вера.
И ломти горят, превращая тарелку в палитру.
Безлистые ветки жонглируют сгустками ветра.
На мёрзлой земле проявляются снега субтитры.

Элегия для Александра Гаспаряна

Согрет глотком Напареули,
День прожит, делать больше нечего.
Легли у ног, в клубок свернулись
котами слабость и доверчивость.

Сквозь тёмный коридор из кухни
Бежит к дверям дорожка млечная,
То разгорается, то тухнет.
Нагретый воздух пахнет печивом.

Качнётся тень квартирной флоры
Напоминанием о рае.
Лишь новости из монитора,
Как пирамиды, выпирают.

Опять читаешь до удушья
О том, что рушится за ставнями.
А чудилось уже, что худшее
Мы в прошлом навсегда оставили.

А ведь казалось, перебесимся,
Вдали от злых и слишком набожных
Под старость непременно встретимся
И будем кофе пить на набережных.

Что выйдем мы, отгладив брюки,
Дремать с газетой под платанами,
Что навещать нас будут внуки –
Делиться жизненными планами.

Шана това

Пронзительней жгучего перца
Покажется гречневый мёд,
Когда в однобокое сердце
Раскаянье осень зальет.

Когда, разукрасивши местность,
Свершится её листопад –
Деревья утратят трехмерность,
Каркасы стволов заскрипят.

И ветер, воздушные дыры
Заштопавши нитью дождя,
Назначит меня пассажиром,
Пейзаж за окном наклоня.

И лучик, нежданный и тонкий,
По стулу взобравшись на стол,
Разрежет на рыжие дольки
Хрустящие трупики пчёл.

Леонардо

Ни мига не терял, пока ходил под небом.
Была земля его напором смущена.
Он разбивал сады, и глобулы молекул
проращивал легко, как семена.

Он отдыха не знал, пока в ночи бессонной
гудел огонь вулкана, как гобой,
и познавал накал упорной, изощренной
борьбы, но не с другим, а лишь с самим собой, –
вновь создавал цветы, но были их бутоны
покрыты, как глазурью, скорлупой.

Он больше ждать не мог, он так хотел увидеть
их нежность и задор, их формы и цвета,
что, позабыв о сне, стоял у верстака,
составы смешивал и раздувал горнило,
чтоб гибкость стебля и полёт листа
соединить в неразделимый сплав,
и, сотворив перо, его макнуть в чернила, –
и вот уже рука по воздуху чертила
стремительность крыла и лёгкость птичьих стай.

Он снова создавал, и снова рвал на части,
то в тигле расплавлял, то снова сквозь валки
прокатывал, и, словно непричастен
ни к замыслам своим, ни к мастерству руки,
смотрел без восхищения, без страсти,
как в чашечке цветка кошачьей пасти
тычинками прорезались клыки.

* * *

Вот я склонился над тобой
А может, над собой самим,
Мне показалось, будто смерть
Накладывает белый грим
И передразнивает жизнь,
Как злобный и бездарный мим.
А я устал на смерть смотреть,
Плуг слова за собой, как вол,
Тащить и вязнуть в пустоте
По щиколотки. Жаркий снег
Известкой сыплется на пол, –
Я слышу разговор и смех,
И вижу холм, а на холме
Из тел живых воздвигнут дом,
Они поют, и души всех
Слипаются в единый ком.
И почему-то с ними быть,
Страшней, чем сгинуть без следа,

Страшней, чем в небе навсегда
Исчезнуть с выдохом твоим.

Память

Зал натюрмортов жив. Посмотришь на полотна:
У винограда – лоб, у яблока – бока,
А попытайся взять – и сквозь туман бесплот(д)ный
Пройдет насквозь рука.

В том зале, что внутри, всё так же – и иначе,
Не ранит руку нож, но режет кожу лён.
Достанешь экспонат – смеёшься или плачешь,
Ведь ты с любимым из них уже отождествлён.

Над озером стрекоз застывшие кометы,
И духота духов, и влажность жемчугов, –
Театр для одного, где узники-предметы
Играют пьесу дня. Музей ни для кого.

Экскурсии в музей – опасные прогулки.
На что наткнёшься там – как знать наверняка?
То отчий дом найдёшь в забытом переулке,
То – скомканный платок, то – трупик хомяка.

Есть вещи пострашней хомячьей стылой тушки.
Такую светотень покажут ли в кино?

Повсюду на тебя расставлены ловушки,
И в каждую тебе попасться суждено.

Сплошь минные поля. Смотрительница-память
Идёт-бредёт по ним из тени в пустоту,
Чтоб появиться вновь, нагруженной вещами...
Что ж эту мне несёшь, ведь я просил вон ту?!

Захочешь взять свечу – ухватишь тьму и стужу,
Потянешь за любовь – проглянут боль и жуть.
Быть может, смерти нет. Но вечность много хуже,
И не принадлежит она тебе ничуть.

Белый завет

На гитаре чёрный человек
Джаз играл в подземном переходе,
Он не знал, что начал падать снег,
И не стало пустоты в природе.

Мы с тобой сидели за столом,
А слепая вьюга то и дело
Билась стылой рыбой о стекло,
Чешуёю мелкою блестела.

И стеблей, и листьев лишены,
Расцветали белые левкои...
Раненные птицы тишины,
Мы гнездимся в кухне под плитою.

И гудящий трансформатор ветра,
Пятна света превращая в пенье,
По законам белого завета
Нам на плечи взваливает перья.

Михаил Шерб родился в 1972-м в Одессе. Окончил физфак Одесского университета. С 1994-го – в Германии. Работает программистом.

Публикации в журналах «Арион», «Дружба народов», «Крещатик», «Интерпоэзия», «*homo legens*», «ШО» и др.

Феликс ЧЕЧИК

ИЗБРАННОЕ

Мы сами напророчили
и карту начертили:
по столбовой обочине
идти на все четыре.
Мы сами напортачили
и заслужили сами,
как будто жили начерно
с тобой под небесами.

Случай

Постричься «под Котовского», потом
под окнами у Власовец Наташи
стоять часами мартовским котом
и маяться, не пригубив из чаши,
когда другие пили, и взахлёб,
но этого не знать – лишь много позже,
как получить шальную пулю в лоб,
узнав случайно, и мороз по коже.
Каких-нибудь – лет 40-45...
И в рифму сублимировать опять,
и гнать строку, которой грош цена
в базарный день и не в базарный, кстати;
и повстречаться вдруг: Она? Она!
однажды – в «Одноклассниках»? «В контакте»?
Фамилия другая и лицо,
в разводе, трое внуков – жизнью бита,
но... взгляда голубое озерцо
притягивает посильней магнита:

– Привет, Наташа! Как дела? Как жизнь?
– Привет! Нормально. Сам-то как?
А больше и не знаешь, что сказать
и, опершись на опыт, что-то говоришь,
– о боже! – и сам уже не рад, что отыскал
и рад, что прекратилась переписка...
Осталась только пыль от вечных скал
и море слёз бездонное от Пинска!

Мемориал

Нас расстреляли, но об этом
не сообщили, и теперь
мы – между тем и этим светом –
невидимую ищем дверь.
А может – не было, и нету,
и бесполезны все труды,
как вечная дорога к свету
несуществующей звезды?

* * *

Безнадежно, безутешно,
бесконечно, как страда.
Это – временно, конечно,
и, конечно, навсегда.
Это – длится, длится, длится,
не закончится никак.
Но белеет, как больница,
самолетик в облаках.
Унеси меня отсюда –
да, за тридевять земель,
где октябрьская остуда
и фаллическая ель.
Тары-бары растабары
соек, галок и ворон,
а дождливые пожары,
украшенья похорон.

Унеси, пока не поздно,
в тишину небесных тел...
Помаячивший неврозно –
испарился, улетел.
Но горит, горит утешно
левантийская звезда.
Это – временно? Конечно.
И, конечно, навсегда.

Из Пабло Неруды

Запомните меня таким,
каким я не был никогда.
Я – Хоакин.
Я – смерть-звезда.
Запомнили меня? Теперь
забудьте, раз и навсегда.
Я – в небо дверь.
Я – жизнь-звезда.
Свечу не только ночью – днем.
Убитый – дожил до седин.
Я – два в одном.
Един.

* * *

Концы с концами не сводя
и затянув ремень потуже,
живешь, тоскуя без дождя,
несуществующий, как лужи,
как небо, Пина и каштан
и паутин сухие нити...
Храни тебя твой Мандельштам,
Иванов, Новиков – храните.

* * *

Старо-новое,
как воронье,
дневниковое
время мое.
Не страды
безнадежность в тоске,
а следы
воронья на песке.

* * *

Ах, если так – пускай тогда
не достается никому:
осенне-мутная вода,
напоминающая тьму.
И листья желтые на ней,
как звезды на небесном дне
и хрупкость преддекабрьских дней,
тебя напомнившая мне.
И, не сговариваясь, мы
куда глаза глядят пойдём.
И растворимся до зимы
под нескончаемым дождем.

* * *

Любимая, когда бы мы
не охладели без зимы
и не отчаялись без вьюги –
мы счастье взяли бы взаймы
и растворились бы друг в друге.

Феликс Чечик родился в Пинске (Беларусь). Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Публиковался в журналах «Арион», «Знамя», «Новый Мир» и др. Автор многих поэтических книг. Лауреат «Русской премии» (2011).

С 1997 года живет в Израиле.

Валерий ЧЕРЕШНЯ

«ВНЕЗАПНО СВОБОДА ПОВЕЯЛА...»

* * *

Надело небо свой свинцовый китель
и тяжело тянет тёмные слои.
Лежит земля, как женщина в соитье,
и влаги ждёт, как счастья и любви.

И вот вода летит потоком страсти
И в поры проникая, тяжелит
состав земли и рвёт её на части,
и оползнем безумия грозит.

* * *

Живи, дурак, несуществующим,
пылинки в воздухе лови,
перебирай в мозгу тоскующем
воспоминания любви.

Пускай плывут густым течением,
гольфстримом греют пустоту
холодной жизни, в средостении
пусть заполняют немоту.

Живи слабеющим, мерцающим,
оскудевающим живи,
по этим водам иссякающим,
во тьме барахтаясь, – плыви.

Пусть угасающим свечением
ещё продлится краткий миг,
с его уже неслышным пением,
но ты настиг его, настиг.

* * *

Когда несётся мимо половодье
набухшей и взбесившейся тоски,
грозя залить последние уголья –
хватайся за соломинку строки.

Она кружит в водовороте вроде
Улановой, привставшей на носки,
её по водам ветер веры водит
и вихрем может в небо занести,

где по пустым полям своих творений
кочует вечно одинокий гений,
шарманку стратосферную крутя,
там тающего облака течение
лишь образ твоего исчезновенья,
прекрасный образ мира без тебя.

ГИЛЬГАМЕШ

(тема и вариации)

1

Ночью, пока смотреть
рано ещё глазам,
он примеряет смерть
к жизни своей пазам.

Тесно, не втиснуть в паз,
слишком она из другой
оперы, той, что нас
музыкой манит немой:

там ни пауз, ни нот
не прозвучит нигде –
лишь запеканка забот
о посмертной еде:

грудой в гробнице лежит
с привкусом сытого сна
пища, – прекрасна на вид,
жаль, что из глины она,

а в спелёнутый рот –
страшен голодный мертвец –
ветер пылью плюёт,
плоской пустыни певец,

сколько б её ни ел
сытости нет как нет...
в жуть Гильгамеш смотрел,
в смерти своей беспросвет.

2

Я превращу тебя в труп –
будет родным твоим больно,
в горе терпение губ
дрогнет движеньем невольным...

Это – потом, а сперва
станешь ты злым, всё выдавшим,
неба сухая стерня
разум исколет.
Пропавшим даром: не ведая жить,
длитель день за днём в упоенье
больше тебе не скрепить
душу.
А смерть в отдаленье
жадностью тысячи ртов,
ждущих желанной поживы,

подстерегает твой рёв,
рёв, оглашающий нивы.

3

Нужно себя учить быть землёй, быть прахом –
ведь это тебе предстоит.

Без страха,
вслушиваясь в свои бессловесные недра,
учишься лёгкому языку трав и ветра,

лёгкому, потому что родному.

Потому что
звуки его, летящие мимо, но кучно,
словно стреляет великий безумный мастер,
вдруг озаряют коротким игольчатым счастьем,

им и живёшь.

Но втискиваясь в страницу,
держишься всем существом за пойманную синицу,
и лишь отпустив, опустев, благословя,
обретаешь летящего косо и вдаль журавля.

* * *

О старость, ты просто причуда
весёлого беса. С собой
ты видишься как бы оттуда,
покуда ведут на убой
сквозь узкую медленность жизни,
сбивая с понятий и ног,
а сверху на ниточке виснет
надеждой подвешенный бог.
Он сыплет густой и нелепый
словесно-растительный сор,
в тебе прорастает напевно
его обаятельный вздор,

и ты отмечаешь не к месту
вещей соразмерность и вес,
обычного облака тесто,
его гениальный замес.

* * *

Воскресная прогулка. Как я рад
пройтись по этим улицам без цели
и, увеличив протяженность тела,
пространство пропустить через себя.
Ты, бескорыстье, лучший проводник –
куда велишь, туда я и шагаю,
покорно следую извивам парапета,
безлюдной набережной скользкому пути
и захожу во все дворы и подворотни,
лишь стоит поманить стеной кирпичной,
косым окном, прорубленным под крышей,
и черным деревом в нетронutom снегу –
заветной жизнью тесного угла,
где выход только в небо, вверх и в небо.

И вновь холодный, в оспинах, гранит,
вослед за костенеющей рекой,
ведет на старое немецкое кладбище,
где узкие протоптаны тропинки
среди камней, под выпушкой из снега,
со стершимися буквами псалмов,
где тень от смерти стерлась и исчезла
настолько, что не может возродить
ни бледных девушек в кисейных длинных платьях,
ни их отцов в парадных сюртуках,
уложенных семейственно и рядом.

И я, чья жизнь нелепее стократ,
быть может, а точнее – несравнимей,
стою, живой, под низким ровным небом
и представляю кукольный уклад

их жизни – осознание, как чудо,
полно серьезности и тайны: тень крыла
коснулась сердца и исчезла.

С этим чувством
я выхожу на крошечный проспект
к домам, автобусам, трамваям, людям.

Свобода

Внезапно свобода повеяла,
дурацким тряся колпаком,
от скуки все звуки рассеяла
в пространстве, незнамо каком.
И ты собираешь по семечку,
сжимаешь их в потной горсти,
воистину, страдное времечко
тебе предстоит провести:
скрести озабоченно темечко,
взрыхлить залежалую суть,
чтоб это случайное семечко
в достойную почву воткнуть.

Пока, преисполнен доверия,
стараясь увидеть в лицо,
сличая гармонию, меряя
с первичным её образцом,
пока вся душа наклоняется,
следуя за дрожащим ростком –
свобода опять удаляется,
дурацким тряся колпаком.

Американская элегия

О, всего несколько строк –
многим негде и притулиться
в этом маленьком городке
с холмистыми чистыми улицами.
Скрюченный прошлогодний лист

скребёт тротуар, цепляясь за урну,
зелень газонов, как пианист,
играющий слишком бравурно.
Ну, ещё понурые машины у обочин,
брошенные наспех, с обиженным выворотом колёс,
и дома, взасос сглатывающие хозяев богатых вотчин.
В их нутре голо, как на античной сцене:
ужин, телевизор, пятнающий стены
дьявольскими отблесками цветных бедствий,
дети угомонились в детской.
Секс – всё реже и реже, эта усталость,
будто ты себе не ближний, а дальний,
не заснуть от зудящего «з-з-зачем?»,
комаром залетевшего в спальню.
Такой кровосос вполне истребим
пробежкой в дурмане тумана, утренним кофе,
работой, где ты совершенно незаменим, –
настоящий «профи».
Это всё.
Да, я забыл сказать
об одном дереве, растущем
так, словно ему никем не нужно стать,
только ветвиться гуще и гуще,
только так и остаться в твоих глазах:
Лаокооном, синь неба рвущим.

Валерий Черешня родился в Одессе в 1948 году, с 1968 года живёт в Санкт-Петербурге. Закончил Ленинградский электротехнический институт связи, работал инженером на предприятиях городской телефонной сети.

Автор пяти поэтических книг («Своё время», 1996; «Пустырь», 1998; «Сдвиг», 1999; «Шёпот Акакия», 2008; «Узнавание», 2018), книги эссе «Вид из себя» и многочисленных публикаций в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Постскриптум» и пр.

Роман ВЕРШГУБ

ДМИТЬКА

Зимой 2013-го в Чикаго скончался эмигрант из Украины, врач Роман Вершгуб. Многие люди, умирая, уносят с собой тайну. Мне всегда казалось, что ее совсем необязательно разгадывать – человек имеет право недосказать сюжет собственной жизни. И все же тут был особый случай.

Впервые о том, что Роман Вершгуб пишет рассказы, я услышал от Ефима Петровича Чеповецкого, знаменитого детского поэта, в свои последние годы жившего в Чикаго. «Прекрасная проза, – воскликнул Е.П. – Но загвоздка в том, что Роман не хочет ее публиковать».

Он печатал свои рассказы на машинке: два-три экземпляра. И давал читать двум-трем людям. Когда мы познакомились, Роман оказал эту честь мне. Чем сразу поразили меня его рассказы? Они явно были написаны профессионалом.

Я совершил ту же ошибку, что и другие. Спросил: хотите, предложу ваши работы в один из эмигрантских журналов, с которыми связан? И получил такой же категоричный отказ.

Тогда он был уже безнадежно болен. И знал это. И поддался на уговоры друзей: стал иногда читать свои вещи в литературной студии Чеповецкого. Однако еще тверже говорил о ненужности публикаций.

Майя, вдова Романа, нарушила его волю. Не мне ее упрекать. В былые дни легенды о Майе, враче-гомеопате, гуляли по Киеву. А сейчас, через несколько десятилетий, она занималась восточной гимнастикой, водила машину. Она не раз приезжала ко мне в редакцию. За советом: как составить сборник? Как назвать книгу? Но главное – спросить: как я понимаю подтекст того или иного рассказа?

Ее тоже волновала тайна мужа. Жене Роман никогда не давал читать свою прозу. Робел, зная ее хороший вкус и категоричность оценок? Может быть. В чем-то не доверял? Вряд ли. Многие дета-

ли безоговочно твердили: он любил Майю, долгие годы их брака был предан ей.

У меня собралась большая папка рассказов Вершгуба. Иногда я перечитываю их. Рассказы эти печальны, а на первый взгляд – безотрадны. К одному из них автор поставил эпиграф: «Успехи мнимы, беды истинны». Герой этой новеллы молодой ученый Виталий, которого справедливо считают гением, отказывается вдруг от защиты диссертации, уходит из родительского дома – уходит к некрасивой женщине, гораздо старше себя («Маменькин сын»). Хирург Саша, делающий уникальные операции, неожиданно теряет свой дар и мучительно пытается понять, кто виноват в этом, – нежели он сам? («Кузнец своего счастья».) «Я узнаю в рассказах реальные события и реальных людей», – сказала Майя. И наконец я догадался: пространство рассказов было для Романа Вершгуба своеобразной лабораторией психоаналитика. Здесь он, не верящий в Бога, но доверяющий судьбе, стремился проникнуть в логику и смысл, а скорее – в алогизм и бессмыслицу бытия.

Однажды в начале апреля мы столкнулись с Майей на Devon Avenue, которая дала когда-то приют многим эмигрантам из бывшего СССР. Торопливо обменялись новостями. «Вам передали книгу?» – «Пока нет. Уже вышла? Поздравляю! А какой тираж сборника?» – «Пятьдесят экземпляров». – «Так мало...» – «Так много. Тридцать книг валяются у меня в шкафу – никому не нужны».

Майя вздохнула: «Там, на небе, Роман, конечно, осуждает меня...»

Но вот уже нет и Майи. С ее разрешения, высказанного (незадолго до смерти) мне и журналисту Нине Дубровской, которая участвовала в подготовке книги к печати, предлагаю один из рассказов Романа Вершгуба читателям журнала.

Евсей Цейтлин

Все звали его Дмитька. А как ещё называть парня в застиранном кителе, широкомордого, который больше всего на свете любил смеяться и участвовать. Личность у него была запоминающаяся: глаза зелёные, как у удивлённого кота, жёсткие волосы лохматились во все стороны, а белые зубы веером торчали из-под смеющихся губ.

Откуда он взялся? Говорили, что из Политехнического, но многие сомневались, что он учится, так как Дмителька в любое время был свободен и безотказен.

– Дмителька, пошли играть в карты.

– Пошли!

– Дмителька, айда на вокзал встречать тещу из Кишинёва.

– С удовольствием!

– Пошли трусить яблоки!

– Пошли!

Иногда он исчезал на несколько месяцев. Это значило – прилепился к другой компании, но непременно возвращался. Но однажды он не появлялся почти два года. Уже стали забывать Дмительку, как вдруг он возник и, притом, с хорошей новостью в зубах: женился, живёт в почти собственной комнате и обзавёлся сыном. Приглашает посмотреть, как будут купать Мишутку. Мишутка оказался увесистым парнем в светлых кудряшках, как на портретах молодого Ленина, солидным и молчаливым, который ухитрялся молчать, даже когда Митя подбрасывал его к потолку к ужасу Янки – как вы догадываетесь, Митькиной жены – создания миниатюрного и светящегося. Кроме подбрасывания, что, как известно, есть выражение отцовского счастья, Митя совершал нетрадиционные действия: еженедельно стирал китель, чистил зубы и, по слухам, перестал курить.

К сожалению, всё это благополучие быстро кончилось. Мишенька перестал садиться в кроватке, двигать ножками и узнавать родителей. Врачи поставили редкий и смертельный диагноз – болезнь Тей-Сакса. Эта «гадюка» часто встречается у некоторых народов: скажем, неевропейских евреев. Отчего? В результате родственных браков.

– Что значит «родственных браков»? – спросила Янка.

– Ну, если женится брат на двоюродной или родной сестре.

– А разве такое бывает?

– В жизни всё бывает.

– Но мы не евреи! Она из Сибири, а я из Малина... Мы впервые встретились всего два года назад. И родители наши тоже... тоже не евреи, – запинаясь, сказала Янка, будто призналась в чём-то постыдном.

– Это ещё неизвестно, кто еврей, а кто нет, – спокойно ответил врач, – у предков было всего намешано.

– А может такое повториться?

– К сожалению, может. Только так и бывает.

– Что же нам делать, доктор? Что нам делать?

– Нужно поменять партнёра. Это единственное надёжное средство.

– Но ведь мы любим друг друга! Посоветуйте, доктор! Помогите!

– Я всё вам сказал. Извините, у меня много больных... Спешу.

И отрезало у Дмитьки влечение к Яне, как бритвой отрезало. Не то, что разлюбил он её – и жалел, и восхищался, и понимал, что ни в чём она не виновата, но лечь с ней в постель никак не мог. Всё равно, что переспать с родной матерью.

После смерти Мишутки Яна совсем погасла. Не то, что смеяться – разговаривать почти перестала. Сидела в углу на сундуке и смотрела в одну точку. Однажды стала что-то варить в мишуткиной кастрюльке. Митя взял её за плечи и спросил:

– Ну, что, Янка?

Она посмотрела на него, чуть отшатнулась, потом прислонилась к плечу:

– Вот каша... Манная каша Мишеньке, – и, не выпуская кастрюльку из рук, повторяла:

– Каша... каша... Гу... гу... густая... гуууу... Почему с нами? Раз на миллион...

Митя понимал, что если он ляжет с Янкой, это может случиться, пусть с истерикой, пусть она будет колотить его кулаками по голове и спине, но разрядка произойдет. Но заставить себя сделать это не мог. Да и Янка тоже ужасалась этого. Он ходил к гипнотизёру – бесполезно. Травник вколол какую-то коричневую бурду – всё без толку. Хуже всего стало после ясновидящей. Она набормотала что-то о золотой короне, брате и сестре и большом пожаре. Сердце растравила вконец.

Между тем приближалось время отъезда на работу. Митя, единственный в институте, был направлен в Баку на нефтеперерабатывающее предприятие. Яна просила оставить её в Киеве – не хотела связываться, убеждала, что там она будет ему в тягость, боялась чужой

страны и незнакомого языка, хотя в душе надеялась, что Митя её не бросит.

А у Мити и в мыслях не было уехать без Янки, потому что он был совершенно не способен думать о будущем, и потому, что сделать так было бы подло, что было чуждо его простой душе, а главное, он её любил. От приятелей, говоривших ему: «Митька, ты же здоровый мужик! Тебе нормальная семья нужна», – он добродушно отбрыкивался: «Не трывдите, хлопцы... Как-нибудь устроится», – или посылал их по всем известному адресу.

В Баку поезд пришёл вечером, когда город был залит разноцветными огнями и напоминал золотое блюдо, наполненное драгоценными камнями. По приморскому бульвару медленно проезжали открытые извозчичьи коляски-ландо с роскошными дамами и смуглыми усатыми мужчинами, напоминавшими корзины с цветами. Пахло морем, лимонами, кофе и сладкими духами – чем-то соблазнительным и порочным, как не пахнет в северных городах. А на окраине, где находился их завод, было, как и положено, темно, грязно и безасфальтно.

Утром они явились к начальнику отдела кадров, который принял их хмуро и недоброжелательно. Может быть, в этот день он был в плохом настроении, а может быть, хмурость и недоброжелательность были тактическим приёмом – частью единой стратегии всех завкадрами во всём Советском Союзе, предназначенной поставить на место любого, прибывшего на работу. Начальник взял у Мити направления, спрятал их в сейф и заявил с усиленным восточным акцентом, что инженерских должностей у него нэт, и мест в общежитии тоже нэт. И, вообще, предприятие никаких заявок в Политехнический институт нэ давало. В ответ на это Митя сказал:

– Очень хорошо! Напишите это на наших направлениях, и мы вернёмся в Киев... и поставьте печать.

– Пачему сразу пэчать! – встрепенулся кадровик. – Надо падумать, пасаветоваться. Приходите послезавтра.

А послезавтра завкадрами предстал воплощённым восточным гостеприимством и европейской учтивостью. И речь его звучала почти без акцента.

– Вам очень повезло, – сказал он, сияя золотозубой улыбкой.

– Я нашёл вам хорошую должность. Инженерскую. И жену устроим. И комнату дадим – не в общежитии, а отдельную... И даже заместителем главного инженера сделаем... по технике безопасности. Согласны?

– Что может быть лучше! – радостно согласился Митя.

Кадровик внимательно посмотрел на него.

Янку взяли преподавателем русской литературы в школе, что было ей как раз по душе, и заведующей библиотекой на полставки. Комнату они получили, правда, в полуподвале, но с отдельным входом и, главное, она была на два метра больше киевской, так что в ней поместились две кровати, что было необходимо при нынешних отношениях молодой пары. Даже одностворчатый шкаф удалось втиснуть между кроватями. Быстро развеялись Янкины страхи перед непостижимым и таинственным азербайджанским языком: большинство окружающих говорило по-русски. Но даже те, кто русским не владел, могли выразить любую мысль при помощи языка будущего – всем понятного русского мата.

В высшем свете нефтеперегонного завода они не привились: она из-за молчаливости, прозванная серой куропаткой, а он из-за не всегда чистых ногтей. Приглашения иссякли, чему Янка была даже рада. Она подружилась с Анной Арнольдовной Кремер, бывшей москвичкой, бывшей дворянкой, которая, ни на что не жалуясь, жила в четырёхметровой комнате и даже дома носила кремовую батистовую блузку с камеей из слоновой кости.

Готовила Янка невкусно, без выдумки и почти без соли, но Митя с энтузиазмом съедал всё, что дают. В последнее время он часто обедал в заводской столовой, но с большим удовольствием в компании ребят, где всегда было что выпить, чем закусить и, главное, «потрындеть», что ещё с детдомовских времён он любил больше всего.

Не сразу, далеко не сразу понял Митя опасность и призрачность своей работы. В этом глухом месте, где даже телефон казался редкостью, понятие «техника безопасности» было столь же бессмысленным, как «охрана труда» при штыковой атаке. Круг его обязанностей был неопределён, ответственность безгранична, а возможности ничтожны. Но занят он был с утра до вечера. Постоянно возникали то важные, то ничтожные дела, перечислять которые утомительно, с которыми он справлялся легко и быстро, благодаря природной

смекалке и «золотым» рукам. А чем шире становился этот текучий поток, тем туманней оказывалось то, ради чего его взяли на работу – техника безопасности. У него не было своего кабинета, даже стола, а табличка с фамилией и должностью висела на дверях склада пожарного инвентаря. В этом складе, кроме огнетушителей, багров, инструкций, наставлений, плакатов, раздвижных лестниц, брезентовых рукавиц, хранилось множество странных и вызвавших бы недоумение у иностранца предметов. Там были ГДРовские костюмы, женские блузки, шапки пыжиковые и даже чешские книжные полки. Именно здесь, в этой пещере Аладдина, Митя понял смысл слов главного электрика милейшего Исаака Львовича Раппопорта:

– Дмитрий Фёдорович, ни с кем не ссорьтесь, всё выдавайте только по записке, оставляйте себе копии с докладных и вставьте себе золотые зубы.

– А зубы зачем? – удивился Митя.

– Чтобы не выделяться. К тому же здесь это дёшево.

Ни одной из этих заповедей Митя выполнить не смог. Ему пришлось ссориться ежедневно, выдавать дефицит по устному распоряжению, а золотые зубы оказались не по карману. Однажды он принёс со склада для Янки шелковую блузку. Что тогда было! Янка устроила ему такой разнос, что Митя побежал возвращать свой подарок, матеря по дороге себя, проклятую блузку и всю технику безопасности в целом. Но не все были столь щепетильны. Однажды к нему заглянула Эллочка Бистром, дама лет 35, ладная и выразительная во всех направлениях. Якобы, на предмет кофточки. Когда Митя отказал, она не очень огорчилась, видимо, не за этим пришла, и пустилась в оживлённую болтовню, в результате которой они поужинали в кафе, а потом он проводил её до парадного. Когда Митя захотел зайти к ней, она как шаловливая девочка сказала: «Нет».

– Ну, нет, так нет, – без сожаления согласился Митя, но Эллочка привлекла его к себе, попружинила ладонью по жёстким Митиным волосам:

– Ёжик... настоящий ёжик... к тому же и дурачок, – и Митя оказался в Эллочкиной постели.

С тех пор он дважды в неделю не обедал в заводской столовой, а наслаждался кулинароэлочкиными выдумками, а также выдумками иного рода, но к восьми часам непременно возвращался домой.

Янка ничего не говорила. Она то ли понимала, что иначе и не может быть при их нынешних отношениях, то ли верила, что Митя уже наглотался во время перерыва на ежедневных обжираловках и пьянках. А пили все, жестоко и всё подряд: и водку, и самогон КВН (крепкэ, вонючэ и недорогэ), и чуть ли не смесь нефти со спиртом. Митя поначалу пытался уклониться от этих пьянок, но по слабости характера не смог. Он понимал, что всё это угрожает его репутации и авторитету и, самое страшное, технике безопасности, за которую отвечал единолично, но ещё более отчетливо понимал, что в этой взрывоопасной обстановке среди пьющих, курящих, безответственных, одуревших от тяжёлой работы, скуки и бессмысленной жизни людей техника безопасности есть понятие абсурдное, придуманное специально на его погибель. И окружающие это понимали. Как бы шутя, его называли «Козёл отпущения по технике безопасности».

Все, работавшие на заводе, думали по-разному: одни были уверены, что пожара никогда не будет, другие – что он произойдёт непременно, что, по сути, было одно и то же и рождало беспечность и наплевательство. А пожара не могло не быть, когда вокруг нефть, в головах спирт, а в руках зажжённая папироса. Нефть была везде: просачивалась сквозь стыки проржавевших труб, капала из чавкающих насосов, жирными лужами лежала на земле, огромным пятном покрыла воду после аварии, случившейся месяц назад, насыщала воздух и, казалось, все дома, вся одежда, вся пища и даже тела людей пропитаны нефтью.

Нельзя сказать, что Митя ничего не делал, чтобы предотвратить несчастье. Он написал докладную директору, где указал на необходимость обновить оборудование. Директор терпеливо выслушал его, даже угостил рюмкой душистого коньяка и, улыбаясь золотозубо, показал пачку заявок в министерство.

– Вот видите... Уже пять лет просим...

Потом Митя много раз писал директору всякие рапорты и предложения, но тому надоела активность заместителя, и он встречал его словами:

– Ну, что тебе ещё надо? – А секретарше велел:

– Рапортов от Дмитрия Фёдоровича в журнале не фиксировать.

Все попытки заставить людей курить только в безопасных ме-

стах вызывали разную, но негативную реакцию: азербайджанцы хмурились, «наши» шутиливо огрызались:

– Тебя послать или сам пойдёшь?

Для злостных нарушителей Митя придумал «Позорную доску». Туда недавно попал бригадир бурильщиков за попытку проплыть под нефтяным пятном. Об этом пятне говорилось на каждом совещании, издавались строжайшие приказы: «Немедленно собрать и удалить!!!», но по собственному желанию пятно не удалялось, и никто из присутствовавших сделать это не мог.

Особенно гордился Дмитрий Фёдорович плакатом собственного изобретения. Там наверху было написано: «Здесь не курят». Под надписью ослиная морда с папиросой в зубах. А ещё ниже: «А я курю»

По правде говоря, на бакинском нефтеперегонном предприятии пили не все: не употреблял главбух, не пил Исаак Львович Раппопорт, Рэна Фёдоровна из финансового, прозванная за злобность Гангрена Фёдоровна, – тоже; и несколько подозрительных, но безмянных личностей не участвовали. Не была замечена и Эллочка Бистром.

Почти полтора года два раза в неделю блаженствовал в её доме Митя, теперь Дмитрий Фёдорович.

...Однажды над Баку разразилась гроза, настоящая, тропическая. За окном было темно, дождь косой стеной обрушивался на землю, ветер крушил деревья; и обломки ветвей, как зловещие птицы, носились в воздухе. Гром пробивался сквозь крышу и, казалось, вот- вот ворвётся в комнату. Молнии золотыми иглами прошивали чёрное сукно неба. Эллочка, прижимаясь к Мите, сказала: «Вот мы лежим здесь, нам хорошо и тепло, а кто-то, – подбородком указала на окно, – кто-то идёт там в дожде, среди молний... Жуть». И Митю вдруг осенило: «Ведь это Янка сейчас возвращается домой с работы. Это она идёт под ливнем, в темноте и ужасе! Её несёт ветер и ударяет о стены. Ведь это её может убить сломавшееся дерево!» Всю его страсть, всю чувственную ярость будто отрезало. Он отвалил прилипшее к нему тело и сел на кровати.

– Что, скис? – спросила Эллочка ещё не остывшим голосом.

– Да, вот ключ потерял от квартиры, когда раздевался, – соврал Митя.

– А мы сейчас поищем.

Эллочка выскользнула из-под одеяла и, не набросив халатика на голое тело, стала ползать по полу в поисках ключа. Но сейчас это зрелище вызвало у Мити только отвращение. Ему хотелось пнуть ногой в этот нахальный тяжёлый зад.

– Может быть, ещё раз попробуем? – попросила Эллочка. – Такое с вами бывает.

Но Митя не хотел пробовать и сказал, что пришло в голову: «А пошла ты...» И хотя это вполне совпадало с Эллочкиным желанием, она почему-то обиделась:

– Смотри, когда захочешь, будет поздно.

Он шёл домой под дождём, который уже не лил, а брызгал, не замечая ни луж, ни грязи под ногами, и думал, что за все эти годы ничего не подарил Янке, ни разу не пошёл с ней в театр, даже поговорить толком не сумел. И ему захотелось подарить ей колечко с зелёным камнем – не знал, как этот камень называется. Сунул руку в карман, а там всего три рубля. За три рубля колечка не купишь. Даже взяла досада на Янку: «Почему у него всегда в кармане пусто!» Но он легко развеял её, потому что хотелось Мите сделать для Янки что-то приятное. «А может быть, принести домой торт? Торт это хорошо... Все несут домой торт». Уже подходя к магазину, где (он думал) продаются торты, внезапно увидел себя со стороны, чужими глазами: «Вот он стоит в комнате, промокший, без ботинок, потому что нельзя запачкать пол, в носках... Нет, носки тоже надо снять – промокли насквозь... Вот он стоит в комнате босиком, в одной руке мокрые носки, а в другой торт... Тьфу! Бред собачий!»

Он купил на улице тощий букетик цветов, но в последний момент постеснялся дать его Янке и положил на ступеньки соседнего парадного.

Хотя на заводе многие знали, что беда неотвратима и жили в постоянном ожидании её, она пришла неожиданно и нечаянно. Снизили расценки на несколько видов работ, а через неделю не завезли в продмаг мясо и муку. Будто там, *наверху*, забыли, что нельзя одновременно снижать расценки и не завозить продукты. Потом отдали на сторону несколько квартир из строящегося заводом дома. В заводском районе начались волнения. Улицы наполнились

неясным, но грозным гулом, который люди обычно не слышат, но чувствуют животные перед землетрясением. Участились и прежде нередкие драки между «приезжими» и «местными», ограбили сберкассу, подвыпивший прохожий как бы случайно сбил шляпу с головы Раппопорта, рабочие стали грубить начальству. Ждали: вот-вот начнётся.

В этот день Митя во время перерыва зашёл на 3-ю платформу. Бригада обедала. Люди потеснились. Кто-то протянул гранёный стаканчик с самогоном. Митя покачал головой: на работе, мол, не положено, и протянул руку к стакану. Но в это время увидел, что какой-то долговязый мужик с грязной повязкой на шее курит рядом с плакатом «Огнеопасно».

– Что ты делаешь, падлюка! – в сердцах крикнул Митя. – Ты где куришь! – и встал, чтобы врезать долговязому. Но рядом с курильщиком стояли дружки и, видимо, ждали драки. Связываться не стоило. Митя сел, опрокинул в глотку самогон и под насмешливыми взглядами рабочих ушёл с платформы.

И сразу всё вспыхнуло. Вначале огня не было видно, а видна была чёрная тьма, покрывшая воду и берег... Может быть, поднялось к небу и стало тьмой то нефтяное пятно, которое уже второй месяц никак не могли собрать с моря. Затем появился огонь, но он был не рыжий играющий, а тяжёлый красно-коричневый и сплошной. С моря на город шел жар и гул, будто надвигался огненный ураган или началось новое извержение Везувия. Стали видны мечущиеся фигуры, кто-то бросался в воду, уже горевшую, переворачивались мостки, забитые телами бежавших, пахло дымом и горелым мясом, но крики и вопли не были слышны в оглушающем гуле и грохоте возмущённой стихии. И среди всего этого ужаса где-то в центре крутился визжащий (как Мите чудилось) огненный комок заживо горящей бригадной собаки Шарика...

Как всегда, ничего не было готово для спасения. Один из пожарных катеров еще утром был послан в город за продуктами, телефонная связь с депо барахлила, даже кареты скорой помощи пришли с запозданием, застряв по дороге. В этот кошмарный день погибло 11 человек.

Вой и ужас нависли над рабочей окраиной. Похороны погиб-

ших грозили бунтом. В «верхах» понимали, что в этом деле судебный процесс не только необходим, но и полезен, и виновный для такого процесса был заготовлен заранее. Однако возникло серьёзное подозрение, что это не удовлетворит людей и возмущение может выйти за положенные пределы. С другой стороны, привычные охранительные меры могли вызвать недовольство центра. Поэтому, когда толпа разграбила винный магазин, а ночью убили одноглазую горбунью (по всем приметам ведьму), человек из месткома посоветовал Мите:

– Ты пересиди несколько дней у близких знакомых... Как бы ненароком и тебя... дикие же.

Ближих знакомых у Мити не было. Не у Элочки же ему прятаться! Он пришёл домой. По дороге подумал: хорошо, что вход отдельный – соседи не заметят, а Янке сказал:

– Ты поживи немного у своей подружки. Хоть у Анны Арнольдовны комната 4-хметровая, ничего, как-нибудь поместитесь.

Янка на дыбы:

– Ни за что не оставлю тебя одного! Где ты, там и я!

Но Митя взревел:

– Ты что! Одурела! Мало того, что мне под суд идти, хочешь, чтобы здесь, у меня на глазах, тебя изнасиловали и убили! Немедленно уходи! А то выйду на площадь и дождусь, пока меня там прикончат!

И Яна ушла. Кажется, заплакала и ушла. Митя остался один. Проверил решётку на окне – прочная, выдержит. А дверь слабовата. Подпер ее металлической рейкой. И стал ждать. Прежде ему не приходилось оставаться днём дома – всё на работе среди шума и гвалта, а теперь, вот, один. И поразила его тишина. Как в могиле. Ни звука. Потом стал слышать отдалённое буханье. Догадался: механический молот забивал сваи. Сначала было интересно, потом стало раздражать – как гвозди в гроб. Янкины книги читать было неинтересно, а думать он не привык. И вспоминать было нечего. Вот если был бы у него сын, он провожал бы его в школу. Нет, одиннадцатилетнего в школу уже не провожают. Вспомнился пожар. Замелькали пляшущие фигурки и огненный клубок визжащего Шарика. Людей жалко не было, а Шарика жалко: «Это долговязый с повязкой бросил сигарету. Набить бы ему морду... А собака не виновата - не курила,

не пила». Опять запахло палёным и стало тошнить. Митя нашёл в шкафу бутылку портвейна и выпил всё из горла, но ещё больше за-тошнило, и стала болеть голова. Гадость подошла к горлу, руки и ноги онемели, и Мите показалось, что он сейчас умрёт. Так и увида-лось, что лежит он холодный, в блевотине, один – рядом никого нет. И найдут его мёртвого только через три дня. Поднялась обида на Янку: «Чего ушла?» Он помнил, что сам заставил её уйти, но обида не проходила: «Всё равно должна была остаться – жена ведь!» Он задремал и во сне опять увидел пожар, ещё более страшный, визжа-щего Шарика в огне, и опять тошнота.

Сидеть взаперти и бояться было больше невыносимо. Он вы-шел из дома и медленно пошёл по улице, прижимаясь к стенам до-мов. Свежий воздух и солнце оживили его, а может быть, это была неосознанная тяга к простору, обострившаяся после сидения вза-перти, но он незаметно для себя оказался на краю тротуара, затем – на середине мостовой, не замечая ни машин, ни конных повозок, пока не услышал: «Куда прёшь, козёл!» – и увидел над головой кон-скую морду с лиловым глазом.

Суд был, как суд. Зал заполнили родственники и знакомые по-страдавших, раздавались гневные выкрики, которые никто не пре-секал, так как они были необходимы для накала страстей и обви-нительного приговора. Прокурор требовал для обвиняемого 10 лет: «По году за каждого погибшего», – машинально подсчитал Митя. Но слушал он невнимательно, всё время оглядывался, будто искал кого-то. Наконец, в задних рядах увидел Анну Арнольдовну в её светлой блузке, понял, что Янка где-то рядом, и успокоился.

Выступавшие, а их было множество, напирали, в основном, на то, что подсудимый распивал спиртное вместе с рабочими, а не в своём кругу или втихую. По их словам выходило, что именно это было главной причиной пожара. Монотонность происходящего на-рушил один из сознательно непьющих. Он рассказал о курении ря-дом с бензином, пьяных дебошах, об усилиях Дмитрия Фёдоровича предотвратить пожар.

– Мы сами, товарищи, виновны в случившемся. Никто нас не спасёт, кроме нас самих! – бросил он в зал.

В этот момент обычно тусклые глаза секретаря парткома осве-

тились мыслью. Он побежал куда-то звонить и вернулся преобразённым. В горьком одобрили идею превратить показательный процесс в народный почин по повышению трудовой дисциплины. И в антиалкогольную кампанию тоже!

С того переломного момента суд покати́л по новым рельсам. Посыпались предложения:

- Продавать спиртное только передовикам производства.
- Зарплату злостных нарушителей выдавать на руки их женам.

Кто-то заикнулся, что нужно убрать пивной ларёк из проходной завода, но его зашикали.

В результате, ещё до окончания судебного заседания с прилавков исчезли не только водочные изделия, но и карамель с одеколоном, заодно и спички.

Зато Митя получил вместо 10 лет всего 2 года лагерей.

Когда его привели к новому месту жительства, он знал, что следует сказать, входя в барак. Опытные люди научили. Но что-то мешало ему, язык не поворачивался, и он выдал из себя:

– Здравствуйте! – чуть не добавив, – товарищи. Никто не ответил. Он прошёл ещё пару шагов и спросил:

– Куда мне ложиться?

– Под нары, – слышалось из темноты. Но кто-то пожалел новичка:

– Лезь на свободное.

Митя развернул свой тюфяк и лёг, стараясь занять как можно меньше места. К нему подошёл хозяин барака, высокий звероподобный человек с длинными до колен руками и лицом, заросшим шерстью, кличка его была Гиргыла, и спросил:

– Ты по какой статье? И Митя опять сплеховал: вместо того, чтобы назвать статью, он улыбнулся виновато и заискивающе:

– Пожар был... люди погибли, а я по технике безопасности.

– Из сук, значит, – озлобился Гиргыла.

Ночью его разбудили. Гиргыла приказал: «А ну, раскрой хава-ло!» Ничего не понимавший Митя раскрыл рот, и Гиргыла одним движением плоскогубцами выломал ему передний зуб. Невыносимая боль огнём пронизала череп, и рот залило кровью. От недоумения, обиды и боли Митя заплакал: «За что! Что я им сделал? За что это варварское издевательство?!» Но когда на следующий день

ему вырвали второй зуб, он стал понимать, что это только начало, и предстоит такое страшное и невыносимое, после чего нельзя будет жить – придётся повеситься. Когда к нему опять подступили, он ударил одного коленом в пах, другому прокусил руку, но ему набросили на шею полотенце и стали душить. Тут и конец был бы Мите, но раскрылась дверь барака, и в проёме возникла человеческая фигура. При неясном свете казалось, что это не человек, а обломок скалы, гранитная баба из степного кургана. Казалось, природа не закончила своей работы и не отделила голову, руки от туловища: всё выглядело единой глыбой. Фигура двинулась вглубь барака, и Митя услышал: Каменный... Это – Каменный...

– Его и нож не берёт, – пояснил сосед. – Значит, начнётся...

Каменный прошёл в середину барака, остановился перед какими-то нарами, молча посмотрел на лежащего на них зека. Тот, не говоря ни слова, встал с места, свернул свой тюфяк и отошёл в сторону. Тогда Каменный сказал, ни к кому не обращаясь: «Этого не трогать!» И Митю сразу же отпустили. Хотя Митя был новичок в тюремном мире и, вообще, плохо разбирался в людях, сейчас он понимал, что Каменный спас его не из жалости или справедливости, что ему наплевать на человеческую жизнь, а он, Митя, только предлог для чего-то другого. Но даже сознавая это, он испытывал благодарность к этому могучему и страшному человеку.

На следующий день зеки собрались за задней стеной бани. Образулся круг, в центре которого стоял Каменный, а Гиргыла с заточкой в руке с разных сторон подбирался к нему. Он то подбегал, то отскакивал, то совершал обманные движения или, извиваясь, кружил вокруг врага – старался ударить сзади. Казалось, он исполнял первобытный ритуальный танец. А Каменный почти не двигался, но каждый раз оказывался лицом к танцующей горилле. Вдруг Каменный крикнул: «Вот там!» – и выбросил вперёд правую руку. Гиргыла инстинктивно повернул голову туда, куда указывал Каменный, и на миг открыл спину. И тогда Каменный железной трубой, зажатой в левой руке, хряснул Гиргылу по спине. Раздался звук, будто лопнул мяч, и Гиргыла упал на землю. И в этот миг Мите показалось, что исчезла шерсть со звериной морды Гиргылы, и у него человеческое, хоть и некрасивое, лицо и глаза – не гляделки, а беспомощные с чёрными во всю ширь зрачками.

– Конец Гиргыле, – сказал кто-то за спиной.

Но Каменный не стал добивать его. Он бережно опустил трубу на землю и, не оборачиваясь, пошёл к бараку.

С тех пор Митя жил спокойно. Работа была тяжёлая, но легче, чем на заводе – без нервотрепки. Правда, еды не хватало. Выручали Янкины посылки. Приходилось делиться с соседями, а то всё заберут. А спал он беспокойно. Одолевали сны, но не тюремные похабные (хоть и такие бывали), а будничные и тоскливые. То снился Шарик, ещё живой, не обгоревший, то какая-то лестница, то душил его запах дыма и чего-то тошнотворного. А чаще всего снился дом, но не тот, в котором Митя жил до пожара, а другой, но очень похожий. А за столом сидела Янка и всегда спиной к нему. Когда Митя хотел прикоснуться к ней, она исчезала, от чего наваливались такая тоска и боль в сердце, что он просыпался.

Однажды ночью он лежал на нарах с раскрытыми глазами и, сам того не замечая, стонал. Его сосед по кличке Угрюмый – он отбывал десятку за убийство жены и её любовника – спросил:

– Чего не спишь, парень? Дом снится?

– Угу...

– А кто у тебя там? Мать? Жена? Дети?

– Да никого... – и тут же спохватился, – жена осталась, – и неожиданно для самого себя рассказал чужому человеку, убийце, то, что не рассказывал никому: про Мишеньку, про болезнь Тей-Сакса и про всё, что случилось потом.

– Это ты зря, парень, – отозвался Угрюмый, – это ты зря. Это из тебя дурь прёт... по молодости. Моя – она шалава была – много крови выцедила. И вразумлял я её, и кулаком учил, из-за неё и смертный грех взял на сердце. А теперь вспоминаю только хорошее, что было между нами. А твоя тихая, как душа. Она душа твоя, парень.

Угрюмый что-то ещё говорил, но Митя уже провалился в сон. Проснулся он лёгкий и радостный, как после бани. И стал ждать.

Дождался двухдневного свидания, положенного за хорошее поведение. Его привели в комнату с зарешечёнными окнами и железной кроватью. У окна в свете заходящего солнца стояла женщина с неясными чертами лица. Что-то знакомое было в ней. Некоторое время они стояли неподвижно, будто всматривались.

Затем пошли навстречу друг другу медленно, осторожно, как

по минному полю. Янка первая положила руку на Митино плечо, потёрлась головой о его тужурку и совсем некстати сказала:

– Где твои зубы, Митя? – затем провела ладонью по когда-то жёстким и торчащим во все стороны волосам:

– И ёжика нет...

Потом они лежали на железной кровати, теперь просторной для обоих, и Митя увидел Янку не такую, как в день пожара, а такую, какую увидел впервые на 4-м курсе Политехнического института. А она, впервые за 9 лет, опять назвала его ДмиТЬкой. Она прильнула к нему – единственная родная душа на всём свете.

***Роман Александрович Веригуб** родился 17 сентября 1930 г. в Киеве. Во время войны вместе с матерью был в эвакуации на Урале. После войны вернулся в Киев, окончил школу с золотой медалью. В 1948 г. поступил в Киевский медицинский институт. Работал в течение сорока с лишним лет кардиологом в Киевской городской больнице. В 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию.*

В 2000 г. эмигрировал в США. Умер 27 ноября 2013 г. Посмертно издана книга его рассказов и эссе «Живущий несравним» (Чикаго, 2017).

Борис САНДЛЕР

КАТАФАЛК

1

Эта история началась в начале шестидесятых, в самый разгар войны, которую Никита Хрущев развязал против Всевышнего. Не вдаваясь в политику, можно лишь гадать, раздосадовал ли Всемогущий первого человека Московского Кремля лично, но так или иначе, из Кремля были спущены все злобные псы, которые накинулись на преданных служителей господ и на святые места по всей стране.

Само собой, наш городок, обозначенный на административной карте Советского союза именем Холуевка, тоже был втянут в водоворот антирелигиозной кампании.

Помимо общепризнанного административного названия, еврейские жители городка унаследовали от предков еврейское имя Халоймевка, которое некогда носил старый бессарабский штетл. Поэтому можно было услышать как официальное, так и еврейское название, а иногда и оба вместе – Холуевка-Халоймевка.

Первыми жертвами на поле боя стали две церкви и единственная синагога.

Вскоре после ликвидации зримых пережитков прошлого, местные обитатели заметили, что по разбитым, ухабистым, улочкам и переулкам нашей Холуевки-Халоймевки колесит странный автоагрегат, невиданная помясь грузовой машины с автобусом. Техническая диковина привлекла внимание местных зевак не только необычной формой, но и цветом – была она черной, как гуталин, и отполированной до блеска. Весенние солнечные зайчики бесстрашно танцевали на крыше черного монстра, не опасаясь соскользнуть вниз и, упаси боже, упасть под колеса. Четыре узких оконца по обеим сторонам странной машины изнутри были задернуты черными шторками, чтобы снаружи не проник ни один живой лучик. Два пе-

редних стекла почти скрывали темную фигуру, которая дергалась и кивала в такт, повинуюсь воле разбитой мостовой.

Немногочисленные собаки, которых голод выгнал на дорогу в погоню за оброненным куском, в ужасе от дикого вида огромного железного пугала с двумя выпученными глазищами-фарами, горящими среди бела дня, с визгом отскакивали в сторону, как казалось, даже не успев испытать страх быть раздавленными.

Возможно, фары горели потому, что шофер просто забыл их выключить, а возможно, наоборот, так они посылали сигнал миру и далекому темному космосу.

Местные бездельники, от мала до велика, облепили странную штуковину и сопровождали ее, что-то выкрикивая и размахивая руками – то ли стараясь в чем-то кого-то убедить соседа, то ли чтобы разогнать чад, который с грохотом выстреливался между задними колесами.

В какой-то момент вся процессия замедлила ход, раздались громкие хлопки, выбросившие особенно черный дым, и вдруг наступила тишина.

Едкая немота улицы была быстро нарушена. Зло хлопнула дверца черного окаменевшего создания, и появился водитель. Дым все еще стоял стеной, и сквозь него прорезался хриплый низкий голос: – Холера на твои железные внутренности!

Дым почти рассеялся, и народ вздохнул с облегчением. Очевидно, они ожидали увидеть беса с рогами, а нарисовалась всего лишь недовольная физиономия слесаря Захара. Про Захара Приблуду говорили, что в его руках любой кусок железа превращается в золото. Когда в селе стало известно, что в космос был запущен «спутник» и что спутник летает вокруг Земли и посылает сигналы «пи-пи-пи», это зацепило Захара до кишок. Он заперся в своей слесарне, и через неделю весь городок пришел в восторг. Наш Захар скрестил утюг с настенными часами, и этот утюг не только гладил, но и каждый час выкрикивал три раза «ку-ку».

Начальство нашей Халоймевки, узнав про такую диковинку, немедленно послало утюг-часы в Москву на всесоюзную Выставку Достижений Народного Хозяйства. Понятное дело, что изобретение нашего Захара Приблуды стало бы лучшим, но нашелся другой народный умелец, который придумал соединить утюг с радио. И тот

утюжок дважды в день, в 6 утра и в 12 ночи, играл гимн Советского Союза.

Когда эта весть достигла Халоймевки, наши евреи сразу сказали: «Как же! Дадут еврею быть первым!». Как бы там ни было, Захар, тем не менее, получил специальную почетную грамоту «Народный рационализатор».

Такое признание на высшем уровне его, очевидно, еще больше вдохновило. Он снова заперся в своей слесарне и через несколько недель выкатил оттуда свое новое изобретение – велосипед с маленьким моторчиком между педалями, а вместо руля в стороны торчали два острых длинных крыла. Да, и еще сзади из-под сидения выглядывала закрученная трубка.

Любопытствующие, тут же окружившие новое чудо техники, никак не могли взять в толк: мотор – это еще понятно, но для чего здесь крылья? Да еще и словно в насмешку закрученная в поросячий хвост трубка! К тому же, в нашем городке некуда было лететь, разве что, с одной крыши на другую, чтобы пересечь улицу, которая во время дождя превращалась в болото...

Захара разговоры местных остряков трогали мало.

Не теряя времени, он вытащил противогаз из перекинутой через плечо темно-зеленой торбы и нахлобучил его себе на голову.

Из толпы послышался голос:

– Захар, ты думаешь, тебе в небе не хватит воздуха?

Несколько минут смешки перекатывались над площадью – кусочком асфальтированной площадки в центре Халоймевки-Холуевки, прямо напротив сельсовета, которую наш народный рационализатор избрал для испытания своего уникального аппарата, даже названия еще не имевшего. Ржание мгновенно прекратилось, когда Захар что-то крутанул под сиденьем. Раздались короткие щелчки, и из трубки вырвался розово-фиолетовый огненный столб.

Захар лихо вскочил на сиденье, как будто в лучшие свои годы служил в дивизии легендарного маршала Буденного. Он снова что-то дернул, теперь уже на руле, и оттолкнулся ногами от земли. Велосипед-аэроплан помчался по площади, разгоняя перепуганных зевак. Однако было ясно, что гипсовый бюст Ленина, который, никого не трогая, задумчиво стоял себе в центре площади, дорогу Захару не уступит. Оба были на волосок от катастрофы. Над площадью повис-

ла тишина безысходности. Все, кто там находились, в том числе, два подбежавших милиционера, так и вросли в растрескавшийся черный асфальт...

Но чудо всё-таки случилось. Удивительный аппарат, вместе с его изобретателем, подпрыгнул, перескочил через монумент и понесся над крышами и улочками нашего городка...

Вскоре на центральной площади собрался чуть ли не весь городок. Сам собой образовался митинг. Возле трибуны, принесенной из исполкома, опираясь на свой велосипед-аэроплан, стоял Захар Приблуда собственной персоной, понятно, уже без противогаза. Его молчаливое лицо сияло, и сияние это отражало радость и гордость народа.

С трибуны несся полный важности голос председателя исполкома, товарища Фарцелаке. «Теперь, – выкрикивал он, – наш городок получит, наконец, статус районного центра!... (Бурные аплодисменты). Более того, мы станем центром для всех рационализаторов нашей большой страны! (Бурные аплодисменты, прерываемые громкими криками «ура!!»).

О получении административного статуса районного центра мечтало не только начальство во главе с председателем Фарцелаке и главным бухгалтером товарищем Цедербаумом. Все жители, независимо от национальности и веры, уповали на этот жизненно важный статус как на залог лучезарного завтра. Ведь тогда этот забытый богом уголок получил бы детский сад, да и ученикам по окончании начальной школы не пришлось бы каждый день ездить за двадцать с лишним километров в среднюю школу районного центра. И на полках единственного магазина, уставленных лишь банками с березовым соком, прозванным жителями «здравствуй, Русь», появятся и другие продукты питания, и товары для дома и хозяйства, не говоря уже об одежде и обуви. Совсем уж пламенные оптимисты надеялись, что благодаря изобретению Захара в дома теперь уж точно проведут воду и даже не будут по ночам отключать электричество....

Возможно, эта мечта моих земляков исполнилась бы, ведь изобретение Захара было не только сугубо гражданского свойства, но также военно-стратегического масштаба! Ведь такими велосипедами-аэропланами можно было бы вооружить всю советскую армию!

Однако за кулисами Кремля приняли совсем другое решение: началась печально известная борьба с внутренним врагом – религией и ее проповедниками, потому что именно они сдерживали прогресс и движение к светлому завтра.

Наша администрация получила сверху прямое указание и четкие инструкции, каким именно образом нужно проводить партийные акции. Так, в один день были закрыты две церкви и единственная синагога, которая была построена сразу после войны, точнее – перестроена из полусгоревшего во время войны еврейского дома.

С одной стороны, действия власти, конечно, задевали религиозные чувства части населения, но это была небольшая, отсталая и к тому же пожилая часть. С другой стороны, в одной церкви открыли спортивную школу, в которой так нуждалась наша молодежь, в другой церкви планировали сделать планетарий, где жители нашей Халоймевки-Холуевки смогли бы вечерами ближе знакомиться с космосом и, глядя в телескоп, своими глазами убедиться, что никакого Бога не существует.

Синагога тоже не была забыта и из «места мрака» превратилась в «место света» - в детскую библиотеку, носящую имя молдавского классика Иона Крянгэ.

Разве в такое судьбоносное время было до чуда-велосипеда Захара Приблуды?! Но народного рационализатора не забыли. Точнее, о нем вспомнили, когда во время обсуждения первых итогов антирелигиозной кампании на закрытом заседании исполкома вдруг спохватились, что один пункт московской директивы все же остался торчать ни туда, ни сюда. А именно – похороны.

Чтобы похоронить покойника, будь он христианином или евреем, нужно его предать земле. До сих пор это делалось на старый манер. Христиане несли покойного в гробу, с дьяконом и священником во главе процессии. Священник, одетый в свои золотые одежды, всю дорогу до кладбища махал своим чадящим кадилом и что-то бормотал себе под нос. Большой деревянный крест, обмотанный полотенцем, в котором, качаясь, висел, белый плетеный хлеб, двигался поверх непокрытых печальных голов.

Еврейского покойника, в сопровождении скорбящих близких, друзей и соседей, везли к кладбищу на носилках, покрытых черным

покрывалом. Похороны всегда были событием. И размах похорон свидетельствовал о том, насколько важной персоной человек был при жизни.

Христианское и еврейское кладбище находились в разных концах городка. Еврейское кладбище – в восточной стороне, а христианское – в западной, потому что, как говорится в Писании, Восток с Западом никогда не сойдутся...

Захара вызвали в исполком, где он провел без малого три часа. Оказалось, что никто, кроме главбуха Цедербаума, в жизни не видел настоящего катафалка. Уже само название звучало странно, и даже устрашающе. Товарищ Цедербаум все Захару объяснил и даже художественно изобразил на бумаге диковинную машину, которую он, товарищ Цедербаум, будучи студентом, видел когда-то в румынском городе Яссы.

Так, опираясь на бухгалтерский рисунок, утвержденный председателем Фарцелаке и пятью другими членами, начал Захар свою работу. Но прежде, чем он взялся за дело, ему велели подписать бумагу «о неразглашении тайны». «Мало ли что», – решило начальство, – «враги страны в целом, и враги городка, в частности, только и ищут щель в «нашем плетне», чтобы сунуть туда свой вражеский нос. С другой стороны, лучше было пока хранить молчание, чтобы не вызвать лишних разговоров или, упаси боже, паники среди местного населения.

Времени у Захара было немного. Последние слова, с которыми его проводил к двери товарищ Фарцелаке, звенели у него в голове, придавая мужества, когда он днями и ночами сидел в заточении в главном гараже села: «Помни, Захар, покойник не может ждать!»

Через три недели Захар начал испытывать свое новое изобретение на улицах Холуевки-Халоймевки.

2

Выдохнув все ругательства на одном дыхании, как будто слова были нанизаны на колючую проволоку, наш народный изобретатель и рационализатор окинул взглядом озадаченную толпу.

– Нууу, – протянул Захар, делая широкий жест, которым матерый гармонист растягивает мех своей гармошки, – как вам нравится мое новое изобретение?

На растерянных лицах зевак отпечаталось больше вопросов, чем ответов. И вопросы посыпались:

- Это что за черная зверюга?
- Чего она рыщет здесь? Что высматривает?
- Она только ездит или еще и летает?
- Уж не новая ли это напасть на наши головы, упаси боже?

Вопросы продолжали падать на болотистую Халоймевскую землю. Они напомнили Захару ворованные недозрелые яблоки, которые он в детстве с удовольствием тряс с дерева в соседском саду, а сегодня сводившие ему челюсти своим терпко-липким вкусом. Сплюнув в сторону, Захар ответил на все вопросы коротко: «Катафалк!».

Услышав такое название, оторопевшая толпа сначала должна была его переварить.

- Ката... что? – послышался тоненький дрожащий голосок.

Захар лишь высморкался на землю и, махнув рукой, пошел продолжать свою ответственную работу – завет товарища Фарцелаке «Покойник не может ждать!» подгонял его, не позволяя терять ни минуты.

В конце недели, теперь уже организованно, был произведен «торжественный выезд катафалка на улицы Холуевки-Халоймевки». Маленькая площадь была затоплена людьми, одетыми как на первомайскую демонстрацию. Катафалк с покойником стоял прямо напротив наспех сколоченной сцены, украшенной венками. На сцене была вся администрация исполкома, а также важный гость, делигированный из районного центра. Над их головами, на двух жердях, прикрепленных по обеим сторонам сцены, колыхался транспарант с большими белыми буквами на красном фоне «Коммунизм – наша конечная цель!»

У самого края сцены на скамеечке сидела пожилая женщина в черном и с черным платком на голове. Весь городок ее знал, потому что Галина Павловна Гнатюк, вдова покойного, была учительницей нашей начальной школы.

Нужно сказать, что, пока Захар Приблуда испытывал свой катафалк, администрация села тоже не сидела сложа руки. Ведь успешную антирелигиозную кампанию надо было и закончить не абы как, не обыденно, а на высокой партийной ноте. В качестве кульминации нужно было устроить образцовые похороны на новый манер.

А для такого ответственного и торжественного мероприятия, понятное дело, требовалась и важная персона, чья биография отвечала бы всем московским инструкциям и требованиям. Обсуждались три кандидатуры тех, кого к тому моменту требовалось похоронить. Кандидатура габая синагоги сразу отпадала, конечно же, упаси боже, не потому что он был евреем. Реб Мовше, бедняга, пал жертвой антирелигиозной кампании. Он так перепугался, что не сегодня-завтра его придут арестовывать, что его хватил апоплексический удар. Месяц он пролежал прикованным к постели и прямо накануне торжественного митинга умер.

Вторая кандидатура была подходящей по всем параметрам. Это был порядочный человек, отец троих детей, почти не пил, на работе его характеризовали положительно. Но был один, но важный недостаток – он не был членом партии.

Третий кандидат, товарищ Гнатюк, имел все достоинства: коммунист ленинского призыва, то есть, с 1924 года, когда умер вождь мирового пролетариата, ветеран войны и многолетний директор автопарка. Было, правда, одно «но», которое, возможно, могло помешать тому, чтобы его имя навсегда было вписано в историю Холуевки-Халоймевки. По поводу его смерти по городку ходили «ужасные слухи». Что именно? Что умер он не в своей постели, и даже хуже – не в постели жены! К тому же, несчастье случилось не в самом городке, а в санатории, куда его послал профсоюз подлечить сердце. Человек в его возрасте и с его положением в холуевском обществе должен был вести себя прилично. Словом, нашим сплетникам было о чем посудачить.

При других обстоятельствах этот аморальный акт товарища Гнатюка, несомненно, обсуждался бы на партийном собрании, но, как сказал председатель, товарищ Фарцелаке, «покойник не может ждать!»

Торжественный митинг на центральной площади начался, и, как подчеркнул представитель районного центра, вместе с ним стартовала «новая эра в социальной жизни Холуевки-Халоймевки, в частности, и всего Советского Союза в целом». Про самого покойника начальство особенно не распространялось, только упомянуло, что товарищ Гнатюк всегда был предан своей работе и сражался за светлое завтра. К концу было подчеркнуто, что он ушел из жизни

как настоящий коммунист – «на поле брани». При этих словах вдова вздрогнула и зарыдала.

Администрация и вдова сели в катафалк, и в насыщенной печалью атмосфере Холуевки-Халоймевки раздались первые звуки траурного марша Шопена . Играл любительский духовой оркестр местного Дома культуры. Народ тяжело двинулся за черным катафалком, честь вести который доверили изобретателю Захару Приблуде.

...Жизнь в нашем городке с ее заботами пошла дальше своим чередом. «Черная зверюга», как халоймевские шутники окрестили изобретение Захара, перестала вызывать недоверие. Народ уже сжился с разного рода переменами в жизненном устройстве, который время от времени нарушался очередным приказом или директивой, «спущенной сверху».

Несмотря на такую успешную антирелигиозную кампанию, статус районного центра наш-городок так и не обрел. Поэтому жители вынуждены были и дальше влачить свое существование без особенных льгот и привелегий. Кому все это действительно сыграло на руку, так это Захару Приблуде. Он по праву был назначен директором автопарка и занял место ушедшего товарища Гнатюка. Теперь ему было не до изобретений. День и ночь он был поглощен своей новой работой. Как выяснилось, предыдущего директора автохозяйство городка заботило мало.

Кто знает, как повернулось бы колесо судьбы Захара Приблуды, если бы не так называемый израильско-арабский конфликт. Репродуктор на центральной площади в те летние дни едва не лопался от гнева и злобы. Сочетание слов «израильско-арабский» нависло над Халоймевкой, как темная туча, грозящая выстрелить градом, от которого побьются все стекла и продырявятся крыши еврейских домов. Халоймевские евреи бормотали, как в горячке: «Как же так, где мы, и где агрессор... Почему мы должны страдать из-за них?!» - слышалось с одной стороны. С другой стороны шепотом и осторожно: «Наши братья и сестры проливают кровь, а мы сидим здесь и мечтаем о светлом завтра!?»

Захар, упаси боже, глухим не был, и его уши тоже улавливали и истерические вопли репродуктора, и душно-беспомощные ссоры его земляков. А ещё он вслушивался в короткие сигналы, переме-

шанные с шумом и треском. В армии, где Захар отслужил три года радистом, ему самому приходилось выполнять такого рода работу – глушить вражеские радиоволны. Поэтому сейчас ему не трудно было найти средство, чтобы очистить голос Израиля от зловредного треска. Его новое изобретение напоминало сделанный из проволоки веник, который опускался в дымовую трубу. Халоймевские остряки снова нашли бы над чем посмеяться: «Теперь Захар скрестил антенну с веником!» Если бы только знали...

До поздней ночи, в темноте Захар сидел у своего «ящичка» и вслушивался в далекий, но от этого ставший еще более дорогим голос незнакомого диктора. Тот на идише вверял истинную правду о том, что происходит сейчас в еврейской земле. Захар поймал себя на мысли, что до сих пор его мало беспокоило, что там происходит, в этой маленькой стране, которую кучка упертых упрямец выклянчила у мира... Среди «настырных попрошаек» была и его собственная сестра Мириам. Он был еще ребенком, когда она покинула дом и отправилась с женихом, как говорил отец, «в пустыню» – строить «еврейскую страну». Захар даже не помнил ее лица. Война и собственные невзгоды вычеркнули и стерли из его памяти этот кусок жизни... Не вычеркнутым и не стертым осталось только то сокровенное, что было спрятано от злого глаза и злобных слов.

Спор между двумя сторонами Халоймевских евреев продолжался не больше и не меньше, чем шесть дней – ровно столько, сколько длился «конфликт» между пятью большими арабскими странами и маленькой еврейской страной. Потом местная суета отвлекла евреев от мировых проблем, и они снова погрузились в собственное болото. Тем не менее, репродуктор на центральной площади Холуевки-Халоймевки продолжал разрываться, посылая гром и молнии в адрес израильского агрессора, но к злобным речам даже среди нееврейского населения уже мало кто прислушивался. Более того, теперь на рынке можно было услышать: «Ты только посмотри, Мойша-то тоже может сдачи дать!»

Захар Приблуда продолжал жить обыкновенной жизнью старого холостяка, которая особого внимания односельчан не привлекала. Даже свахи на него махнули рукой: «Ай, совсем пропащий!». Действительно, Захар, как и раньше, пропадал на работе, но никому,

даже умнейшему в Халоймевке еврею, главбуху Цедербауму, не могло прийти в голову, чем это директор автопарка так занят, что пропадает на своей работе круглосуточно. Быть может, он обдумывает новое техническое чудо, которое принесет Холуевке-Халоймевке такую славу, что будет уже просто стыдно не наделить городок статусом районного центра?

Очевидно, размышляя подобным образом, главбух был прав. Но не совсем. Всей правды ни одна живая душа не должна была знать и не знала. Захар сам иногда сомневался, стоит ли вообще реализовывать его план, и не приведет ли эта затея на путь, который может окончиться очень горько. И не только для него одного, но для всех евреев городка?!

Говорят, что у тайны хромые ноги, и рано или поздно она падает в свою собственную западню. Так и случилось с нашим изобретателем и народным рационализатором. Его тайна так его захватила, что освободиться от нее Захар уже не мог. После работы, запершись в гараже автопарка, он все ночи напролет колдовал над своим новым изобретением. И день испытания настал. В последнее воскресенье лета, на рассвете, когда все жители Холуевки-Халоймевки еще смотрели прекрасные сны, из гаража выехала всем известная «черная зверюга». За рулем сидел единственный пассажир и шофер – изобретатель Захар Приблуда. Покружив по извилистым улицам родного городка, как бы прощаясь с ними, катафалк отправился не своим обычным маршрутом, а повернул на широкую дорогу, ведущую к румынской границе....

3

Два года назад, когда в Израиле отмечали 50-летие Шестидневной войны, в Доме евреев Бессарабии «Бейт-Егудей-Бессарабия» в Тель-Авиве проводилось праздничное мероприятие, посвященное этой дате. Мой друг, входивший в администрацию, пригласил меня на праздник. Он сказал, что среди почетных гостей будет и мой земляк, видная персона в израильской военной индустрии. Он уже давно на пенсии, но «такие головы» (друг сделал многозначительное лицо) на произвол судьбы не оставляют даже в весьма солидном возрасте. «Я тебя с ним познакомлю».

Мой друг назвал имя важной персоны, но в моей памяти оно

воспоминаний не вызвало. Тем не менее, во время мероприятия я напомнил моему другу о его обещании.

– Да, конечно, – спохватился он, – пойдём, я тебя представлю.

Он подвел меня к столику, за которым сидел старый худощавый еврей, и рядом с ним женщина, намного моложе его. Как вскоре выяснилось, это была его жена. Услышав, что я родился в Халоймевке, он рассмеялся и с заинтересованностью в голосе повторил:

– Халоймевка?! = А женщина бросила на нас странный взгляд, каким смотрят сабры на отсталых евреев галута.

Его полное имя было Захария Дрор, но меня он попросил называть его так, как звали в нашем городке – Захар.

– Ты не против, Диночка, – обратился он к жене, – если мы пройдем с молодым человеком на веранду? Здесь шумно...

Он довольно легко для своих лет поднялся со скамейки, так что теперь я мог видеть его в полный рост. Маленький, он был одет в легкую куртку, из-под которой, как ещё носят здесь старые кибуцники, выглядывал воротничок голубой рубашки. Коротко стриженный седой ежик волос шел его загорелому лицу, иссеченному глубокими морщинами на лбу и по обеим сторонам чуть приплюснутого носа.

Как только мы остались на веранде одни, господин Дрор торопливо вытащил из кармана пачку сигарет с зажигалкой, закурил и вместе с клубом дыма выдохнул:

– Что же вы молчите, дорогой, рассказывайте, рассказывайте, я не был в Халоймевке уже полвека!

– Халоймевки уже давно нет, – заметил я, – остался только районный центр Холуевка...

– Наконец-то! – неожиданно обрадовался он, – получили-таки долгожданный статус.

– Да, в середине 70х. Но к тому времени халоймевские евреи потихоньку начали покидать городок – молодежь перебралась в города, старики – на кладбище...

Господин Дрор нетерпеливо перебил меня:

– А памятник Ленину стоит еще на центральной площади?

По правде говоря, его интерес к скульптурному шедевру меня несколько смутил и обескуражил.

– Сейчас не знаю... В начале 80-х, когда мои родители покидали село, он еще стоял... Но почему вы об этом спрашиваете?

Старик посмотрел на меня снизу вверх, и в тот момент маленьким себя почувствовал я. Он рассмеялся:

– Еще секунда, и я столкнулся бы с вождем мирового пролетариата!.. – он закашлялся. Отдышавшись, принялся вспоминать дальше:

– Мой велосипед-аэроплан спас нас обоих ...

При последних его словах в моей памяти шевельнулась тень воспоминаний детских лет. Я осторожно спросил:

– Простите, господин Дрор, может, я не должен спрашивать... Какая прежде у вас была фамилия?

Он усмехнулся, как бы вглядываясь в себя.

– Захар Приблуда...

...В те далекие годы весть о том, что директор автопарка вдруг исчез вместе со своим великим изобретением – катафалком, вызвала в Холуевке-Халоймевке настоящий переполох. Из районного центра тут же приехала комиссия. Всех трясло – вот так дела! Ведь Захар Приблуда был не просто жителем нашего городка, но изобретателем, народным рационализатором, признанным в Москве. К тому же, он стоял во главе важного хозяйственного объекта. Можно сказать, стратегического объекта нашего хозяйства. И разве это не провокация – оставить село без катафалка?!

В исполкоме сидел человек, специально прибывший аж из Кишинева, и с раннего утра до поздней ночи допрашивал всех взрослых жителей Холуевки-Халоймевки. И хотя он был одет в штатский костюм с галстуком, все знали, кто он такой.

В те дни-слова председателя звучали уже как приговор суда: «Покойник не может ждаться!»

Обо всем этом я рассказал моему земляку на веранде Дома евреев Бессарабии и теперь надеялся услышать, что же произошло с ним после его исчезновения из городка.

– Об этой аванюре, – раздался его низкий голос, – куда лучше рассказал бы знаменитый барон Мюнхгаузен!

Господин Дрор выдержал паузу, как будто ему нужно было перелистать страницы в истрепанной книге его воспоминаний, и продолжил:

– Как вы знаете, сразу после того, как Израиль разгромил арабские войска, Советы разорвали дипломатические отношения со

страной. Более того, весь так называемый социалистический лагерь последовал за Советами, чтобы угодить московскому хозяину. Но Румыния Чаушеску отношения не разорвала. Я об этом помнил, потому что именно Румыния стала моей единственной дверкой, чтобы бежать в Израиль. Тем более, что из Халоймевки до румынской границы не дальше кошачьего прыжка. Попасть на другой берег было самым трудным пунктом моего плана. Граница, как вы знаете, проходит прямо по реке Прут. Плавать я тогда не умел и до сих пор не умею. Но я же был народным рационализатором Советского Союза! Я положился на свою смекалку, решив, что, благодаря ей я благополучно переправлюсь через реку...

В эту минуту к моему земляку подошел молодой человек, и по его внешности нетрудно было догадаться, кто он такой. Господина Дрора охраняли по сей день.

– Дорогой, – недовольно, но мягко сказал ему мой земляк, – скажи, пожалуйста, Диночке, что через несколько минут...

Молодой человек кивнул и покинул нас.

– К месту, где я планировал пересечь границу, прибыл к вечеру. Укрывшись в лесочке, я ждал полной темноты...

Прорвавшись через кордон, я приготовился форсировать реку. Тут на меня напал страх: а что, если мое изобретение не оправдает себя? У меня же не было возможности его испытать... И я въехал в реку... И, представьте себе мою радость, когда я почувствовал, что катафалк медленно поднимается над водой, как будто с четырех сторон его подняли домкратами. Это надулись специально приделанные к моей «черной зверюге» резиновые баллоны, и она, как настоящий корабль, понеслась над водой к румынскому берегу...

Господнин Дрор протянул мне руку и прибавил с юношеским жаром в глазах:

– Дальше уже не столь захватывающе, но, в любом случае, Спилбергу моя история понравилась бы, скажите, а?

Я вернулся к моему другу:

– Ну, и как тебе нравится твой земляк?

– Фантастика!

Мой друг склонился ко мне, и как раньше, когда он дал мне понять, с какого рода изобретениями связан мой земляк, тихо сказал:

– Я слышал, что господин Дрор и к «Железному куполу» тоже

свой ум приложил. И что систему даже хотели в его честь назвать «Купат Захария», но... Завистников у нас тоже хватает...

Уже позже я подумал, почему наш Захар Приблуда выбрал себе такое странное израильское имя? Ведь «дрор» на иврите означает «воробышек»... Серая птичка... И тут же спохватился: ведь «дрор» также означает желание быть свободным. Свобода!

Перевела с идиша Юлия Рец

Борис Сандлер, известный еврейский прозаик, родился в 1950 году в молдавском городе Бельцы. Был профессиональным музыкантом, а после окончания Высших литературных курсов при Литинституте им. Горького (Москва, 1981-1983), работал на молдавском телевидении, где вел программу на идише «На еврейской улице».

В 1992 году Б.Сандлер репатрируется с семьей в Израиль. Работает в Еврейском Университете (Иерусалим); возглавляет издательство «Лейвик-фарлаг» и издает единственный в мире детский журнал «Кинд-ун-кейт».

С 1998 г. по 2016 главный редактор старейшей еврейской (идиш) газеты «Форвертс».

Издав 15 книг прозы и стихов. Книги и отдельные произведения писателя переведены на русский, английский, немецкий, французский, иврит и другие языки. Лауреат ряда престижных премий в Израиле, Канаде и США.

Живет в Нью-Йорке.

Владимир СОЛОВЬЕВ

КОТ ШРЁДИНГЕРА*

Начало в № 4 (8) 2018 и № 3 (11) 2019

ПАЗЛ НАШЕГО ПРОШЛОГО: TRIANGLE AMOUREUX

...и все было общее между ними, вплоть до женщин, которыми не раз они делились по-братски. Один получал от них больше любви, другой извлекал из них больше наслаждения. Альберто де Коркороне, меньший ростом, проявлял себя пылким и чувственным; Конрадо де Коркороне, высокий, казался ласковым и мечтательным. Альберто вел себя со своими любовницами страстно, Конрадо – нежно. Поэтому любовницы Конрадо довольно быстро забывали, что он их любил, а любовницы Альберто долго помнили его любовь.

Анри де Ренье. «Необыкновенные любовники»

Вся беда в том, что хоть он и тиранил нас нещадно, к нему стали привыкать даже те, для кого он был неприемлем психологически, эстетически, физиогномически, как угодно, а не только идейно. Не то чтобы привычка – вторая натура, а с поэтическим коррективом к народной мудрости: *привычка свыше нам дана, замена счастью она.* Какое уж там счастье! А он сам был счастлив? Не те категории. Теперь, когда/если он мертв, ему не до счастья. Да и что такое счастье? На свете счастья нет, но есть покой и воля, да? У нас не было ни того,

* Эксперимент австрийского физика-теоретика, лауреата Нобелевской премии Шрёдингера показал, что с точки зрения квантовой механики кот одновременно и жив, и мертв, чего быть не может.

ни другого, ни третьего, но как мы привыкли ко всей нашей юдоли и похабели, так свыклись и с непотребной физией отмеченной богом шельмы.

– Чисто внешне, согласишься, он уже не так отвратен, как прежде – пообтесался, – выдавая собственную привычку за его постепенную метаморфозу, удивила меня жена.

– Да? А снутри? Трансформация его личности пошла в обратном порядке. Дориан Грей? Хотя красавцем никогда не был. Скорее наоборот. Вьюноша со старческим лицом. Хоть бы сделал, что ли, круговую пластическую операцию, а не только косметический ботокс да подтяжки.

– Чем тебя смущают подтяжки?

– Предпочитаю ремень.

– Все умирают со смеху.

– Легче камень рассмешить, чем тебя. Что ты нашла в этом воблоглазом карле?

– Не заводись! И вовсе не воблогазый!

– Ну, лупоглазый.

– Просто глаза слегка навькате. Не с лица воду пить. Буйство вагины – и смутный объект желания. А ты запал именно на него! Прямо заморочка. Как-то уж очень ты его не любишь. Из-за меня? Достал своей ревностью. Забей!

– Еще чего! Что я без ревности? Ноль без палочки! Ревность – мой фирменный знак.

– А мне каково?

– Лучший подарок к золотой свадьбе – сцена ревности.

– Ну, нам до нее жить и жить – и не дожить.

– Не только из-за тебя, хотя ты, наверное, первопричина, но теперь ревность без надобности.

– Как бы не так! Не лукавь хоть со мной, умоляю. Ревность у тебя хроническая, ты на ней заиклился. Съехал с катушек на почве ревности. Как ты не можешь понять, что перепих ничего не значит, чисто физический акт, туда-сюда. Как пописать, когда невтерпеж. А тебя рядом не оказалось.

– Чтобы пописать?

– Дурак!

– Я думал, ты другая, а ты как все.

– На физиологическом уровне мы все как все. Così fantutte. Базовый инстинкт. Остальное – надстройка. Туманность Андромеды. Человек – животное.

– Женщина – животное. Шлюха по определению.

– Я не шлюха, но не без шлюховатости, сам знаешь. Как и любая баба, даже фригидки и зажатые. Нет женщины, которую мужик бы не изнасиловал.

– ???

– В ее воображении. Страх и желание.

– Быть изнасилованной? Ну ты даешь!

– Или самой изнасиловать. Понарошку. Ты забыл наши игры, когда мы менялись ролями? Ты же не импотент, хотя у меня и возникли подозрения из-за твоей неадекватности. В твоей далекой юности, а в моем еще более далеком детстве.

– Для меня в тебе важнее числитель, чем знаменатель. До сих пор.

– Что не мешает нам кувыркаться в постели до одури. До сих пор.

– *Ты мир не можешь заменить, но и он тебя не может.* Только в обратном порядке.

– Ты свихнулся на цитатах.

– То есть у меня уже две навязчивые идеи – ревность и цитаты, да?

– Не скромничай – куда больше. Но главная – твой друг-враг.

– Мы его не любим не только за это.

– Мы?

– У других нет такой первопричины для нелюбви. Алаверды: это ты лукавишь. У меня есть другие причины, помимо тебя, сама знаешь. Корень зла не он сам по себе, а то, что он – это я. Представь – заглянуть в зеркало...

– ...и не увидеть никого.

– Хуже. Увидеть его вместо себя.

– Когда мы с ним вдвоем, к зеркалу было не подойти. А у тебя наоборот – ты не смотришь на себя даже когда бреешься. Сплошь порезы.

– Ненависть к зеркалам – и любовь к зеркалам.

– Что это означает согласно великому учению?

– Не иронизируй. Он влюблен в себя, а я к себе отменно равнодушен.

– Да. К зеркалу он относится как женщина – любит, прихорашивается, строит самому себе гримасы, только язык не высовывает. Великая обида была, когда мы с ним ссорились, и я сказала: «Посмотри на себя в зеркало».

– С его мордоворотом он полагает, что Аполлон?

– Представь себе! Зело нравится себе в зеркале. Отчасти благодаря тебе. Он многому от тебя поднабрался и одно время отождествлял себя с тобой. Да еще вы тезки.

– Тебе повезло. Застрахована от оговора – во сне или в сексе.

– Что в имени тебе моем? Не в имени дело. Спутать вас невозможно.

– Всё если не сложнее, то затейливее. Я стал им раньше, чем он стал собой. А потом он сделал меня своим подобием, копией, клоном.

– А не наоборот? Сначала ты клонировал его под себя. Ты был его гуру. Он подражал тебе во всем. От словечек до походки. Если бы не разница в возрасте, вы были бы как сиамские близнецы. А им зеркало не позарез, когда они могут смотреть друг в друга как в зеркало.

– Эпигон не подражает, а искажает. До неузнаваемости. Как в том фотоателе: «Пиджак мой».

– Или претворяет оригинал в реальность. Теорию в практику.

– Нет, всё-таки не гуру. Скорее ментор, наставник. Как Жуковский – будущего императора. Да только не в коня корм. Я про нашего. Он и есть император нашего Города. Хорошо хоть не страны. А от его жлобских шуточек меня всегда воротило. Помнишь, прознав про мой бурсит, обозвал бурсаком, но этим не ограничился: *Бурсаки на Волге*.

– Ты пристрастен. Не так уж и плохо.

– Ну да, Волга впадает в Каспийское море. Ему тогда было не остановиться, так был доволен собой, общучивая мою хворь: *В ногах правды нет, но правды нет и выше*. Или: *Все говно, кроме мочи* – все корчатся от смеха. А теперь попробуй не засмейся.

– Засмеют?

– Если бы. Даже его речеписцы подделываются под этот стилёк

ему в угодую. Пишут, используя его вокабулярий, типа *танцуй отсюда, болтология, финансы поют романсы* и проч. Взвесь пошлых приколов, блатной фени и мещанских идиом. Зря, что ли, говорят, что стиль – это человек.

– Было время, когда ты писал ему речи.

– Пока меня не отстранили за заумь и загогулины. Слава богу! Власть не любит, когда ее заставляют говорить на незнакомом ей языке. Ему не угодишь.

– Это тебе не угодишь! Ты его демонизируешь, расчеловечиваешь ...

– Скорее очеловечиваю, коли пытаюсь отыскать психологические корешки его пагубных для всех нас страстей. Если бы ему вовремя вколоть психоделик, может и обошлось.

– Тебя в нем раздражает всё. Даже форма.

– ... которая определяет содержание.

– А не наоборот?

– И наоборот – тоже. Главное, он превратил прошлое даже не в настоящее – в вечное. Ну ладно: с претензией на вечность.

– При чем здесь он! Это всё высокие материи. Ты сам застрял в прошлом. Что его ворошить! Кто старое помянет... Зачем усложнять себе жизнь? Прошлое пусть остается в прошлом. Его невозможно ни вернуть, ни исправить. Что было, то было и быльем поросло.

– Гвоздики вынуты, а дырочки остались.

– Господи, какой примитив эти твои ходжанасрединные притчи, а ты по ним живешь. Даром, что родом из хлебного города.

– Ты меня призываешь к забытью, к забвению, к амнезии.

– Отнюдь! Уж если Восток, то Дальний. Кинцуги.

– Опять ты со своим дзэном! Что еще такое придумали твои япошки? Что за кинцуги? С чем его едят?

– Объясняю для особо одаренных. Кинцуги – золотая заплатка, искусство реставрации керамики смесью сока уруси, лакового дерева, с золотым, серебряным или платиновым порошком.

– Какое это имеет отношение к нашим отношениям?

– Самое прямое. Ты же у нас такой любитель метафор. Кинцуги – это не просто починка, а философия. Разломы и трещины неотъемлемы от истории объекта, их надо не скрывать, а, наоборот, подчеркивать этим волшебным лаком. Эстетика и этика изъянов –

не забвение, а память о былых катаклизмах: отношения восстановлены, хотя их разрывы не забыты.

– Ну, знаешь, всей этой дзэн-буддийской премудрости учиться и учиться – и не научиться. Та трещина всегда со мной, куда от нее деться?

– Только не начинай заново: «Как ты могла?» Рефрен всей твоей жизни.

– В невозможное невозможно поверить.

– Просто ты мало упражнялся, сказала Королева.

– Я переупражнялся, а все равно непредставимо.

– И ты еще смеешь упрекать его в сексизме? Это он от тебя набрался.

– У меня на личном уровне, а у него на государственном. Женщина вправе распоряжаться своим телом как ей вздумается. Что не отменяет ревность. Помнишь, что в нашем славном отечестве творилось в мундиальные футбольные дни? Бабы сексовались с кем попадя и прилюдно, лишь бы иностранец, всё равно откуда. Наши черножопые гастарбайтеры тоже попользовались халявным товаром, кося под саудитов и прочих египтян.

– Завидуешь?

– Ты же знаешь мой принцип. Зачем получать задарма то, за что можешь заплатить.

– А за что не можешь? Не всё на продажу. Есть женщины в русских селеньях... Я, например.

– За тебя заплачено впрок. Тебе, вижу, близок мундиальный лозунг «Долой стыд!» Когда наши бабы ходили ё*ые-переё*ые, зато мужики устроили охоту на блядовитых ведьм, изменяющих им с гостями. О эти мундиальные страсти-мордасти! Вот когда в Городе произошел идеологический разлом по гендерной линии. И он подключился тут как тут со своим вотчинным сознанием на патриархальной основе. Сексист-почвенник. Не сексист, а маскулин. Он превратил наш Город в мужское государство.

– Скорее мизогин. Не жалуется баб, а только пользуется ими, чтобы не потерять сноровку.

– Зря боится. Невозможно разучиться кататься на велосипеде. То же с сексом.

– Секс никогда не входил в число его приоритетов.

– Тебе виднее.
– Ни секс, ни гульба, ни бухло. Ни-ни.
– Ну да: зато не пьет, в отличие от предшественников. Как и «зато не антисемит» – минусовый отсчет. Любое мое предложение жахнуть – наотрез. Трезвенник. Жаль, что не девственник. Если бы ты его не совратила, так бы и остался девушкой. Целомудренник! А чего он ополчился на онанизм? Подключил не только своих пропагандонов, но и церковь, которая у него под каблуком с тех пор, как добился автокефалии от московской епархии и возвратился к ритуальной обрядности. Запретить дрочку – и всех делов!

– Утрируешь. Это была не запретительная, а разъяснительная кампания – о вреде мастурбации в школьном возрасте.

– Вред? Скорее польза. Всё лучше, чем блядство. Это была кампания противу естества.

– А блядство не естество?

– Для кого как. Замнем для ясности.

– Онанизм онанизму рознь. Больше всего его раздражало девичье рукоблудие, о котором он по своей подростковой сексуальной наивности даже не подозревал. И не только. Минет представлял только женский, хотя и к нему относился негативно.

– Ты пыталась?

– Дурак! Он бы решил, что я хочу откусить его мужское достоинство. Если он даже щекотки боится. А чтобы самому просунуть голову промеж женских лягвей? Это значило уронить мужское достоинство. Да и никакой потребности. Это у тебя культ вагины.

– Не вообще, а только твоей.

– Тогда при чем здесь мундиаль?

– Именно тогда он утвердился в своем мизогинизме, воспринимая коллективную измену женщин как лично себе. Измена в обоим смысле. Пошел наперекор генеральной линии, потому как вся страна во главе с нацлидером была в гульбе и веселии. Что любопытно, никто его сверху не одернул.

– Ты все склоняешь к политике.

– Не я, а он. Почему он так испугался, что даже церковь натравил на баб за то, что сношаются с иностранцами? Порча нравов? Страх, что Город возглавит мировой секс-туризм? Чистота генофонда, что у бастардов будут мундиалевидные глаза? В противоположность

той аптекарше, что продавала в Городе проколотые презики, чтобы улучшить нашу породу за счет чужеземцев? Породу не улучшила, зато гости благодаря ей кое-что увезли из Города – от сифилиса до ВИЧ. А наш с тобой приятель положил на мораль и евгенику. Право выбора, пусть пока что на интимном уровне – вот чего он испугался. Он за себя испугался, за свою власть над Городом. Наташи, ксении, лисистраты выбрали свободу, зато мужики остались ему верны, не выдержав половой конкуренции. Ну да, демографическая дихотомия – янь и инь, анима и анимус. Наши девы и дамы опьянели от одного глотка свободы.

– Это был крик души.

– Скорее вскрик души. Ну выкрик души. Хотя при чем здесь душа? Куда более осязаемый женский орган. Вот вы и вывели секс из запретной зоны. Обрели влагилицную свободу, а значит и остальную.

– А не так, что с нас было довольно сексуальной вольницы?

– По любому, вы первыми почувствовали сладостный вкус свободы. Если секс больше не запрещенка, то и прочие табу под вопросом. Вот откуда его панический страх. Почаще бы такие мундиали – и рухнули все скрепы, им возведенные, и погребли его под собой. Увы, цирк уехал, а клоуны остались.

– А как насчет твоих личных скреп? Свобода всем бабам, кроме моей?

– Если бы ты была моей!

– Сам же нас и свел.

– Не свел, а познакомил. На свою беду. Откуда мне знать, что вы снюхаетесь. Не углядел. Ты всегда обращалась с ним пренебрежительно, обзывала деревенщиной, удивлялась моей с ним дружбе.

– И сейчас удивляюсь. Алаверды: что ты в нем нашел?

– Моя ставка в высокой игре. Мой проект, в котором ему была отведена главная, но подчиненная роль. Он вышел из-под контроля.

– Он не проект, а человек. А ты с ним общался и обращался, как со своей тенью. Вот тень и взбунтовалась – старая история. Ты преувеличил свои возможности и преуменьшил его.

– Он казался мне Галатеей.

– Скорее Буратино, который оказался умнее папы Карло, коли ты даже не догадывался о его уме.

– Не умнее, а хитрее. Коварнее. Убогий Сталин переиграл умника Троцкого. Так и он: не тот, за кого себя выдавал.

– За кого ты его принимал.

– Пусть так. Роковая моя ошибка, что он замутил этот проект. Несу прямую ответственность за то, что со всеми нами стряслось. Вот мы и сидим в одной лодке, которую он умоляет не раскачивать. А впереди – на одной скамье подсудимых.

– На том свете? Может, хватит виноватиться. Опять твой Jewish guilt?

– Хватит меня тыкать в мое еврейство! Моя вина в моем недо-расчете. Я в нем круто ошибся. А что ты в нем нашла?

– Опять за свое! Ты так до сих пор не понял, что для секса совсем не нужна взаимная симпатия, как у нас с тобой. Мне нужен был мужик...

– А ему баба?

– Ему тоже нужен был мужик.

– В смысле?

– Не в голубом. Хотя не исключено. Ему нужен был ты. Это был его Эдипов бунт против тебя.

– Эдипов?

– Ну да! Ты был не ментором и не наставником, а отцовской фигурой.

– А ты Иокастой? Бред.

– Бред. Потому что не один к одному. Какая из меня Иокаста? Мы с ним ровесники. Но я была твоей девушкой. А он ревновал. Не сразу дошло, что он ревнует не меня, а тебя. Вы с ним как братья. Хоть и не совсем родные – вполовину. Вот только не знаю, единоутробные или единокровные. А как неразлучны, ходили парой, даже я побоку, отошла на задний план, третья лишняя в вашей компании. Как только ни изгалялась, чтобы привлечь ваше внимание. Завтрак на траве – в смысле устраивала для вас стриптиз. На тебя действовало, на него – нет. Я ревновала тебя к нему, и он ревновал тебя. Ко мне.

– И пошел на опережение?

– Кто о чем! Это твои тараканы, кто из вас первый. Копеечные претензии на право первой ночи. А ему фиолетово. Как и мне. Если и пошел на опережение, то опять-таки ради тебя. Мы с ним

были равнодушны друг к другу. Не то чтобы нулевой темперамент, но без божества, без вдохновенья – и без воображения. Автомат. Не только без страсти, но и без похоти, которая есть мука, как у нас с тобой.

– У нас? Не бери меня в свою компанию. Если бы я дал волю похоти, то подзалетел бы в тюрюгу за совращение младенца. Похоть – это ваша привилегия. Любой из вас.

*Вот дама. Взглянешь – добродетель, лед,
Сказать двусмысленности не позволит,
А в чувственных страстях своих буйна,
Как самка соболя или кобыла.
И так все женщины наперечет:
Наполовину – как бы божьи твари,
Наполовину же – потемки, ад,
Кентавры, серный пламень преисподней,
Ожоги, немощь, пагуба, конец!
Тьфу, тьфу, тьфу!*

– А хотя бы и так! С меня и взятки гладки, коли согласно твоему мизогину – мужелюбу, я – кентавра. Только, знаешь, похоть тоже нельзя сводить к физиологии. О, это сладкое слово е**я, как сказал сам знаешь кто. По мне, нет ничего слаще. В полной отключке, гипноз, магия, вертиго. Для меня секс – танец, а для него – спорт. Профилактики ради. Не поверишь, поцелуи не признает. Есть специальный термин...

– Филемафоб. Слюну бережет?

– Не уверена, что она у него в достаточном количестве.

– А ты пыталась?

– А то нет! Тем более всякие там ласки, нежности и прочие касания. Не только сам не ласкает, но и себя не дает. Щекотно, говорит. Боится щекотки, как целка. Недотрога. На все мои попытки – «К делу» говорит. Полная тебе противоположность. В постельных делах вы с ним антиподы. Ты меня всю зацеловывал, живого места не оставлял. У меня там пожар, вся дрожу от жажды и нетерпения, а у тебя всё еще увертюра. Сам знаешь, я иногда кончаю еще до того, как ты в меняходишь. А у него чистая еб**а, без примесей. Чтобы

его сподвинуть на дело, надо очень расстараться. Зато потом – как отбойный молоток.

– Постель была растеряна, и ты была расстелена.

– Фу, пошлость!

– А оригинал не пошлость?

– Откуда мне знать? У меня нет этого в опыте. Даже если пошлость, то у тебя пошлость в квадрате. Чудовищная пошлость.

– Пошлость – смазочное вещество в отношениях между людьми.

– Если ты о сексе, то мне эта смазка не позарез.

– Так это ты его совратила, а не он тебя?

– Даже если! Его, тебя – разве в этом дело? Он весь в комплексах, как в соплях – сызмала. С сексом тоже не всё в порядке. Я под ним по несколько раз кончала, а однажды так обессилела, что заснула. Он отвалил, так и не кончив. У него с оргазмом проблемы. Недостаток воображения? Или недостаток спермы? Как и слюны. Эрекция есть, а оргазма нет.

– Анаспермия?

– Не совсем. Скорее аноргазмия, я узнавала. Не то что ты! Я от тебя боялась подзалететь, а не от него. Знаешь, ему трудно сосредоточиться на сексе, а тем более на партнерше. Он со мной и не со мной. Где его мысли витают?

– Безлюбый?

– Нет, почему? Еще как любый – он любит власть. Вот почему ему не до баб. Не до чего. Целеустремленный, без никаких отвлекоев. Аскет. Ему бы не в губерны, а в монахи, но не рядовым иноком, а настоятелем. Не пьет, не курит, не куролесит, не дебоширит, не блядует. Упоротый.

– Не женолюб, а властолюб. Вот на чем он отрывается. А коли так, однолюб. Как я. *Душа влюбленного живет в чужом теле.* Моя – в твоём.

– Любовью ты называешь ревность?

– Не обо мне речь. Я хоть и заиклился на тебе, круг моих интересов тобой неограничен. А он как еж.

– В смысле?

– Лиса и еж. Лиса знает много, а еж одно – но важное. Архилох с подачи сэра Исайи. Лиса – всё волновало нежный ум, еж – одна, но пламенная страсть. Она у него сбылась.

– А ты не упоротый, как еж?

– На тебе?

– На нем!

– Скорее всё-таки лиса.

– Лиса Патрикеевна, – и легко поцеловала меня.

– Я – экстраверт. А он интроверт. Витает в облаках, парит над землей, полный отрыв от реальности. Он слишком поглощен собой и уже не знает, что можно и что нельзя. Не повзрослел с детства. Пацанская психология со всеми вытекающими последствиями. Вот и ростом не вышел.

– *Я при жизни был рослым и стройным...*

– Те, кто ставит себе памятники при жизни, не дождутся памятников после смерти. Потому и сооружают себе прижизненные. А крошка Цахес вживую, когда обувает ортопедические котурны на десятисантиметровой подошве. Не ботинки, а сапоги до колен, что заметно невооруженным глазом когда вблизи. Ходить на котурнах ему неудобно, отсюда – походка уточкой. А всё равно на любой международной встрече крошка Цахес остаётся крошкой. Иное дело у себя дома. Здесь ему подбирают малорослую публику, чтобы вровень с ним. Вот причина, по которой я не попадал в кадр, а не опала, которой тогда еще не было. В любом случае, я предпочитал оставаться в тени, хоть меня из нее вытаскивали его враги, как серого кардинала.

– Не кичись, что выше его. Маленький человек, зато с большими желаниями.

– Он не маленький, а мелкий. Мизерный. И его желания суетны. Человек из своего сна о самом себе, хотя он не помнит своих снов. Тот редкий случай, когда сны сбываются наяву и больше не снятся во сне. Он всё еще не уверен, что проснулся. Взрослый подросток. Как у Достоевского в «Подростке», лучший его роман. А наш подросток всё еще что-то доказывает не только другим, но самому себе. Ты тоже была ему нужна не сама по себе, а как доказательство. Сбылось несбывшееся, а он всё никак не может поверить, что сказка стала былью.

– Не стала. Сам знаешь, он мечтал о большем. Стать властелином страны, а его власть ограничена Городом. Это входило и в твои планы. Это ты ему внушил страсть к власти. Когда всё остальное по

барабану. Баб включая. Потому, наверное, он такой долг**б. Механический акт. А мне тогда в самый раз. Опыт незабываемый. Как с негром.

– Ты пробовала?

– С негром? Нет, конечно, к сожалению, но представляю. Где у нас негра сыскать? Разве что в мундиальные дни. Он – русский негр. Не размер – когда не играет, а когда играет роль, а вот это его безостановочное туда-сюда движение. Перпетуум-мобиле. Не забудь упомянуть в своем байопике – это многое в нем объясняет.

– *И знал лишь Бог седобородый, что эти животные – разной породы.*

– Вот-вот! Он марафонец, а ты спринтер.

– Зато ежедневные соития, а то и несколько, когда дорвусь.

– И каждый раз отваливаешь в малую смерть. После таких молниеносных соитий я себя ... в ванной.

– Его уд ты предпочитаешь моему?

– Не твой и не его.

– Значит, был еще третий? Проговорилась!

– Был, не был. Не подлавливай меня. А воображение на что? Почему не представить идеальное соитие?

– Ну и чей уд ближе к идеалу?

– У тебя родной, а у него чужой. Завоевательный. Он даже входил в меня резко, грубо, как насильник. В сексе не наслаждается, а самоутверждается. Ты более эгоистичен. Или естествен? Принцип собственного удовольствия, на партнершу плевать. А он гордится своими марафонами и ждет хвалы. Мои истошные крики воспринимал как признание его половых заслуг. Сам ни звука. Когда я ему сказала, что у других эта процедура занимает пять-десять минут, «Тогда не стоит и начинать», сказал он и в качестве примера привел олимпийцев – сиблингов Зевса с Герой.

– Инцест!

– Да хоть и инцест. Что с того? Что ты имеешь против инцеста? Наоборот, было бы странно, неестественно, если бы брат и сестра обошлись без интима? Хотя бы из любопытства. А потом из удовольствия и по привычке. Да и комфортно – зачем ходить далёко, когда рядом, рукой подать, без проблем.

– А как у тебя с братом?

– Снова меня поддавливаешь? Хотя если Зевсу с Герой можно, то почему не простым смертным? Знаешь, сколько длилось их первое соитие?

– Со свечой не стоял.

– Триста лет!

– У них времени немерено. А тебе, вижу, есть что вспомнить.

– Если я вышла бы за него, вспоминала бы тебя. А его жалко. С детства все третировали, тебя включая. Как ты не понимаешь, твое покровительство унижало его. Покровительство как род собственности. Как и со мной. Но мы с тобой выравняем всё в постели. А у него никакой разрядки. Всё на моих глазах. Да, он ревновал. Но не меня к тебе, а тебя ко мне. Может и голубой. На латентном уровне. Или на самом деле? Тебе лучше знать.

– Были поползновения.

– С его или с твоей стороны?

– Совсем, да? Хочешь знать, его латентный гомосексуализм – следствие его нарциссизма. Он хотел не меня, а себе подобного. Гендерно.

– И ты ему не дал? Какой жестоковыйный. Я же дала вам обоим. Он бы тебя оттрахал за будь здоров, ты остался бы доволен.

– Как ты?

– Как я. Продолжительные отношения с ним невозможны потому хотя бы, что ему не до секса, но для полового разнообразия – вполне. По мне, секс хорош сам по себе, всё равно какой и всё равно с кем. В юности такой напруг плоти, что не до партнера. Анонимный секс.

– Для кого как.

– А почему ты ему не дал? Ему нужен был ты, а не я. Тогда я ему и даром не нужна была.

– Ты и так ему даром досталась. Это я за тебя калым заплатил и продолжаю выплачивать. Халявщик.

– А я, боюсь, потеряла бы обоих. Говорят, после такого опыта мужики глаз воротят от баб. Лучше нет влагилица... и всё такое. Зато вся история Города пошла бы другим путем, если бы ты ему дал. Что тебе стоило? Жаль, что он тебя не уболтал, не соблазнил, не изнасиловал. Помнишь поговорку: если насилия не избежать, расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие. Оттрахав тебя, он оставил

бы Город в покое. Ты мог спасти Город, а теперь и всю страну. Нет, не шучу. Сам говорил про нос Клеопатры и песчинку в мочеточнике Кромвеля. Здесь та же случайность, но покруче. Зачем ему нас тиранишь, если бы он излечился благодаря тебе от своих комплексов.

– Бедный обиженка! Вот я и говорю: ты – Иокаста. Если я был отцовской фигурой, ты – материнской. Крошка сын к отцу пришел, а потом к маме. Крошка Тохес тебе жаловался на Папу Карло?

– А то! Сладость предательства? Или отмщения? Реванш? Это по твоей части отслеживать корешки. Да, обиженка. Он состоит из одних обид, с рождения, из больших и малых, одна горше другой, из прошлых, настоящих и будущих – впрок. Количество обид перешло в качество, вот он и взбунтовался. Его главный стимул – Обида. С большой буквы. А у тебя всё от головы. Как и у твоего Фрейда. Со мной, с ним. Рацио – никудышный ключ к иррациональному. Ты не берешь в расчет инстинкты.

– Тьмы низких истин мне дороже ...

– Вот и живи со своим возвышающим обманом. С широко закрытыми глазами.

– Поднимите мне веки...

Пазл ее прошлого, но некоторых фрагментов не хватает. Пазл нашего совместного прошлого. Пазл их прошлого, где меня нет. Кругами – то приближаясь к разгадке, то удаляясь от нее. Или я топчусь на месте? Разгадать можно загадку, а тайна так и останется за семью печатями. Если она есть. Даже если нет – на тайны, ни загадки. Ну да, сфинкс.

*...И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.*

Этот наш с ней семейный треп без начала и без конца мы ведем всю нашу жизнь с тех пор как я женился на ней с начинкой незнамо от кого. Тогда незнамо. Она сама не знала. Или говорила, что не знала?

Такова наша с ней история. Не вся. Всю я еще не знаю. А теперь

наша с ним. Friendversary: без малого четверть века. Хотя обе эти истории переплетаются, вклиниваются друг в друга. До известной поры – на начальном этапе. Нас с ним объединяет не только одна вагина. Нечто большее.

Был грех. Это я сотворил его из полена. Папа Карло и есть. А потом привел к власти.

А кто его убил?

Если он убит.

ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ

*...чиновник нельзя сказать, чтобы очень, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что называется геморроидальным...
Что ж делать! виноват петербургский климат.*

Гоголь. «Шинель»

Я скучал по девочкам, особенно по одной, старшей, скучал физически – я ложился на ее кровать, и член у меня мгновенно упирался в потолок. Гипербола, конечно, но ее власть надо мной была безгранична, даже на расстоянии. Особенно на расстоянии, когда эрекция в ее отсутствие сопровождалась не мастурбацией, а слезами: подушка мокрая, а простыни сухие. Хотя в промежутках у нас всё чаще случались испепеляющие ссоры на ровном месте. На ровном? Когда как. Не то чтобы она по нему тосковала, но не включая нарцистический зомбоящик для одного телезрителя, понятно кого, была телепатически или инстинктивно прозомбирована патриотической идеологией, а та, начавшись в нашем имперском Городе, распространялась по всей стране как лесной пожар. Причем, либерасты, с которыми я был мысленно, но не вслух ввиду моей неслиянности и неприязни к любого рода групповухе, упрекали в этом политическом пожаре на грани войны не только его самого и его мразных-нарванашистов, но и меня – что я первым поднес горящую спичку к идеологически разоруженной, опустошенной и растерянной нации после коллапса коммунизма и всей страны.

– С каких это пор родина и патриотизм стали бранными словами? – сказала она.

– А ты не путаешь родину с террариумом, который он создал в Городе, изолировав нас от мира?

– Это, наконец, оскорбительно! Быть русским – не значит думать, как он.

На мое, хоть и не мое «последнее убежище негодяев», получил от нее под дых:

– Почему ты поддерживаешь израильский национализм, а русский – нет? Если, конечно, снять табу с еврейской темы. Секта неприкасаемых!

Нет, конечно, она не принадлежала к серийным антисемитам, но и я не был стереотипным евреем, мальчиком для битья, опережая юдоедов самокритикой, присущей нашему народу как никому другому. В том числе, в адрес Израиля, хотя, конечно, я не self-hating Jew, еще один довольно распространенный еврейский архетип.

– Whataboutism^{**}: а у вас негров линчуют, – сказал я.

– Зачем засорять русский язык американизмами, когда можно по-русски?

– Например?

– Чья бы корова мычала...

– Да, – согласился я. – А при чем здесь Израиль и при чем здесь я? Я живу здесь, а не там. И потом есть разница: израильтяне отстаивают само право на существование.

– Как и русские, – возразила она. – После распада Советского Союза где гарантия, что сохранится то, что от него осталось? И то, что ты называешь оборонным сознанием, – не выдумка, а самая что ни на есть реальность. Россия окружена врагами, НАТО вплотную подступает к нашим границам, русофобов в мире в разы больше, чем антисемитов.

– Ты считала?

– И считать не нужно. Неужели ты не видишь, что творится в мире!

– Это не русофобия, а россиефобия. Ты путаешь причину со

^{**} Иронический термин, введённый для описания пропагандистской тактики, основанной на логической ошибке tu quoque (с лат. — "И ты тоже").

следствием: Россия сама создает себе врагов. А наш Губер особенно в этом преуспел. Вот тебе цитата: *«Народ всегда может быть приведен к послушанию. Это просто: надо только сказать ему, что на него нападают. И при этом обвинить нацифистов в отсутствии патриотизма и в том, что они подвергают страну опасности. Это срабатывает в любой стране»*. Это из тюремного интервью Германа Геринга психологу Густаву Гилберту. Если бы Губер не схапал Нарву, а нацидлер – Крым, если бы сначала Город, а вослед страна не забилась в патриотической истерике...

– У вас нет чувства родины.

– У нас? Я такой же русский, как ты, а по знанию и чувству России в разы больше, чем вся эта шайка квасных патриотов-службистов.

– Не лови меня на слове. Да, у вас. У тебя и твоих заединщиков. Иначе ты бы понимал, что назад пути нет: с Нарвой, как и с Крымом, поставлена окончательная точка в долгой истории.

– Окончательная? Окончательных точек в истории не бывает.

– Победителей не судят.

– При их жизни.

– А как же волеизъявление русского по преимуществу населения этих административных единиц, ты вроде бы демократ, да? Это защита русского мира, где бы он не находился. В наших бывших республиках нас за людей не считают, Унтерменш, недочеловеки, второй сорт, на русском языке табу, дискриминация при поступлении в вузы и на работу, скоро дойдет до русских сегрегаций и гетто. А там и до погромов. Ты этого хочешь?

– Погрома жаждущий еврей, – попытался отшутиться я.

Не тут-то было.

– Тебе нет дела до России. Ты ее ненавидишь. Сброд, чернь, плебс, охлос, быдло, орда – вот что для тебя русский народ.

– О каком народе ты говоришь? Его столько раз вырезали под корень – от коллективизации до войны. Все сословия пошли под нож – дворянство, купечество, крестьянство, офицерство, поповство, интеллигенция, вплоть до партийных умников, которых Сталин уничтожил.

– Туда им и дорога! – Ленина с Троцким она почему-то ненавидела в разы сильнее, чем Сталина и его тонкошеих вождей. Это

был наш старый с ней спор, а потому – мимо: повторы сокращают жизнь.

– А сколько русских подались за бугор, спасая шкуру? Да хоть по экономическим причинам.

– Когда это было!

– По сю пору – теперь из-за негативной селекции. *Черт догадал меня родиться в России с душой и с талантом!* Вместе с родоначальником это могли бы сказать 40 миллионов человек, которые сбежали из гиблой России в последние десятилетия. Дело не только в количестве, но и в качестве: кто уехал – и кто остался. А тебе не кажется, что кто-то там на самом верху заинтересован в этих качественных отвалах? Быдлом легче манипулировать. Нет больше никакого русского народа – одно только народонаселение.

– 147 миллионов – народонаселение, по-твоему?

– Ты веришь этим мифическим цифрам? Самая большая государственная тайна – сколько нас в России осталось.

– Сколько? Ты считал?

– Зачем я? Без меня считано-пересчитано, а у меня до недавнего времени был доступ. Вот, например, Екатерина Улитина, знаешь такую?

– Первый раз слышу.

– Юная сотрудница Аналитического Центра ЗАГСа, а там самый точный учет – свидетельства о смерти, свидетельства о рождении и прочее. По неопытности разгласила численность нашего населения на 1 июня 2010 года: 89 миллионов 654 тысячи 325 человек. Кромешный скандал в Клошмерле. Совпадает с поправкой на убыль населения с данными ЦРУ – The World FactBook насчитывает к середине 2011 года 88 миллионов россиян.

– Ты веришь ЦРУ?

– Я не верю Росстату, который снабжает нас фейковой информацией. Знаешь, как проводится перепись населения? Это уже не ЦРУ, а твой муж, когда был еще у дел, лично наблюдал. Ко мне две девчухи прорвались с жалобами – одна насчитала в своих домах шесть с половиной тысяч, ей сказали округлить до 10 тысяч, а у которой было чуть больше восьми тысяч, поставили 12 тысяч. Я отправился к our mutual friend, тогда еще допуск к телу для своих был сравнительно прост. *«Циркуляр из Центра, – подтвердил он.*

– А что тебя смущает? Для пользы дела. Кто будет считаться со страной, население которой меньше, чем в Турции или в Иране, и неуклонно снижается, а у тех наоборот?» Легко догадаться, что с тех пор народу у нас не прибавилось – с учетом смертности, которая превышает рождаемость, и оттока за бугор.

– А сколько теперь?

– Сколько кого?

– Не въезжаю.

– Россиян или русских? Кто тебя интересует?

– Сам знаешь.

– Не вдаваясь в подробности, есть еще подсчет по потреблению хлеба. Годовая убыль населения – один миллион сто тысяч. Все подсчеты сходятся на восьмидесяти миллионах, плюс-минус. Одна из причин – поголовное вымирание большинства деревень, сел и малых городов в Центральной России, по эту сторону Урала. Ландшафт как после Сталинградской битвы. По темпам депопуляции Россия – абсолютный рекордсмен – 222-е место среди 230 государств. А критическая цифра, чтобы удержать такую территорию – семьдесят миллионов. Дальнейшая дезинтеграция России неизбежна: Сибирь и Дальний Восток отойдут к Китаю и Японии, на Кавказе и в Центральной Азии русских вытеснят туземцы.

– Так сколько русских?

– Коли ты настаиваешь, из восьмидесяти миллионов россиян – пятьдесят миллионов русских. Остальные – мусульмане. В столице они составляют большинство, у нас в Городе – около половины. Лет через десять-пятнадцать Россия станет по преимуществу мусульманской страной с низкоинтеллектуальным, а то и просто неграмотным населением. Да, демографическая деградация титульной нации.

– И тебе не стыдно?

– Мне-то за что?

– За то, что ты коллекционируешь и смакуешь все эти ужасные данные и предсказания. Садист!

– Скорее мазохист. Это и меня касается, хучь еврей, но не всякий. А за нострадамствование извини, конечно. Тем более, аппроксимировать эти данные за горизонт моей жизни не берусь. *Из вас двоих умнее тот, кто без другого проживёт.*

– Опять твой Шекспир?

– Язык тот же, но автор другой: Роберт Бернс.

– Аппроксимировать, – передразнила она.

– Именно. Помнишь нашего гида в Испании с шикарнейшей фамилией Хидальго, хоть и вырожденец лицом и телом, как и положено дворянам с их внутриклановыми браками. Он решил выправить дело и женился на марокканке, принял ислам, лишился крайней плоти...

– Ну да. Он еще пустил по автобусу несколько семейных фоток: малорослые, простоватые хидальги и рослые амбалы с квадратными будками из его марокканской родни.

– Крутой замес, что говорить. Но он теперь постулирует свой опыт всей стране. Испания обречена на вымирание. Только мигранты спасут страну от демографической ямы. «Ассимиляция? – спросил я. – Последний шанс муслимов?» – спросил я.

– И что он ответил? Я тогда в окно глядела, чтоб только не слушать весь этот бред.

– Почему бред? – это я тебе. «Почему муслимов?» – это он мне об ассимиляции. И дальше как по-писаному. Ислам – самая молодая, самая живая, самая энергичная и быстрорастущая религия. А дороги в церковь по всей Европе заросли травой. Даже на воскресную мессу не ходят, браки сплошь гражданские, детей, когда они изредка рождаются, и тех не крестят. Христианство давно выветрилось – и как религия и как идеология. Отказаться де юре, от чего давно отказались де факто – да никаких проблем! Как в смешанных браках – отступников среди мусульман нет и не может быть по определению, зато христиан-обрезанцев – пруд пруди.

– Ты фаталист?

– Фаталист он, сам признался. Я – реалист. Об исламизации Европы и ассимиляции христиан говорит как о *fait accompli*, хотя в Испании, которая много столетий была под маврами и под игом, такого рода предсказания выглядят *déjà vu*. Испания как раз и была до реконкисты той самой Еврабией, которой предстоит теперь стать всей Европе. Пока христиане не отвоевали у мавров Пиренейский полуостров, превратив Испанию в Безарабию (а заодно и Безевреию). Просьба к Аллаху о возвращении потерянной Избилии, как арабы называли Испанию (а евреи Сефардом), рутинно входит в

молитвы правоверных до сих пор. Мечта о реванше? Современные исламисты возлагают на Испанию особые надежды – как на ахиллесову пятау Европы.

– А при чем здесь Россия?

– Для оптимистической параллели. Как у испанцев не всё еще потеряно согласно Хидальго, так и у русских, к коим, если не выражаешь, причисляю и себя. Ибо когда мусульмане начнут массово замещать русских мужиков в вагинах русских баб, то следует ожидать демографический взрыв. Но это будет уже не РФ, а халифат «б. Россия». Или Новая Орда. Орда не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле.

Куда, бля, делась русска нация?

Не вижу русского в лицо

– А я? – заплакала она. – Я – русский народ.

– В единственном числе, если не считать меня как еврея.

– Лучше бы я вышла за него!

– Поздно. Он женат на России. Хоть и не любят друг друга, но делают вид. Вот кто настоящий русофоб! Он не ставит народ ни в грош, хоть и ставит на него: поведется или не поведется на его патриотические слоганы? А в перспективе – пушечное мясо.

Хлопок двери. Поминай как звали. На пару часов? Несколько дней? Только в одном я мог быть уверен: не к нему она сбежала. Да и кто бы ее допустил к его превосходительству?

Даже по этим ссорам-скандалам с взаимными оскорблениями, хлопаньем дверей и убеганьям из дома, когда я сходил с ума, беспокоясь, нервничая, ревнуя, я теперь скучал в опустелом мире, не представляя нашу с ней жизнь без них. Ссорные часы, ссорные дни, ссорные недели, но ночная кукушка перекричит дневную, хотя страсть меня и похоть ее настигали необязательно в ночное время. Ублажив друг друга, мы разлеплялись и возвращались к индивидуальному существованию и нашему противоборству. Если бы мы вовремя умотали, наши контроверзы в режиме «любовь-ненависть» продолжались бы за пределами не только Города, но и любезного отечества. Позади всадника усаживается его печаль. Моя печаль всегда со мной – впереди всадника. Если бы не та поездка в Нарву!

Да, ревность по моей части, он прав. Что меня больше тогда цепляло – кто был синьором и воспользовался тогда в Нарве правом первой ночи – или кто был отцом этих близняшек? Чтобы это совпало? С первого раза не беременеют? А как же *дела вдаль не отлагая, с первой ночи понесла?* «Так то в сказке, – смеялась она. – Нет, не с первого раза, не со второго, не с третьего, не с десятого». – «А с какого?» – не унимался ее муж спустя. И спустя годы она мне сказала, что знала, когда и от кого. Почувствовала, когда забеременела. В самый момент зачатия. Она сразу поняла. Ни с чем не сравнимое чувство. Точнее, предчувствие. Выходит, зря мы отправляли слюну на анализ? «А почему не сказала?» – «Ну, какие-то сомнения всё-таки оставались. Это же первый раз. Потом, когда...» – Все ее последующие, от меня, беременности кончались абортами. Она считала, что отдала двойной долг природе, с нее хватит. Я не настаивал – с меня было довольно моей любви к ней, не хотел делить свою любовь ни с кем боле, даже с единокровными отпрысками. Хотя как знать? Снова девочку, но похожую на нее, а не на меня. Непременное условие. Что теперь говорить...

А тогда мы ждали результата и продолжали наши игры, переведа их в словесный регистр: что если один из этих младенцев с бегающими глазками был моим детенышем, а другой – его? Был прецедент: Леда снесла четыре яйца – два от мужа и два от лебедя.

– Два мальчика и две девочки. Тогда как у нас... – не договаривал наш будущий градоначальник, брезгливо глядя на распеленутых младенцев. Не оттуда ли пошла его мизогиния? – Мне по фигу, чьи эти девицы. Но если мои, вам придется развестись, а мне жениться.

Само собой, мы с ней женились, как только узнали о ее беременности.

– Это еще почему? – спросил я.

– Никто тебя не заставляет, – обиделась юная мама.

– После того, что случилось, как порядочный человек... – попытался он снять напряжение анекдотом.

– Я за тебя не пойду, я тебя не люблю, – сказала она. – Даже если разведусь.

– А кого ты любишь? – спросил он. И примирительно: – Любовь в браке необязательна.

– А зачем разводиться? – встревожился законный муж. – Какая разница?

В самом деле, без разницы – для меня. Пусть даже она никого не любила, была безлюбой, все силы истратив на секс, Венера без Эроса, но его она не любила больше, чем не любила меня, и мне казалось, что одной моей любви хватит на нас обоих. Хватило? Да, жить она предпочитала со мной, а трахаться? Продолжали ли они встречаться после того, как мы поженились? Вопрос волнительный, но все-таки маргинальный по сравнению с главным, который кошмарил мне жизнь: кто был ее первым? Кого она первым..?

Жуть неизжитого прошлого. Проклятая память, которая прошлое делает настоящим, как будто то, что случилось, продолжает происходить и происходит прямо сейчас. А что говорить...

Когда пришел ответ, мы решили в него не заглядывать и положили конверт в банк. Ей, понятно, было всё равно, если она знала, мне было всё равно из принципа, я только делал вид, что мне всё равно, да и ему по хрену, его подкосила гендерная принадлежность этих сосунков и засранок. Кордебалет, сказал он. И добавил:

– Балласт.

Не то чтобы пренебрегал, скорее гнушался ими с младенчества. Вносил алиментную мзду, регулярно навещал, приносил, а потом присылал подарки, но опять-таки по обязанности, а не по любви. А я испытывал к этим девочкам любовь? Привычка – да, любовь – не знаю. По природе своей я однолюб – любил и люблю другую девочку, вечную девочку: их мать. Да и не верю я в многолюбие – столько душевных сил уходит на любовь, муку ревности включая, что никакая другая больше непредставима, разве что прокси и суррогаты. Если бы не женился на ней, стал бы, наверное, педофилом, не признавая никакие другие возрастные позывные для любви, окромя девичьих, девчоночьих. Даже если любви все возрасты покорны, относится это клише только к любящим, а не к любимым. Тем более в наш век виагры и прочих сиалисов. Объект любви не меняет свой возраст с возрастом. *Над ней не властны годы*, но не в шекспировском смысле, хоть она и хорошо сохранилась для своих тридцати с копейками, а в прустовском, имея в виду под *ней* не женщину, а память. Пусть оставаясь девочкой, она в какое-то мгновение перестала быть девушкой, не заметив сама этого,

а может и не запомнив: для меня это событие мирового значения, а для нее не событие вовсе. Зачем мне другие девочки, когда моя девочка рядом и пребудет в оном качестве до конца моих дней. Да, живу прошлым, не перестаю удивляться прелести ее нетерпеливо раздвинутых бедер будто первый раз, мучаю свою память, ибо для меня она всё еще не только девочка, пусть на возрасте, но девушка, дева, девственница, нетронутая, целочка моя любимая, до меня, до него, никем еще не... Господи... Меня ждали еще кой-какие открытия, которые свели на нет мои прежние ревнучие переживания. Кто мог думать! Откуда мне было знать? Всякая любовь, счастливая, равно как и несчастная, настоящее бедствие, когда ей отдаешься весь, Тургенев прав. А моя любовь счастливая или несчастная, этого знать мне не дано. Да и какая разница, коли любая – катастрофа.

Еще до того, как спустя год мы забрали из банка и торжественно вскрыли клятый этот конверт, с каждым днем становилось яснее ясного, кто биологический папан этих крох. Сходство, но чтобы до такой степени! Может, именно поэтому, а не по гендерным причинам его к ним апатия? То есть гендер тоже был фактором, но в конфликтном соотношении со сходством – обе эти девицы, взрослея, всё больше и больше походили на него, выдавая два его женских клона – мало того, что снижение его маскулинного образа, внедряемого в коллективное «Я» нашего Города, но и разнозначный намек понимай как хочешь. А как отнесся он к своему незаконному отпрыску от нашей оперной дивы? Как Лай к Эдипу? Скорее всё-таки, как Улисс к Телемаку, если только ни у того, ни у другого не было Эдипова комплекса! Хитроумный Одиссей без никаких комплексов: желая отмазаться от троянской войны, он косил под мишуге и пахал задом наперед, засевая поле камнями, но когда старец Нестор положил перед плугом новорожденного Телемака, тут же пришел в себя и бережно поднял бэби. А как относился к своему бэби мой протеже? Пусть и бастард, в отличие от этих архетипных персонажей, то есть в нашем случае неярко выражено, а может и неосознанно, то есть латентно, а значит типично.

*Загорелый подросток, выбежавший в переднюю,
У вас отбирает будущее, стоя в одних трусах.*

На это я и нажимал: сын старит, дочка молодит.

– А две дочки? – усмехнулся он. – Надо было назвать Реганой и Гонерильей.

Несмотря на то, что обе были похожи на него как две капли на третью. Капля спермы, не я сказал, но ссылаться мне на автора запахло.

– Могли быть твои, – сказала она с каким-то невнятным упреком.

– Ну нет! Это сколько же надо *вкалывать*, чтобы сделать двойняшек! Без божества, без вдохновенья – и без воображенья. Я быстрее кончаю.

– Да, – согласилась она. И с сожалением: – Мог быть мальчик.

– Могла быть девочка, похожая на тебя. Вот кого бы я любил без памяти.

– Не дай бог! Тогда бы я ревновала тебя, а не ты меня.

В отличие от наших с ним дочурок, его сынок, который тинейджером стал к нам захаживать, прознав про сводных сестренок, был на него ну нисколечко не похож – высокий, не красавчик, но с несомненной харизмой. Проезжий молодец исключается, не посмела бы, он тогда уже входил в силу, зато подпитывает его отношение к сыну не как к сыну, а как к сопернику. К тому же, парень был шалун, неслух, сорви-голова, чем старше, тем больше, и чуть не подзалетел, когда у них в школе был образован профсоюз, и все гебистские силы брошены, чтобы выявить зачинщика. С ним я сдружился, пожалуй, даже больше, чем с девочками, а он, редко видясь с отцом, воспринимал меня как отцовскую фигуру. Мне не впервой – парень был в том же возрасте, что и его отец, когда я стал заниматься его воспитанием и перевоспитанием, себе и другим на голову. Чтобы я способствовал возникновению в его сыне Эдипова комплекса?

С возрастом, точнее с его взрослением, наша дружба крепла, хотя кто на кого больше влиял – не уверен. Я был циничнее в его возрасте, понимая и принимая обстоятельства, к которым приспособливался до определенных, правда, пределов, а не применительно к подлости, хотя и был грех, может, даже два, а мой юный друг обстоятельства игнорировал и на уступки не шел. Ну, прям, целка в публичном доме. Не то чтобы вождистские, но вожаторские амби-

ции и способности у него, безусловно, были. У себя в классе он был скорее вожаком, чем паханом. Отцовский ген сделал в нем шаг ко-нем – вплоть до противоположности. Может, от матери, с которой я сблизился позже?

Не могу сказать, что наша с ним дружба была встречена с восторгом. Его папан отнесся к ней с подозрением, но, возможно, не с бóльшим, чем ко всему остальному: подозрительность была его фирменным стилем и усиливалась по мере продвижения наверх, хотя и не спасла его от смерти, даже полкан не защитил, хотя он верил ему безусловно и полагался на него. Моя жена отнеслась к нашим отношениям тоже без восторга: во-первых, гипотетический ребенок мужского пола, которого она могла завести от меня, будь я решительнее, так она считала, а во-вторых, мой броманс с ним снижал мой отцовский интерес к ее девочкам, что она объясняла тоже гендерными причинами, а не индивидуальными: я прикипел к парню как к личности, а не как к однополуму существу. Близняшки с возрастом как-то быстро обабились и отдалились, вместе со стыдом исчезла их девичья тайна, легко догадаться, что у них было теперь на уме, и ничего, увы, более, в моего мальчика, двумя годами младше, две эти зацикленные на сексе самочки, само собой, влюбились по уши, пытались совратить и дико ревновали – его ко мне, меня к нему, а главное друг к дружке. Дом стоял на ушах, и мы стали встречаться с моим другом за его пределами. Не скажу, что тайно – какие могут быть тайны в нашем Городе?

Отдельная история – о ней впереди, потому что имела продолжение и, полагаю, последствия, когда его сын присоединился к ребячьему бунту против Губера, а потом и возглавил его: от флешб-мов и лозунгов до массовых прогулов и уличных демонстраций. Не это ли послужило началом конца моего героя?

Сильно забегаю вперед, а тогда меня волновало совсем другое.

Ну и что с того, кто сделал ей двойшеч, когда остается невыясненным, кто был ее первым?..

Всему виной дождь, между струй которого ему обычно удавалось проскочить, что, правда, не совсем тоже, что выйти сухим из воды. А тут разверзлись хляби небесные, для нас с ней неожиданно, зато для него предсказуемо: с детства знал климатические капризы родного города, а потому упрашивал нас вернуться в гостиницу. А

мы с ней ни в какую, увлеклись нарвской крепостью – в противоположность ивангородской. Еще один аргумент в пользу западного развития нашего народа. Да и во всем остальном – захолустный, грязный, неуютный русский городок и вполне европейский, с лоском, как и все остальные в Эстонии. Там и здесь русские, но как они отличались друга от друга.

Что любопытно, русские в Нарве в большинстве своем были на прорусских и даже прокремлевских позициях, но ни в коем разе не желали присоединяться к матери-родине, ссылаясь не только на экономические преимущества, но и на свой западный менталитет. Зато русские в Иван-городе раскололись: одни собирали подписи под петицией, чтобы их инкорпорировали в Эстонию, зато местные *поцириоты* обвиняли подписантов в измене родине и пытались натравить на них столичные власти. Каким образом губернатору нашего Города удалось перенастроить общественное мнение его родной Нарвы и сделать то, на что не решался Центр?

Правовая тонкость заключалась в том, что Нарва была присоединена не к метрополии, а к Городу, который сам находился в имперской юрисдикции. И хотя официально сюзерен не признал этот акт своего вассала, и Нарва юридически повисла между небом и землей, как левитирующий Магометов гроб, патриотические круги страны всячески поддержали геополитический кураж нашего Города и даже ставили нашего Губера в пример лимфатичномунацлидеру, который свое уже откуражил, поизрасходовавшись по мелочевке. А теперь испытывал скорее мандраж перед наказанием за содеянное, став персоной нон грата в мировом сообществе и накликав пагубу на всю страну. Вопрос о коллективной вине здесь не стоит, зато – повсюду в этом моем био. Не то чтобы наш пассионарий с его рисковыми политическими импровизациями попал в опалу, но может именно с нарвской аннексией, которая раздула славу Губера за пределами Города, связано, что он так и не был кооптирован в столицу, а это, в свою очередь, добавило ему приверженцев, которые полагали, что Центр коррумпирован и не соответствует патриотическим вызовам исторического момента.

Он, однако, взял реванш за эту свою опалу, пойдя в обход и в обгон столичных казнокрадов и задействовав Россию в качестве действенного фона для своих рискованных загибонов на посту город-

ского головы, проникнув в самый центр российского идеологического мироздания явочно, нелегитимно, контрабандой.

В чем его преимущество перед презом и его кремлеботами? Если тот был музилевский человек без свойств или человек без лица, как у Магритта, то наш был человек без сновидений. Потому я и задал изначально вопрос, был ли у него доступ в самое сокровенное – наши сны? Если ему не снились свои, забыл добавить я. В бурной нашей молодости он пытал нас с ней, и мы рассказывали ему наши сны, он заучивал их наизусть и выдавал за свои, пересказывая другим. Своих собственных снов он не видел или не помнил, потому что грезил и бредил наяву, не отличая сна от реала. Человек из дурного сна был человек без сновидений.

Мы освобождаемся от дневных кошмаров, загоняя их в ночные сны. А у него вся подсознанка была наружу, он ходил среди нас голый изнутри, а это еще гаже и страховидней, чем голый король, но никто в Городе этого не видел. Пока не нашелся совсем не сказочный мальчик, тинейджер, который указал на него пальцем, фигурально выражаясь. Ну да, мой друг – его отпрыск, выблядок и ублюдок. Кому еще? Несу ли ответственность за своих воспитанников? За обоих.

И еще одно отличие от нацлидера. Наш мог говорить то, что вождю заказано: вериги и шоры неприкосновенной власти. Зевс и бык, но наоборот. Зевс свое уже отговорил и до сих пор расплачивается за свои слова и дела, а наш только вошел во вкус. Свобода слова! Его экстатическое, эсхатологическое, некрофильское, деструктивное сознание выстраивало будущее мира как сериал невероятных катастроф и катаклизмов, превосходящих Апокалипсис. И мыслил он уже не в пределах, а в беспределье всего отечества, навязывая ему свой самоубийственный страх смерти. На миру и смерть красна.

– Судьба Города быть ядром великого русского мира – иначе исчезнет Россия. Тогда пусть исчезнет всё. Зачем мир без России?

– А зачем Россия без мира? – спросил его французский журналист и начал было цитировать Монтескьё, но наш Губер его перебил, оседлав своего любимого конька-горбунка:

– У нас есть оружие Судного дня, которое в случае ответно-встречного удара приведет к гарантированному уничтожению США. Царь-бомба! Подводный дрон, оснащенный ядерной боего-

ловкой гиперкалибра – более ста мегатонн тротилового эквивалента. Удар по Йеллоустоунской кальдере – а под этим супервулканом скрывается огромный магматический пузырь – спровоцирует необратимую деградацию всей Северной Америки, приведет к глобальному слому биосферы планеты, и США как государство перестанет существовать.

Другая идея – развернуть Гольфстрим для уничтожения США. Масштаб впечатляет:

– Прорыв радиальной дайки исландского вулкана Снайфелльсйокиудль термоядерным зарядом обрушит юго-западный склон с ледником в Атлантический океан, и, как следствие, спровоцирует разворот течения Гольфстрима, воды которого затопят восточное побережье Северной Америки. Возникший оползень создаст напор воды в котловине Ирмингерского моря до Лабрадорского шельфа, где глубина на крае – 300 метров, в каньоне – больше двух километров. Тем самым получим длинную волну в юго-западном направлении. Насколько далеко она продвинется по оси Мирамиши – Вашингтон, зависит от напора. Природный канал подобен аэродинамической трубе, на входе которой вулкан, на выходе – Вашингтон. А в случае применения российского подводного беспилотника «Статус-6», именуемого также «Посейдон», последствия суперцунами усугубит радиоактивная вода.

Опускаю проект затопления Европы, для чего потребуется создать волну в «природном канале», который начинается от вулканического острова Ян-Майен и достигает Амстердама.

– Будто мы не знаем об американском биологическом оружии, точно нацеленном на русскую этническую принадлежность. Пусть не забывают, что генетика родилась у нас в стране и, если бы не была запрещена, мы бы были впереди всех. Однако теперь мы не только догнали, но пошли в обгон и можем создать такое же точечное генетическое оружие против американцев, – забыв, видимо, что Штаты еще тот плавильный котел, включая не только нации, но и расы.

И превзойдя самого себя, вишенкой на постапокалиптический торт нашего катастрофиста:

*– Мы попадем в рай, а они все сдохнут, не успев раскаяться.
Адская дорога в рай!*

Никто в мире не воспринимал эти безумные угрозы всерьез, понимая, что кишка тонка – они были сугубо для внутреннего пользования, типа идеи покойного Жирика изменить угол наклона оси Земли с той же благой целью уничтожить Америку. Однако не только в Городе, но и по всей стране, особенно в столице, растиражированные ТВ, эти идеи падали на добрую почву и воспринимались патриотическим быдлом с энтузиазмом, хотя находились и критики, которые полагали, что у нашего градоначальника засор в мозгах, что он опасно еб*нутый и по нему плачет смиренная рубашка. И то сказать, что это критиканство было на уровне кухонных – ну, гостиных – разговоров и хорошо еще не долетало до его ушей, иначе он мог и жестоко поквитаться с недовольными. Мир он воспринимал исключительно через телеэкран, им и его клеветами контролируемый. Инфа доходила до него и его подданных в процеженном, искаженном, наоборотном виде под аккомпанемент его завиральных лозунгов, а то и вовсе зашкарный зашквар, который он неизменно сопровождал рефреном «Верьте мне, это не блеф и не фейк!» и брал на понт телеверующих в Городе и по стране. Ложь стала отличительным знаком его политики. Белое – это черное, черное – это белое, да – это нет, нет – это да, война – это мир, мир – это война. И далее по Оруэллу или Фромму. Да хоть по Вийону: «Баллада истин наизнанку», из которых – *árgoros* – признаю только одну: *И лишь влюбленный мыслит здраво* на основании личного любовного опыта. С пояснением Платона: *Всё созданное человеком здравомыслящим затмится творениями исступленных.*

Касаемо войны и мира, не в толстовском смысле войны и мира, а именно в оксюморонном смысле антонимов-синонимов, то вопрос, хотят ли русские войны, вовсе не риторический, как в хите Колмановского-Евтушенко, а сущностный и сложный.

Хочет ли влюбленный знать правду о своей возлюбленной или предпочитает оставаться в мучительном неведении из страха перед истиной или из принципа, как Сократ, который так и не узнал об отношениях Ксантиппы с его учеником Аристотелем? А с войной и миром вопрос и вовсе раздваивается, растраивается: хотят ли русские войны? хочет ли Россия войны? и хотел ли на самом деле войны наш городской голова, который, будучи провокатором и пользуясь сумеречным временем и смутой в русских умах, подначивал на во-

йну страну, народонаселение и нацлидера? *Мир к миру тянется, да руки коротки?*

*Не в этом ли причина, почему владетель нашего Города оказался не просто не в фаворе, а в немилости у нацлидера, который рассматривал его еще не как супротивника, но уже как соперника – пусть пока что идеологического, а не политического, ревнуя к его явной и потайной славе из опасения, что тому уже тесно в городских пределах и он расширяет свою аудиторию до пределов беспредельной в его воображении державы. Он взывал к сферическому русскому миру, *центр которого повсюду, а поверхность нигде*, не ссылаясь на источник, тем более копирайт на метафору под большим вопросом – от Николая Кузанца до Паскаля. В стране росло недовольство презом, чьи патриотические достижения и заслуги были в прошлом, тогда как наш бесшабашный, безбашенный Губер пошел на опережение в смысле не столько идей, сколько лозунгов. И хотя Центр обвинял его в популизме, радикализме и экстремизме, именно это негативное паблисити добавляло ему адептов: Нарва заслонила Крым, тем более за ним ничего не последовало из замышленного: ни новороссийского посуху коридора до Крыма – от Донецка и Харькова до Мариуполя и Одессы (программа-минимум), ни по максимуму взятия Киева во исправление исторической ошибки с искусственным образованием под названием Украина, то есть окраина. Больше того, дабы не утратить былую славу, нацлидер вынужден был с суфлерской подсказки нашего властителя осуществлять наименее, что ли, безумные из его идей, типа Азовско-Керченской операции, что вело к опасной конфронтации страны с окрестным миром. Роль провокатора заместо канувшего в Лету Жирика, хотя тот и называл себя повитухой истории? Как знать?*

Когда Король Лир совсем спятил, Шут исчезает без всяких на то объяснений. Вот уже четыре столетия все гадают почему. Я знаю, я! Когда сам Король стал Шутом, зачем еще один Шут? Зачем два Шута в одной пьесе, когда функцию Шута выполняет теперь Король Лир? Зачем Жирик, когда есть нацлидер? Зачем нацлидер, когда есть наш Губер?

– Бойтесь меня. Я – сумасшедший!

Дошло до того, что «Time» объявил нашего губернатора Персоной года – не то чтобы последняя капля, но явно не по ноздре

нацидериу. На обложке красовалась черная физия в каске на облысевшем черепе и загадочная надпись аршинными буквами: **TBS**. То есть загадочной эта аббревиатура была для русскоязычных, когда они увидели эту обложку на телеэкранах, мониторах и на первых страницах бумажных СМИ, а не для основного контингента читателей еженедельника, по преимуществу высоколобых американов, которые, конечно же, догадывались, что означают три эти черные буквы на серо-стальном фоне:

THE BLACK SWAN

Поначалу, не разобравшись что к чему, наши городские пропагандоны растерялись и не знали, как реагировать на то, что их босса ославили на весь крещеный (и некрещеный мир) черным лебедем: хорошо или плохо? Выяснилось, что этот научный термин давно уже вошел в лексикон и стал расхожей метафорой для чего-то непредсказуемого, что однако может иметь довольно грозные последствия типа Первой егомировой войны, Перл-Харбора, распада СССР и 9/11. По-английски еще говорят *predictable unpredictability*, что я бы генерализировал и перевел более решительно, аксиоматично, императивом: предсказуема только непредсказуемость. И еще – это я уже от себя: в будущем необязательно случается то, что прежде. Аналогии с прошлым тем и опасны, что игнорируют непредвиденное и беспрецедентное. Это опосля детерминисты подведут базу и опрокинут назад причинно-следственную связь, да еще будут попрекать политиков и политологов, что они не предвидели и не предусмотрели в своих расчетах распад советской империи или нападение террористов на Америку 11 сентября 2001. Что говорить, все крепки задним умом, не один русский мужик.

Постепенно, пусть с натяжкой поначалу, но потом вошло в обиход, TBS стали относить не только к событиям, но и к людям, от которых можно ожидать чего угодно, типа нашего Губера, – вот уж кто непредсказуем, так это он. В большой таймовской о нем статье его называли не только черным лебедем, но и мавериком, теленком без клейма по изначальному значению. Для этой профильной статьи взяли интервью и у меня, представив как его гуру, что было верно только отчасти – на раннем этапе его политической карьеры.

Уцелело – в смысле было напечатано – только несколько моих положений. Ну, во-первых, о роли случайности в истории с ссылкой на нос Клеопатры. Во-вторых, уточнение, что деяния моего питомца непредсказуемы не только для других, но и для него самого, он сам не знает, чего от себя ждать и какое еще коленце он выкинет, действуя по инстинкту, либо наитию, неожиданно для самого себя. Да, импровизатор. Типа демонов Сократа, но только в обратном направлении – они не останавливают его, а побуждают к действию. «Характер вулканический», – сказал я и пустился в рассуждения о вулканах, действующих и спящих, но могущих в любое мгновение, без всякого предупреждения, проснуться. Дело не в моем английском, который не так уж и плох, а в круге ассоциаций – моем и американского журналиста.

– Он вулканолог? – спросил трижды пулитцеровский лауреат Дэвид Шиплер, для которого мало-мальское превышение джентльменского набора банальностей означало узкую специализацию.

Хорошо хоть оставили про вулканический, взрывной характер моего протеже, но опустили развернутое сравнение с Этной, Везувием, Санторини, да хоть с самоубийцей Анак-Кракатау, который, извергнувшись недавно и вызвав гигантский оползень и смертоносное цунами, сам провалился в собственный кратер, исчезнув под водой, будто его никогда и не было в натуре, а на его месте образовался новый остров с гостеприимной бухточкой.

Как себя помню, оказываясь на вулканических вершинах и заглядывая в их жерло, ловил себя на циничной мысли о полезной работе исторических вулканов типа Везувия, благодаря лаве которого в такой хорошей сохранности дошли до нас Помпеи и Геркуланум. Никакого сравнения с Этной, которая погребла под себя пару-тройку жалких сицилийских деревушек. С другой стороны, конечно, и Везувий несколько сместил наше представление о римской культуре, о которой мы теперь судим-рядим по этим провинциальным местечковым городкам, а не по великому Риму. Касаемо же Этны, то мне она запомнилась не сама по себе, а по Эмпедоклу из Акраганы, как звалось тогда Агридженто, где стоит ему памятник. Не без странностей был человек, как и многие его коллеги ученые, но чудачил больше других. Все свои ученые труды Эмпедокл писал в форме поэм, самого себя считал божеством и бросился в жерло Этны, дабы

доказать самому себе свое бессмертие, как теорему. Боги приняли его в свою компанию, но не полностью – без сандалий, которые остались на самом краю вулкана. Эта история позабавила Дэвида Шиплера, и он попытался привязать ее к персоне года:

– В России есть вулканы?

– Сопки. На Камчатке. Поменьше и безопаснее вулканов. Самоубийц среди них нет, и самоубийцы в их жерло не бросаются. Насколько мне известно.

– Всё случается впервые, – улыбнулся Дэвид, который гордился, что он в ту пору был единственным неевреем среди американских корреспондентов в России.

– Тогда и поговорим. Если доживем. Зато Санторини...

И я рассказал этому трижды лауреату об острове, который согласно одной гипотезе и есть та самая загадочная Атлантида, что упомянута в египетских папирусах и у Платона. У последнего – ностальгически, как золотой век человечества. Другие полагают, что Санторини – аванпост минойской цивилизации, центр которой был на Крите и которая – sic! – погибла в результате мощного вулканического извержения. Вулкан расколол Санторини, большая часть острова провалилась в море, а гигантская волна – цунами – достигла до Крита и смела там всё живое. Этот природный и исторический катаклизм произошел в середине второго тысячелетия до нашей эры, но вулкан действует по сю пору – последний раз он извергся, если не ошибаюсь, в 1956 году, уничтожив с полсотни людей и несколько тысяч домов.

В результате обезлюдел самый красивый на острове городок – Ойя: те, кто остался в живых из жителей, эмигрировали в Афины, Америку, Австралию. Хотя с тех пор минуло более полувека, Ойя всё еще не восстановлена и вряд ли когда будет. Помню, я спустился вниз к морю, а оттуда глянул вверх. Вид невероятный, экстатический, жуткий – над тобой нависает крутой обрыв, свежий срез, а точнее скол разных земных пород, как будто вулкан расколол остров не три с половиной тысячелетия назад, а только вчера.

Американа-нееврея история эта, понятно, заинтересовала вкупе с индонезийским вулканом-самоубийцем.

– Не выявляют ли апокалиптические заявления вашего ставленника его суицидальный характер?

– Некорректный вопрос.

– Вы думаете? По мне так некорректным может быть ответ, а не вопрос. Ладно, будь по-вашему, сформулируем иначе. Своей вулканической метафорой вы предсказываете конец его правления, его физический конец...

– Без комментариев, – поспешил я с ответом.

– ...или конец созданной им модели авторитарного правления? Хороший вопрос, но у меня не было на него ответа.

– Не знаю, – честно признался я.

Еще прошла поэтическая цитата, но в ужасном переводе, вот ее русский оригинал:

*Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.*

В большом интервью с «персоной года», его, понятно, спросили о войне:

– Понимает ли господин губернатор, что своей милитаристской риторикой и присоединением к Городу чужих владений, вы приближали мир к большой войне?

– Да. И мы в ней победим.

Троянской войны не будет? Только перманентные вербальные и гибридные? Прокси-войны? Крым, Нарва, что на очереди? Готланд? Шпицберген? Финляндия?

Эти риторические вопросы Дэвид Шиплер приписал мне, хотя у меня они шли в ином порядке, и один вопрос был утверждением. А ладно, не обо мне речь.

Вопрос о трудном детстве Губера напряг, и я знаю почему. В школе он намыкался и напресмыкался – серый, как мышь. Его так и звали заглазно – Крысой, Крысенком, Крысенышем и прочими в том же роде. Мы не знали, знал ли он сам об этих крысиных кликухах, а узнали спустя из этого его интервью. Откуда об этом проведаль интервьюер-проныра? Не от меня, я бы не осмелился. Обидчивая, злая, злопамятная крыса, а потому я не поверил тому, как он вывернулся:

– Нет, не обижался, хотя знал, конечно, – ответил он. – Очень неглупый грызун, между прочим. Если бы эволюция пошла другим

ходом и человек произошел не от обезьяны, а от крысы, на земле был бы рай.

Зато слухи о его голубых склонностях в таймовском интервью так и не всплыли, несмотря на их распространенность. Да и я о них упомянул пару раз в этом трактате токмо приличия ради – как говаривал старик Светоний, «лишь затем, чтобы ничего не пропустить, а не оттого, что считаю их истинными или правдоподобными». Без комментариев, с Диогеновым фонарем не стоял ни днем, ни ночью, а делать выводы от обратного из-за его и его субординатного народонаселения негатива к гомосекам не стал бы. Личный юношеский опыт? Но то были латентные поползновения наугад. Даже если, как в том армянском анекдоте, мы его любим – или не любим – не за это. Кто как.

Негативные эмоции были клапаном, через который выходила мощная энергия его заурядной личности: сам он никого не любил и никому не верил. Только своему огромному псу, которого его субординаты прозвали собакой Баскервилей и который неизменно присутствовал в его кабинете, скаля зубы и рыча на посетителей – такой вот аккомпанемент. Соответственно, этот негативный резонанс распространялся на весь наш Город, который он возглавлял. Он гляделся в нас как в зеркало, и узнавал себе подобных, которых презирал за то, что мы безропотно ему подчиняемся, как бы подчинялся он сам, если бы карты легли иначе. Вот где ошибка У.Х. Одена, который в упомянутой «Эпитафии тирану» приписал ему знание человеческой глупости – «как свои пять пальцев». Он тиранил нас, судя о нас по себе, и несказанно удивлялся, сталкиваясь с отпором. Сам бы себе никогда не позволил инакомыслие, будь вассалом, а не сюзереном.

А себя он любил? Сомневаюсь, хотя насаждал свой культ в нашем спаянном городском ансамбле и даже за его пределами. Потому, собственно, и насаждал, что его нелюбовь была тотальной, обращенной в том числе на самого себя. О ничтожестве других он судил по собственному ничтожеству. Или наоборот? Ведь он не сразу стал тем, кем он стал и кем в самых смелых мечтах не мог даже помыслить стать – выше него только звезды. По крайней мере, в нашем о нем представлении. Еще точнее, в своем представлении о нашем о нем представлении.

Когда интервьюер осторожно ему заметил, что есть и дру-

гие мнения об исходе этой гипотетической войны, он ответил ему мемом:

– Есть сотни субъективных мнений и объективное мое.

Боюсь, он и в самом деле так думал.

В связи с его апологией Геббельса зашла речь об антисемитизме:

– Я говорил о нем исключительно как о министре пропаганды. Антисемитизм – ржавое оружие. Гитлера это сгубило. Никаких сомнений, он бы выиграл Вторую мировую, если б не его зацикленность на евреях. Второй фронт был открыт, когда стало известно, что Гитлер перешел от сегрегации евреев к их тотальному уничтожению. Мировое еврейство перешло в контратаку, когда осознало опасность полного, под корень, истребления еврейства как такового.

– Вы не преувеличиваете роль мирового еврейства?

– Не думаю. С тех пор его роль выросла в разы. Куда ни кинь...

Окончательно раздухарившись, назвал нацидлера «хромой уткой», на что один из читателей в комментариях ему ответил:

– Эта утка еще долго будет хромать. И она уже отложила яйца...

Лебедь, утка – mixed metaphor. Да еще мой Кот Шрёдингера, а тот ни жив, ни мертв согласно известному эксперименту, чего на самом деле быть не может. Или может? Не слишком ли много животных в этой книге? Не жизнеописание, а зоопарк! Но ведь и человек есть животное, пусть и политическое, как мой герой. А за кота Шрёдингера, о котором я обмолвился в узкой компашке сразу после сообщений о смерти нашего Губернатора, на меня набросились с вопросами, какой кот породы, масти, гендерной принадлежности и коли он, как я вынужден был признаться, мужского рода-племени, то кастрирован ли?

– Какое это имеет значение?

– Ну, как же, как же! Ведь для кота яйца – наиважнейшее составляющее. Если кот при яйцах, он – агрессор, блудяга, охотник вплоть до «сунул-вынул, да бежать» в переносном смысле (босс, пахан, вождь). Если кота лишили его яиц, то он – милейшее диванное создание. Кастрация и есть катарсис, акт трагический для любого кота (включая его человеческого подвида).

Я отделался шуткой, хотя, на мой взгляд, неверно отождест-

влять метафорического и метафизического кота с нашим Губером. С меня взятки гладки, пусть отвечает и ответствен за «Владимир Соловьев» – под этим псевдонимом я тиснул первую главу моего трактата в русскоязычных СМИ по обе стороны океана.

Квантовый этот котяра возник исключительно в связи с одним всего лишь эпизодом в жизни моего героя – кратким, но значительным и даже значимым: его загадочной смертью, загадочной и самой по себе, и сопутствующими ей обстоятельствами.

А тогда, в опросах, наш черный лебедь и хромая утка шли ноздря в ноздю, их рейтинг сравнился, и случись в стране свободные выборы, понадобился бы второй тур, чтобы определить победителя, несмотря на административный ресурс у Преза, с поправкой на износ его власти и свободное падение его рейтинга, всё ближе и ближе к историческому минимуму. До выборов, понятно, не дошло и не могло дойти по определению, но имело ли это противостояние двух центров власти хоть какое отношение к внезапной смерти властителя нашего Города? Округ этой смерти круговертят слухи и сплетни, превращаясь, окаменев, в мифы? Типа профилактической санации неудобного и неудобного его персоналистского режима? Подозреваемых слишком много – от него самого до его родного сына. Обо мне – молчок. Либо просто сработал закон земного притяжения – невозможность удержаться на таких заоблачных высотах, балансируя на самом краю пропасти? Либо и того проще, по испанской поговорке: бери что угодно, но плати. Плата за власть? Или плата за страх? И главное: что изменилось с его смертью?

Со ссылкой на великого городского поэта: *Меж тобой и странной ледяная рождается связь. Это, правда, было сказано после смерти адресата. Вот чего я боюсь больше всего – что его патриотический раж и имперские закидоны, востребованные сбродом при его жизни и особенно в период его предсмертия, будут активированы и реализованы postmortem. Что он получит посмертный мандат на их осуществление – и Город получит власть над страной. Или это уже случилось с переездом в столицу команды из нашего Города во главе с...? Дежа-вю? Всё было встарь, всё повторится снова, и сладок нам лишь узнаванья миг?*

Как движется время? По прямой, как полагал Платон? По кривой? По кругу? По эллипсу – предполагаемая орбита земли вокруг

солнца? По спирали? Зигзагообразно? А вектор движения? Вперед или вспять?

Когда как. Меня интересует посмертная судьба моего ставленника. Ни жив, ни мертв, как кот Шрёдингера? Мертв, но жив? Убит, чтобы воскреснуть? Кровь мертвеца в старые меха? Проперций – Рыжему на могиле в Венеции: *Letum non omnia finit*. Продолжим римлянина применительно к нашему случаю: со смертью не все кончается. А может, и наоборот. В моем конце мое начало?

А тогда в Нарве, спасаясь от потопа, мы разбежались кто куда – и потерялись. Я переждал природное бедствие в кафешке, а когда поутихло, побродил один по эстонскому городу, заселенному сплошь русскими. Ревность? Вряд ли всё-таки – никак не предполагал такой подлянки ни от него, ни от нее. Хотя почему подлянка? А зов плоти? А благоприятные обстоятельства? Если человек – животное, то женщина – животное по преимуществу, в энной степени. Ну не поблядушка, так прелюбодейка. Женщине в пору тот придется, кто к ней в пору подберется – помню, что Потрясающий копьем, а где именно, не помню. Цимбелин? А по-нашему, по-простецки, сучка не захочет – кобель не вскочит. Мы к нашей сучке подобрались одновременно, но кто первопроходец?

Когда я вернулся в гостиницу, моего соседа в номере не было. Постучался к ней – она принимала душ, но скоро выскочила оттуда голенькая как есть и нырнула под одеяло. Мы давно уже не стыдились друг друга, разве что немножко – я. Она и его не стеснялась, устраивая перед нами танцевальные стриптизы.

– И долго ты будешь стоять как истукан? – поинтересовалась она.

Не раздеваясь, я прилег к ней и начались наши с ней обычные эротические игры, которыми на этот раз она не удовлетворилась. Сама меня раздела, я не сопротивлялся. Можно и так сказать: если не изнасиловала, то соблазнила и совратила. Никаких следов девства я не обнаружил, но это сплошь и рядом, редко кто из них донашивает эту жалкую дырявую перепонку до первого соития. Меня это нисколько не смущало, так было нам хорошо. «Дорвался!» – сказала она.

О том, что она у нас с ним как переходящее знамя, узнал только, когда она забеременела. Ну да, перекрестный секс, это мем Вовы

Соловьева, хоть он и приписал его Довлатову. Когда они успели? Что это произошло в той же самой Нарве, я и помыслить не мог, а когда до меня, наконец, дошло, началась эта мука, кто первый. Еще вопрос, у кого из нас нарвический комплекс сильнее и неотвязнее?

Не то чтобы безнравственный, а донравственный, по ту сторону добра и зла. В чем я убедился на личном опыте, потому что она ходила в моих девушках, хотя и без соитий, но стыд меж нами был. Стерпится – слюбится? Я про наш любовный треугольник. Масса прецедентов в мире знаменитостей. Маяковский – и Брики, Некрасов – и Панаевы, Тургенев – и супруги Виардо, три наших «Б», наконец: Бродский – Бобышев – Басманова.

Здесь, однако, другой, крошкацахесовский уклон – не просто плагиат, а присвоение чужой собственности: идеи, приемы, проекты, даже сны, не имея собственных, искажая, извращая их на свой манер. Да хоть чужую (мою) бабу, но со своей начинкой, которая рождает ему клонов, точнее клоних. А баба как баба, что с нее взять: не любвеобильна, а сексапильна. То же – забегая вперед – с Городом: мой эстетский проект он искажил не то чтобы до неузнаваемости, но увел вбок, в сторону, придав ему агрессивный, имперский искус. Или всё-таки он извлек зерно, отбросив скорлупу?

Слюбится – стерпится – это на личном уровне, а на политическом совсем другая поговорка – про коней и переправу. Ставки были сделаны, отступать некуда. И откуда мне было тогда знать, что подростковый имморализм этого инфантила без сновидений не ограничится нашими частными отношениями, а войдет у него в привычку и распространится на всё окрест, станет логотипом его поведения и политики?

За несколько дней до его исчезновения в столичной газете появилась полная намеков и аллегорий анонимная статья под заголовком «Крыса в мышеловке», и прошла незамеченной именно ввиду ее иносказательного характера. После его смерти авторство кому только не приписывали...

Чего гадать? Не пойман – не вор.

Владимир Соловьев – русско-американский писатель, эссеист, журналист, мемуарист и политолог. В одиночку и в тандеме с Еленой Клепиковой напечатал сотни статей в престижных СМИ по

обе стороны океана – от «New York Times» и «Wall Street Journal» до «Московского комсомольца» и «Независимой газеты», и издал немало книг. Среди них «Yuri Andropov: A Secret Passage Into the Kremlin», «Inside the Kremlin», «Boris Yeltsin: Political Metamorphoses», «The Paradoxes of Russian Fascism».

Острые и парадоксальные, на грани фола, произведения Владимира Соловьева – такие, как написанная еще в России горячая исповедь «Три еврея», роман-биография «Post mortem. Запретная книга о Бродском» и исторический роман о современности «Семейные тайны» – неизменно вызывают шквальную полемику в среде читающей публики.

В последние три года выпустил в Москве десять книг, включая мемуарно-исследовательское пятикнижие «Памяти живых и мертвых», предсказательную книгу о Трампе задолго до его победы на выборах и «США – pro et contra. Глазами русских американцев».

Постоянный автор журнала «Времена».

Яков ФРЕЙДИН

«ОСТРОВ «БЫТЬ»

Моему старому приятелю Алану Т. (старому – в буквальном смысле слова) в этом году исполнилось 102 (!) года. Причём, по иронии судьбы, исполнилось в трагический день 11 сентября, в чём он видит мистический символ своей очень долгой жизни.

В прежние годы мы с ним встречались периодически. Пока была жива его жена Мэгги, они ежегодно на зиму перемещались из своей промозглой Филадельфии в калифорнийский Сан-Диего, где снимали на три месяца квартиру буквально через дорогу от моего дома. Главным их развлечением была игра в гольф, потому они с утра до вечера бродили по зелёным лужайкам, которых немало в наших тёплых краях, и до самозабвения шлёпали клюшками по твёрдым мячикам, иногда даже попадая ими в лунки. Уставшие, но довольные, вечерами они либо заходили ко мне на чай или кое-что покрепче, либо я навещал их, и мы беседовали на разные интересные темы.

Алан, в прошлом успешный бизнесмен, изобретатель и писатель, был чудным рассказчиком. Возраст давал себя знать, поэтому говорил он неторопливо, аккуратно подбирая слова, но всегда интересно и для меня познавательно. Он любил вспоминать о временах давних: о Великой Депрессии, когда он был подростком, о Второй Мировой войне, на которой четыре года воевал, и о многом другом, чему был свидетелем и в чем участвовал. Я ему тоже рассказывал о своей прошлой жизни по ту сторону Железного Занавеса, хотя появился я на свет без малого через три десятка лет после его рождения, и было в ней, в жизни моей, куда меньше занимательных событий.

Алана как писателя интересовала русская литература, причем не та, что хорошо известна в Америке, вроде «Войны и мира», «Преступления и наказания» и «Доктора Живаго», а та, о которой по эту сторону Атлантики знают мало. Поэтому я рассказывал ему о кни-

гах Бабеля, Гроссмана и Аксёнова, о стихах Пушкина, Ахматовой и Мандельштама...

Однажды, когда в его квартире мы сидели в креслах и посасывали – Алан скотч из хрустального стакана, а я свою трубку, вдруг припомнился мне Лазарь Гинзбург. Под псевдонимом Л. Лагин он был известен благодаря своей популярной книге для детей «Старик Хоттабыч». В годы моей наивной юности я любил перечитывать другую его книгу, «Остров Разочарования», которая тогда казалась мне невероятно увлекательной и правдивой. В ней рассказывалось о том, как американский корабль, перевозивший во время войны грузы по лэнд-лизу, был потоплен немецкой подлодкой, а выжившие пять человек, англичане, американцы и советский военпред, оказались на тропическом острове, затерянном в Атлантическом океане. Ступив на землю, робинзоны обнаружили, что в то же время из немецкой подлодки высадилась группа эсэсовцев для испытания на острове атомной бомбы. Отважный советский моряк решил бороться с фашистами, несмотря на сопротивление его спутников – англо-американских буржуев и кровососов, которые хотели с гитлеровцами не воевать, а дружить.

Однако, самым занятным для меня в этой истории было то, что на придуманном Лагиным острове обитали туземцы, у которых были имена: Гамлет, Яго, Отелло и другие из шекспировских пьес. В те годы я сам увлекался Шекспиром, может, потому меня и привлекла эта история. Много позже, уже живя в Америке, я книгу Лагина перечитал и она произвела на меня совсем другое впечатление. Мне неприятно резал слух её советский пропагандистский настрой, где американцы и англичане – бессовестные эксплуататоры, расисты и стяжатели, а отважный моряк Егорычев – советский патриот, гуманист и бескорыстный коммунист. Впрочем, что было удивляться? Книга писалась в конце 40-х годов прошлого века, и у талантливого писателя Гинзбурга-Лагина в мрачные времена борьбы с космополитизмом было только два варианта: либо затаиться, ничего не писать и жить впроголодь, или писать пропаганду. Не мне его судить из моего прекрасного далёка, но сама история с шекспировскими именами казалась мне забавной и я решил рассказать сюжет Алану.

Сначала я кратко упомянул биографию автора и детскую книжку про старого джина Хоттабыча, а затем стал разворачивать сю-

жет «Острова Разочарования». Когда я сказал, что на острове, куда высадились чудом спасшиеся герои повести, появились немцы с атомной бомбой, а местное население носило имена шекспировских персонажей, мой собеседник неожиданно пришел в невероятное возбуждение. Опрокинув стакан с виски, он резко вскочил со своего кресла, подошёл ко мне вплотную и скрипучим голосом сказал, глядя в глаза:

– Вы меня разыгрываете? Да? Откуда вы это знаете? Впрочем, нет! Вы этого знать не можете...

Я удивлённо ответил, что просто пересказываю сюжет фантастической книги Лагина, которая была издана в СССР ещё в 1951 году. Это объяснение Алана не убедило, а, похоже, даже разозлило. Он мотал головой и повторял:

– Не рассказывайте мне сказки! Какая там ещё русская фантастическая книга, какой там 51-й год! Признавайтесь, кто это вам рассказал? У нас ведь с вами нет общих знакомых, так откуда вы знаете?

Тут уж я пришёл в полное замешательство, не понимая, что он имеет в виду. У меня даже мелькнула мысль, не тронулся ли мой приятель умом на старости лет? Я примирительно сказал:

– Да не волнуйтесь вы так. Никто мне ничего не рассказывал. Честное слово, я ещё в детстве прочитал эту сказку в книжке. Если не верите, её наверняка сегодня можно найти через интернет. Не принимайте всерьёз наивные фантазии советского писателя...

– Хочу вам верить, но не понимаю, как эта история могла быть придумана и написана столько лет назад в России, если то, что вы сейчас сказали, вовсе не вымысел, а действительно произошло. Я сам там был, на том острове. Видел всё своими глазами. Всё, всё там было, как вы говорите: ядерное оружие, немецкая подлодка, чёрные аборигены, у которых были шекспировские имена – всё это правда. Долгие годы это был большой секрет, и ни одна живая душа никогда про это не говорила и не писала, а сейчас из той команды я вообще единственный, кто дожил до сих пор. Так что же вы мне заливаете, будто какой-то русский писатель это опубликовал ещё в 51-м году? Этого не может быть!

– Бог с ней, с книжкой, – сказал я примирительно, – может, это не более, чем совпадение. Бывает ведь, что талантливая фантазия

попадает в точку. Вспомните, к примеру, как английский репортёр Робертсон описал в деталях гибель «Титаника» за 15 лет до катастрофы. Вы же сами писатель. Лучше расскажите, что знаете. Что вы там видели, на том острове? Надеюсь, этот старый секрет больше не секрет...

Алан молча походил по комнате, вытер салфеткой со столика пролитый виски и налил себе новую порцию. Потом уселся в кресло и рассказал мне невероятную историю. Привожу её как запомнил.

.....

– Вторая мировая война для меня началась вскоре после Пёрл-Харбора. Я к тому времени уже закончил университет и работал в Нью-Йорке в одной проектной компании. В январе 1942 года попросился добровольцем на флот. Три месяца провёл на ускоренных курсах и в звании младшего лейтенанта получил назначение на эсминец «Blue» в Тихом океане. В августе 1942-го в морском бою у Восточных Соломоновых островов в наш корабль врезался самолёт-камикадзе; я был ранен, но, как видите, выжил. Меня из воды выловили, доставили на санитарный корабль и привезли в Америку. В госпитале Сан-Диего я провёл месяц, вылечился и после отпуска попросился снова на флот; на этот раз меня направили в Атлантику. Кстати, я тогда прикипел к Сан-Диего, потому и приезжаю сюда при каждой возможности.

Два с половиной года служил опять же на эсминце. Мы сопровождали транспортные корабли, которые через океан по лэнд-лизу везли грузы в Англию и Россию. Это было куда опаснее, чем может показаться – немецкие подлодки охотились за нашими караванами и множество судов было потоплено. Особенно напряжённо было весной 44-го года, когда интенсивность перевозок возросла – союзники готовились к высадке в Нормандии. После того, как наши ребята стали воевать во Франции, эсминец, где я служил, перебросили для сопровождения караванов в Иран, через который шли поставки в Россию. Это был южный путь по так называемому «персидскому коридору». Транспортные корабли брали груз во Флориде, обычно в Джексонвилле, и оттуда вокруг Африки, мимо мыса Доброй Надежды, через Индийский океан шли в Персидский залив. Долгий путь, и на нём немецкие подлодки тоже не оставля-

ли нас в покое, хотя потерь было всё же меньше, чем на северных трассах.

В марте 1945 года, когда мы шли из Джексонвилла на юго-восток, где-то в трёхстах милях от Французской Гвианы, наш конвой неожиданно атаковала немецкая подлодка. Одна торпеда попала в грузовой корабль, а вторая в мой эсминец. С подлодкой мы справились, закидали её глубинными бомбами, но наш корабль был сильно повреждён. Как могли, пробоину залатали, однако продолжать поход в таком состоянии было невозможно. Тогда решили почти всю команду перевести на другие корабли. Оставили на борту группу лишь в десять человек во главе с капитаном, чтобы возвращаться обратно во Флориду для ремонта. Я был среди этой группы.

На подбитом корабле работал только один двигатель; мы медленно шли на север, когда небо стало чернеть, подул сильный ветер и вскоре начался шторм. Думаю, что мы попали в хвост урагана, и справиться с ним нашему раненому кораблю было невозможно. Трюм наполнялся водой, опасно креноило на правый борт, и стало ясно, что эсминец обречён. Капитан дал команду спустить шлюпки и покинуть корабль. Я оказался в первой шлюпке с двумя матросами и механиком, остальные шесть человек, включая капитана, были в другой. Не буду рассказывать, как нас кидало по волнам, но обошлось. Через два дня шторм ушёл, небо прояснилось, но ни второй шлюпки, ни корабля, сколько ни обшаривали в бинокль горизонт, мы найти не смогли. Поняли тогда, что остались вчетвером посреди бескрайнего океана. Запаса воды и еды было достаточно на неделю, но горючего для мотора могло хватить лишь на пару часов. Мы решили его зазря не расходовать, а отдать свои судьбы в руки случая и надеяться, что южное пассатное течение вынесет нас на север ближе к родным берегам.

Через три дня заметили на горизонте землю. Что это было: материк или остров – пока неясно. Включили мотор и через час пристали на небольшой песчаный пляж, прижатый к океану подковой пальмовых зарослей. На песке валялись кокосовые орехи и серые высушенные солнцем и морской водой коряги, похожие на кости доисторических животных. В тот момент я почувствовал себя Робинзоном Крузо, хотя и в лучшем положении. Всё же у нас была шлюпка с мотором, нас было четверо, в шлюпке имелся стандарт-

ный комплект выживания: палатка, верёвки, лопата, топор, медикаменты и прочее. Кроме того, у нас было оружие: два пистолета и один «Томпсон» – автомат-пулемёт с боекомплектom.

Мы вытащили шлюпку на берег, завалили её для маскировки пальмовыми ветками, подсушили одежду и оставили механика Джима и одного матроса сторожить. Дали им один пистолет на двоих и бинокль, чтобы наблюдать за морем – не появится ли какое судно. Нужно быть осторожными, всё же война, и всякое может случиться. Другой матрос, его звали Сэм, с автоматом через плечо, и я пошли на разведку в джунгли. После недавнего шторма везде были лужи, всё сочилось водой, тёплый воздух был пропитан пряным ароматом влажного мха и тропических цветов. Шли мы недолго и вскоре наткнулись на тропинку (значит, тут живут люди, если тропинку протоптали) и пошли по ней дальше в чащу. Тропический лес был густой и шумный; со стволов свисали верёвки лиан, трещали цикады, а над головами с криком летали небольшие цветастые птицы, похожие на попугаев. Где-то через четверть часа тропинка вывела нас на большую поляну, на которой дугой стояли десятка два цилиндрических хижин с конусными крышами из жёлтой травы. Перед одной горел костёр. Нанизанная на толстую палку, между вкопанными в землю распорками, над огнём ароматно жарилась туша какого-то небольшого животного. Людей не было видно. Мы осторожно попятились назад к лесу – в посёлке явно жили туземцы. Кто знает, как они отнесутся к чужакам?

Неожиданно из крайней хижины выскочил чернокожий мальчуган лет пяти. Увидел нас, замер в изумлении и затем громко крикнул по-английски: «Мама! Смотри!» На его тревожный голос из хижины выбежала молодая негритянка в цветастом облачении ниже пояса, взглянув в нашу сторону, схватила малыша в охапку и скрылась в хижине. Тут же вышли двое мужчин-туземцев в набедренных повязках. Они настороженно осмотрели нас, потом один крикнул на каком-то странном, старомодном английском:

– Милорды! Наше племя ждало вас после сезона дождей. Какая срочная надобность привела ваши милости на Нижнюю Землю в это время?

Я велел Сэму стоять на месте, а сам, расставив руки в стороны, пошёл навстречу туземцам со словами:

– Господа, не знаю, кого вы ждёте, но мы не те люди. Я и мои спутники оказались здесь по воле случая. Наш корабль затонул во время шторма. Моё имя Алан, моего друга зовут Сэм. Скажите, что это за земля, как называется ваше селение, и есть ли здесь кто-то другой, кроме вашего племени?

– Милорд, – учтиво сказал по виду старший из них и низко поклонился, – это Нижняя Земля, здесь две деревни. Вы сейчас в Эльсиноре, а деревня Верона – в дюжине фуллонгов по ту сторону леса, где солнце уходит в море. Мы все – одно племя, других нет. Люди с белой кожей на большой лодке приезжают с Верхней Земли к нам два раза в год: после сезона дождей и потом ещё после сбора тамаринда.

Я стал спрашивать этих дружелюбных аборигенов: остров это или материк, сколько тут людей, кого и откуда они ждут после сезона дождей? Но они лишь сказали, что все вопросы лучше задавать королю, к которому они нас готовы отвести прямо сейчас, и с поклоном пригласили следовать за ними. Туземцы повели нас мимо хижин, из которых, как по команде, появилось множество негров обо-его пола и куча совершенно голых пузатых детишек. У большинства была иссиня-чёрная кожа, но попадались и более светлые, видимо, мулаты. Все с нескрываемым любопытством разглядывали нас, а когда мы проходили мимо, женщины приседали в книксене, а мужчины кланялись с удивительной церемониальной грацией, так несоответствующей внешнему облику обитателей джунглей. Это был какой-то сюрреализм наяву. Помню, меня удивило, что здесь жили негры, а не индейцы – всё же мы были где-то в районе Южной Америки. На лицах туземцев не было ни страха, ни даже тревоги. Самые смелые малыши окружили нас, а один сорванец цвета какао с молоком даже попытался потрогать пальцем «Томпсон» на плече Сэма, но отскочил и спрятался за спиной матери, когда Сэм строго погрозил ему пальцем. Мы прошли мимо ряда хижин и позади них в просеке джунглей увидели ещё много таких же строений. Вскоре с сопровождающим нас табунчиком любопытных мы подошли к самой большой хижине. Сэму и мне велели подождать снаружи, а двое наших провожатых откинули циновку, заменяющую дверь, и зашли внутрь.

Через пару минут они вернулись и стали по обе стороны входа. Оттуда вышел высокий пожилой мулат с церемониальным голов-

ным убором из разноцветных птичьих перьев. Он склонил голову и жестом пригласил нас зайти внутрь:

– Приветствую вас в Эльсиноре, добрые господа. Я король Генрих. Прошу в покои.

Можете себе представить, как я удивился, узнав, что туземного короля зовут Генрих, а хижина – это «покои»! Впрочем, не только слова, но и всё поведение туземцев выглядело как-то ненатурально, скорее по-театральному. Внутри «покоев» был полумрак, свет проникал лишь через дверь. Стояли две плетёные скамейки и стол с таким же плетёным верхом. На полу лежали циновки с замысловатым орнаментом. В глубине хижины с двух столбов свисало некое подобие гамака – видимо, королевская кровать. Генрих поставил на стол две глиняные плошки, затем из тёмной стеклянной бутылки налил в них мутноватую жидкость – угощение. На бутылке была видна потёртая этикетка с надписью по-испански: «*Viñade Columbia*», хотя жидкость ни по виду, ни по вкусу на вино никак не походила. Скорее, это была настойка из трав, довольно приятная на вкус.

Мы с Сэмом объяснили «его величеству», что у нашего корабля была пробоина, он попал в шторм и затонул, а мы четвером смогли на лодке добраться до берега. Он слушал молча и понимающе кивал головой. Потом я стал расспрашивать его, и он охотно рассказал, что в двух деревнях живёт около пятисот человек его племени, а других людей здесь нет. Нижняя Земля со всех сторон окружена водой, иными словами – это остров, у которого, на наш слух, было довольно странное название «*To-be Island*» («Остров Быть»). Король добавил, что на далёкой Верхней Земле (видимо, материк), никто из племени не бывал, но оттуда иногда приходит корабль с белыми людьми, которые говорят на непонятном языке. Они привозят разные вещи: ножи, мачете, гвозди, одежду из тканей, «огненную воду» и прочие полезные предметы. Меняют их на кокосы, тамаринд и циновки из трав и тонких лиан, которые весьма искусно плетут жители острова Быть.

Я спросил, как получилось, что их деревня называется Эльсинор, а его самого зовут Генрих. Король улыбнулся и сказал:

– А разве досточтимые господа не знакомы с Шекспиром? Эльсинор – это название деревни, где в прежние времена жил принц Гамлет. Обитатели «Острова Быть» с детства заучивают наизусть

роли разных персонажей. По заведённой традиции всем жителям Нижней Земли при рождении даётся имя какого-то героя из пьес досточтимого джентльмена Шекспира. Когда ребёнок вырастает, ему могут имя поменять согласно его поведению. Скажем, если он вырастет храбрым и ловким, то назовут его Отелло или Фортинбрас или Гамлет. Если будет хитрым и жадным – станет Гильдестерном, Розенкранцем или даже Яго. Девочкам мы часто даём имена Джульетта, Амалия и Офелия. Когда заканчивается сбор тамаринда и кокосов, мы всегда представляем какую-то пьесу и роли исполняют те, у кого есть нужное имя. В этот раз будем изображать «Короля Лира». Мой брат Лир, он живёт в Вероне, на сцене станет королём Лиром, а его дочери Корнелия, Гонерилья и Регана изобразят дочерей короля из пьесы.

– Это поразительно, – сказал я, – как же получилось, что здесь на острове, вдали от, как вы говорите, Верхней Земли знают и чтут Шекспира? Каким образом его имя и пьесы стали вам известны? Кроме него, каких ещё авторов вы знаете?

Тут настал черёд удивиться королю Генриху:

– А разве могут быть другие авторы? Есть Шекспир, а никаких иных пьес мы не знаем. Наши предки, также, как и вы, досточтимые господа, много лет назад попали на Нижнюю Землю после сильной бури (он использовал старомодное слово «*tempest*» – по названию одной из пьес Шекспира). Их вывел на берег и обучил белый человек по имени Хозяин. Он сначала сам не знал, смогут ли они хорошо жить на Нижней Земле, и, как принц Гамлет, часто говаривал: *To be or not to be? That is the question!* (Быть или не быть? Вот в чём вопрос!) Оказалось, что жить здесь хорошо, и потому он назвал Нижнюю Землю словом «Быть». Пойдёмте, я покажу вам покои Хозяина.

Он встал из-за стола и пригласил нас следовать за ним. Покои белого человека, которого звали Хозяином, оказались довольно большим рубленным домом – именно домом, а не хижинкой. Потемневшие от времени и тропических дождей тонкие брёвна были туго связаны лианами, а крыша, как и у хижин, была из травы и пальмовых листьев. Дверь была сплетена из ветвей бальзового дерева, ставни из травы плотно закрывали снаружи два небольших окна. Генрих открыл ставни, не без труда отворил дверь, и мы вошли в просторную пустую комнату. Король пояснил, что заходить сюда

могут лишь он и члены его семьи. Приходят они редко, чтобы почистить или что-то починить. На его памяти сюда приводили только одного белого человека с Верхней Земли, который приезжал за урожаем тамаринда, но он не понимал наш язык и его ничего тут не интересовало.

Вид изнутри был нежилой, не было ни стульев, ни стола, ни кровати. В правом углу лежал какой-то большой тюк, перетянутый кожаными ремнями, а в левом стоял небольшой кованый сундучок с застёжками, но без замка.

– Милорды, – сказал король, склонив голову, – вы первые из белых людей, кто понимает наш язык. В этом ящике (он указал на сундучок) сохранены вещи Хозяина. Они лежат здесь много лет с тех пор, как он умер. Мы не понимаем, что они значат. Благодарность моя будет равна лишь моему к вам почтению, если вы, добрые господа, посмотрите на эти предметы и проясните для меня их предназначение.

Он открыл защёлки и поднял крышку. Из сундука пахло влагой и плесенью. Сверху лежало несколько пожелтевших носовых платков, а под ними я увидел две книги в тёмных кожаных переплётках, пятизарядный кольт «Бэби Драгун», свёрнутую в рулон морскую карту, толстую записную книжку, несколько свинцовых карандашей, брегет и прочие еличные вещи. Я вынул из сундука одну книгу, отёр с обложки плесень и открыл. Это был сборник пьес Шекспира, изданный в Филадельфии в начале 19-го века.

Затем я стал доставать вещи одну за другой и объяснять королю их предназначение. Большое впечатление на него произвели часы и свинцовые карандаши, но особенно он был поражён книгами. Король был неграмотен и до него не доходило, что слова можно записать на бумагу и читать вслух. Ему было непонятно, как я, глядя на странные знаки на страницах, мог произносить знакомые фразы, которые он знал наизусть с детства. Это его очень забавляло. Я открывал книгу наугад в каком-то месте и начинал читать:

*Король, и до конца ногтей – король.
Взгляну в упор, и подданный трепещет.*

А он подхватывал и продолжал по памяти:

*Дарю жизнь тебе. Что ты свершил?
Прелюбодеяние? Это не проступок,
За это не казнят. Ты не умрёшь...*

Позабавившись таким образом с «его величеством», я опять стал перебирать содержимое сундучка, взял в руки записную книжку, крест-накрест перевязанную бечёвкой, развязал и стал листать. На титульном листе было написано: 1851 и имя Кристиан Хопс. Видимо, это и было имя Хозяина. Вначале шли разрозненные записи торгового обмена и инвентаризации: столько-то бочек пороха, голов свиней, бутылей джина, мешков маиса и тому подобное, столько-то рабов мужского пола, столько-то женского. На последних страницах была довольно длинная запись, начинавшаяся словами: «Предчувствуя скорый конец, излагаю последнюю мою волю...»

Конечно же, не помню всё на память, но смысл того, что прочитал в записной книжке, расскажу. Этот Кристиан Хопс, рождённый, если не ошибаюсь, в 1815 году в Бостоне, осиротел в пять лет и был отдан в приют, откуда подростком бежал и поступил в труппу бродячего театра. Сначала был там в услужении: ведал реквизитом, строил декорации, продавал билеты, вообще, был на все руки мастер, а потом стал ведущим актёром и переиграл почти все мужские роли в шекспировских пьесах. В возрасте 30 лет бродячая жизнь ему надоела, он из театра ушёл и отправился в южные штаты искать счастья и денег. В штате Джорджия устроился управляющим к одному работоторговцу, который снаряжал экспедиции в Африку для закупки негров. На Юге чёрные рабы шли по высокой цене и это был очень прибыльный бизнес.

Через шесть лет, скопив солидную сумму, Хопс ушёл от своего хозяина, арендовал 100-футовую трёхмачтовую шхуну, нанял капитана, который, как и он, бывал в Африке неоднократно, а также набрал команду из полторы дюжины матросов, после чего отправился через океан в Сенегал. Там у местного царька за два мешка одежды и стеклянных безделушек, а также три «Винчестера», выменял партию рабов: мужчин, женщин и нескольких детей. Погрузил живой товар в трюм и отправился в обратный путь через океан.

По дороге он заметил американский военный корабль, который просигналил ему остановиться для инспекции. В те годы завоз

рабов из Африки был запрещён, но южные штаты этот закон игнорировали. Инспекция ничего хорошего Хопсу не сулила – если поймают, всё конфискуют, да ещё отправят за решётку или даже на виселицу. Он приказал поднять паруса и пустился наутёк. От преследования удалось уйти, но вскоре на корабле вспыхнула эпидемия неизвестной болезни, причём заболела только белая команда, но не чёрные невольники. На ногах оставались лишь сам Хопс и помощник капитана Кларк. А тут ещё налетел шторм. Осень в южной в Атлантике – это время ураганов. Паруса на шхуне были подняты, а вдвоём спустить их не было никакой возможности. Встретить шторм с поднятыми парусами – смерти подобно, корабль наверняка будет перевёрнут. Хопс понял, что шансов нет никаких, вдвоём они со шхуной не справятся, поэтому приказал Кларку отпереть двери трюма, спустить на воду шлюпку, посадить на вёсла самых крепких невольников, взять с собой провиант, бочонок с водой, оружие и кое-какие личные вещи, а на свободные места в шлюпке разместить ещё несколько рабов обоего пола. Под покровом ночи, вой ветра и в пелене ураганного дождя они покинули корабль, оставив на волю стихии и Бога заболевшую команду и две дюжины африканцев.

Шхуну они вскоре потеряли из виду, а когда шторм утих и небо прояснилось, заметили на горизонте землю. Это и был остров, который Хопс впоследствии назвал «Быть». Там он поселился вместе с Кларком и чёрными рабами: семь мужчин и пятеро женщин. Остров оказался необитаемым, был гористый, бóльшая часть его была покрыта джунглями. До материка добраться не было никакой возможности, да и где он был, этот материк? Постепенно стали налаживать жизнь. На их счастье, это оказалось совсем неплохим местом: на острове в изобилии росли фруктовые деревья (манго, тамаринд, кокосы), текли ручьи с пресной водой и даже обнаружилось стадо диких свиней. Хопс обучал африканцев всевозможным ремёслам, в коих сам был сведущ ещё со времён службы в бродячем театре. Приказал всем называть себя Хозяином и разговаривать с ним, с Кларком и между собой только по-английски. С этой целью он организовал школу, где обучал невольников разговорному языку и счёту. Строго наказывал, если слышал хоть одно африканское слово.

Население острова быстро увеличивалось – женщины чуть ли не каждый год рожали младенцев – чёрных и мулатов, ибо Хопс и

Кларк не обходили африканских дам своим вниманием. Для собственного увеселения Хопс построил театр со сценой и занавесом, сплетённым из травы, где ставил пьесы своего любимого Шекспира. Невольникам он давал шекспировские имена, а всех детей с малолетства заставлял наизусть выучивать роли. Он оказался неплохим режиссёром: строил мизансцены, обучал своих подданных мимике, движению на сцене, добивался чёткой артикуляции, учил манерам поведения, изготовлению реквизита и костюмов из подручных материалов, и множеству прочих театральных премудростей.

Через пять лет случилась беда – Кларк утонул, и Хопс остался один на всё чернокожее население «острова Быть».



Прошло много лет. Хозяин дряхлел, зрение слабело, одолевали болезни. Однажды он понял, что жизнь его подходит к концу. Предчувствуя скорый уход в лучший мир, он поручил управление островом самому смышлённому мулату Фальстафу, в котором не без оснований полагал своего сына. Велел после своей смерти сохранить в целости все его личные вещи, обитателей острова объявил свободными людьми и даровал им право распоряжаться своей судьбой. Последняя запись была датирована 1885 годом, ровно за 60 лет до того, как записная книжка Хопса попала в мои руки. Вот и вся история затерянного в океане тропического острова, который ваш русский писатель-выдумщик назвал «Островом Разочарования». Про то, что произошло дальше, расскажу завтра вечером.

Когда на другой день Алан и Мэгги вдоволь наигрались в гольф и мы снова встретились, на этот раз у меня дома, Алан продолжил свой рассказ:

– На острове мы провели месяца полтора. Гостеприимные туземцы для нас четверых построили отдельную хижину, вкусно кормили, оказывали всяческие почести и даже иногда развлекали шекспировскими спектаклями. Вернее, пьесы целиком для нас они не ставили, а только свои любимые сцены. Репертуар у них был невелик, всего пять или шесть пьес, в том числе «Гамлет», «Отелло», «Король Лир». У посёлка Верона на большой поляне возвышалась сцена. Всё было, как в настоящем театре: занавес, задник, кулисы и даже некое подобие декораций и реквизита. Единственное, чего не было – это грима. На представление собиралось всё население острова, от мала до велика. Зрители сидели на траве, скрестив ноги, причём в первых рядах располагались женщины и дети, а за ними – мужчины. Публика принимала самое активное участие в представлении – все роли островитяне с детства знали наизусть, а потому эмоционально и бурно, криками, смехом и аплодисментами реагировали на каждое слово и каждый жест. Порой было даже трудно понять – кто из них актёры, а кто зрители. Если актёр на сцене путал текст или делал неверный шаг, из «зала» сразу кричали подсказки и указания. На нас это всё производило впечатление совершенно нереальное. Сами подумайте, каково мне было видеть Отелло и чёрную Дездемону в туземных одеяниях!

Островитяне говорили на вполне понятном английском языке, хотя словарный запас у них был весьма невелик, причём многие слова были старомодные, из шекспировских пьес. Речь их имела странноватый акцент, похожий на диалект, на котором говорят коренные жители Ямайки. Жизнь на острове была размеренна и подчинена строгому распорядку. Все поднимались с восходом солнца, завтракали и работали до полудня: строили и чинили хижины, плели циновки, готовили еду, ухаживали за стадом свиней в загоне. После полудня был отдых, а затем обязательная репетиция какой-либо шекспировской сцены. Ближе к вечеру опять работа и коллективный ужин.

После четырёх лет войны для нас это оказался просто курорт, хотя мы постоянно обдумывали способы, как оттуда выбраться.

Материк от нас был на западе, но как далеко, мы не знали, а в шлюпке горючего оставалось не более чем на час хода. Рисковать мы не хотели, тем более, что где-то через месяц с материка ожидался корабль закупщиков кокосов, и мы надеялись вернуться с ним в цивилизацию. Разумеется, мы постоянно следили за океаном в надежде увидеть какое-то судно.

Однажды, это было раннее утро, солнце ещё не взошло и мы спали. В нашу хижину забежал один из островитяно по имени Горацио, разбудил нас и тревожно сказал:

– Милорды, там в море недалеко от берега всплыла большая чёрная рыба, а по её шкуре ходят белые люди.

Мы схватили оружие и впятером кинулись к берегу. Когда подбежали к пляжу, около которого в зарослях была спрятана наша шлюпка, притаились за большим валуном и в полумиле от берега увидели большую чёрную «рыбу». Это была подлодка, явно немецкая. На её башне можно было разглядеть номер: U-234. В бинокль было хорошо видно, как около башни у открытого люка копошились два матроса в чёрной униформе. Они вытащили из него большой тюк, который оказался надувной шлюпкой. Спустили её на воду, туда сели три человека и на вёслах пошли к берегу. За спинами у них висели автоматы. Мы приготовились к бою: у Джима и меня были револьверы, Сэм держал «Томпсон», а матрос Чак – увесистую дубинку, которую он прихватил ещё в Эльсиноре. Безоружным был только Горацио.

Когда шлюпка пристала к берегу, немцы втащили её на песок, один из них уселся на борт и закурил, а двое других пошли в лес. Чтобы не спугнуть их раньше времени, мы решили действовать осторожно, отошли в глубь чащи, спрятались в кустах у тропинки, а Горацио по-обезьяньи ловко залез на пальму. Я дал команду моим спутникам не стрелять, а брать их живыми, без шума и суматохи.

Немцы шли в нашу сторону довольно беспечно, автоматы болтались у них за спинами, один что-то насвистывал, а второй протирал запотевшие очки. Когда они зашли в чащу, увидели тропинку и поняв, что здесь могут быть люди, насторожились и стали оглядываться. Выждав нужный момент, я махнул рукой и сразу же на одного из них с пальмы прыгнул Горацио, сбил его с ног и своей

широкой ладонью зажал ему рот. В тот же момент Чак выскочил из-за куста и деликатно, но с точностью опытного бейсболиста долбанул второго дубинкой по затылку. Тот беззвучно плюхнулся лицом в мох. Джим приставил ко лбу первого немца револьвер и знаками дал ему понять, чтобы помалкивал. Тот утвердительно заморгал и Горацио отнял руку с его рта.

Сначала немец с испугом уставился на чёрную физиономию Горацио, но когда перевёл глаза на Джима и разглядел его американскую униформу, лицо его расплылось в улыбке. Он что-то зашептал по-немецки, а поскольку я с детства неплохо помнил идиш, на котором говорили мои родители, то смог понять, что он благодарил Бога, что мы американцы. Чак повесил оба их автомата себе на плечо, мы пленников обыскали и уволокли поглубже в чащу. Немец, который получил дубинкой по голове, вскоре пришёл в себя, не сопротивлялся и лишь оторопело хлопал глазами. Мы посадили их у дерева, Горацио связал им руки тонкими лианами. Я спросил, говорят ли они по-английски, и тот, который был старше по званию, кивнул и на приличном английском ответил:

– Да, сэр, я говорю. Поверьте, мы высадились здесь с благими намерениями...

– Мы ещё поглядим, какие там у вас намерения, – сказал я. – На этом острове расположен американский гарнизон, и вы являетесь военнопленными Соединённых Штатов. Назовите ваше имя, звание, кто командир вашей подлодки и цель захода в наши воды.

– Я обер-лейтенант Альфред Клингенберг, подлодкой командует коммодор Йоганн Фелер. Мою группу послали сюда на рекогносцировку, чтобы узнать, есть ли здесь пресная вода. Капитан ищет контакты с американскими представителями, поэтому, сэр, я рад, поверьте, искренне рад быть вашим пленником...

– С какой же целью вы ищете контакты? – спросил я.

– Война проиграна, сэр, это давно всем понятно, – ответил обер-лейтенант, – никто не хочет бессмысленной смерти. Мы хотим домой. Капитан принял решение о сдаче в плен, и команда его подержала.

Я спросил, какое у них было боевое задание, и он мне ответил:

– Подлодка U-234 не боевая, сэр. Её конструкция предназначена для перевозки грузов и пассажиров. У нас, правда, есть два тор-

педных аппарата и две зенитные пушки, но это с целью защиты. Четыре недели назад мы вышли из порта в Норвегии с приказом доставить в Японию груз и группу пассажиров. Что это за груз, мне неизвестно. На лодке команда 14 человек, включая матросов и офицеров, и ещё группа пассажиров: четверо офицеров Люфтваффе, один эсэсовец, двое штатских и до прошлой недели было ещё два офицера Императорского флота Японии. Штатские – это учёные, их имён я не знаю. Похоже, что они сопровождают груз. Мы шли на юг вдоль берега Африки. Когда капитан принял решение о сдаче в плен, повернули на северо-запад в сторону американского континента. Днями шли в погружении на глубине шноркеля, ночами всплывали, а вчера вечером увидели этот остров, который не обозначен на наших картах. Коммодор приказал встать на якорь, и сегодня утром послал нас троих на рекогносцировку. Это всё, что я могу сообщить, сэр.

– Ну хорошо, – сказал я, – если это действительно так, как вы говорите, то дело принимает иной оборот. Я сам не могу принять решение, как поступить дальше с подлодкой и всей командой. Мы сделаем вот что. Я позволю вам вернуться на борт с такой инструкцией вашему капитану: с якоря не сниматься, всем членам команды оставаться на своих местах согласно штатному расписанию, на берег не высаживаться. Над башней поднять белый флаг. Капитану следует одному, без сопровождения, прибыть сюда на остров. Оружия при себе не иметь; он должен взять с собой судовой журнал, коды для связи с командованием и сопровождающие документы на груз, что находится на судне. Даю на всё один час. Если мои требования не будут выполнены, то... Впрочем, сами понимаете.

Пленнику развязали руки, и он побежал к берегу. Вдвоём с тем матросом, что караулил шлюпку, они стали спешно грести к подлодке. Второго пленного Горацио увёл в Эльсинор, а я стал продумывать план, как себя вести с капитаном, если он сюда прибудет. Вскоре мы увидели, что над подлодкой появился белый флаг; не прошло и получаса, как от неё отчалила надувная шлюпка. На вёслах был один человек. Сэм и Чак вышли на берег, и когда он причалил, помогли ему втащить шлюпку на песок, а затем вынули из неё небольшой кофр с ручками по бокам. Немца они обыскали а затем, прихватив с собой кофр, повели его ко мне в лес. Это был невысокий худощавый

офицер с серыми глазами и глубокой ямочкой на подбородке. Увидев меня, он козырнул и показал на кофр:

– Сэр, я коммодор Фелер, капитан подлодки U-234. Здесь находятся документы, что вы затребовали, и прибор для кодирования связи с германским адмиралтейством.

Я сказал:

– Коммодор, я капитан флота Соединенных Штатов Алан Т., команду гарнизона на этом острове. Сообщите о цели вашего похода и вообще, доложите о планах.

Он мне рассказал, что по личному приказу адмирала Дёница в норвежском порту на подлодку в полной секретности поместили довольно объёмистый груз, включая около сотни каких-то небольших, но очень тяжёлых ящиков. О содержимом ему не сообщили, однако он обратил внимание, что на большинстве ящиков были белые цифры U235. Капитан решил, что это ошибка, так как его подлодка имела номер U-234. На борт взяли четырёх офицеров Люфтваффе, одного офицера СС, двух штатских учёных-физиков, японского военного атташе и его заместителя. Состав команды был уменьшен до абсолютного минимума в 14 человек. Взяли курс на порт Миязаки в Японии.

После трёх недель в пути, по согласованию с офицерами и командой, он принял решение не идти в Японию, а сдать в плен Соединённым Штатам. Когда он объявил, что более не видит смысла выполнять приказы германского командования и планирует сдачу в плен, японцы сообщили капитану, что в этой ситуации единственное, что им остаётся, это покончить с собой. Он пытался их отговорить, но безуспешно. Они раздали членам команды подарки и личные вещи, ушли в свою каюту и там сделали себе харакири. Их похоронили в море с воинскими почестями. Короче говоря, этот немец подтвердил всё, что до того нам рассказал обер-лейтенант. Коммодор добавил, что идти напрямик в территориальные воды США он не хотел, так как опасался, что могут быть атакованы американскими подлодками или кораблями береговой охраны. Решили пока пристать у этого острова, чтобы взять запас воды, и уж потом двигаться на север в надводном состоянии, подняв белый флаг. Сказал, что очень рад встретить здесь представителей США и просит принять U-234 в качестве трофея, а команду и пассажиров как военнопленных.

Тут у меня возникла проблема – что мне с ними делать? Я же не мог подать вида, что на острове есть всего четыре американца – какой уж там «гарнизон», а главное, что у нас нет никакой связи с материком. Тогда я сказал капитану:

– Наш гарнизон не приспособлен для содержания пленных. Для дальнейшей судьбы вашейлично и всей команды будет куда лучше, если вы сами свяжетесь по радио с командованием Второго флота США и открытым текстом запросите принять вас в качестве военнопленных. Обязательно добавьте, что действуете по рекомендации капитана Алана Т., командующего американским гарнизоном острова, мой личный номер такой-то, далее укажите координаты этого места и сообщите, что имеете на борту специальный груз и пассажиров. Запросите инструкции. Дайте мне знать, какой вы получите ответ.



U-234 на буксире

Дальше всё получилось просто замечательно. Он вернулся на подлодку, там сразу же подняли антенну и передали нашему командованию в Норфолке то, что я ему сказал. Как я потом узнал, там сперва решили, что это чья-то глупая шутка, но велели ждать дальнейших инструкций. Однако, когда проверили мой личный номер и поняли, что я выжил при гибели нашего эсминца, то послали по

указанным в немецкой радиограмме координатам самолёт-разведчик. Пилот с воздуха увидел неизвестный остров и на рейде немецкую подлодку с белым флагом. Тогда к нам направили три корабля: противолодочный, эсминец и буксир.

Противолодочный пришел через день, а двум другим заняло ещё пять дней дойти от Флориды до «острова Быть», который оказался примерно в 200 милях от бразильского берега. Примечательно, что корабли подошли к острову 10 мая, и тогда мы узнали, что два дня назад война в Европе закончилась полной победой союзников.

Военнопленных немцев перевели на эсминец, оставив на подлодке лишь двух механиков и капитана Фелера. Остальные места заняли наши моряки. Решили своим ходом не идти, а взяли лодку на буксир и потащили её на базу во Флориду. Я и мои спутники распрощались с гостеприимными островитянами, оставили им в подарок множество полезных вещей, и на эсминце вернулись в тот самый флоридский порт, откуда началось наше столь необычное плавание. Так закончилось моё пребывание в роли Робинзона Крузо.

.....

– Погодите, Алан, – сказал я, – но вы мне говорили, что как и в книге Лагина, там была атомная бомба. Это что, правда?

– Ах, да, – ответил он, – бомба была, но не совсем такая, какую вы имеете в виду. Через несколько лет после войны я встретился с одним из тех двух немецких физиков-ядерщиков, что были на U-234. Сразу после прибытия в Штаты их подключили к «Манхэттенскому проекту», хотя и в его последней стадии. Направили работать на завод по обогащению урана в штате Теннесси. После войны этот немецкий физик преподавал в Принстоне и пару раз приезжал ко мне в Филадельфию. От него я узнал следующее.

Гитлеровская Германия начала разрабатывать ядерное оружие ещё в 1939 году. Американцам об этом стало известно, но серьёзно к этому не относились – никто тогда не понимал, что это такое. Впрочем, и в Германии идеям термоядерной реакции большого значения не придавали. Однако за месяц до начала Второй мировой войны Эйнштейн по просьбе Лео Сцилларда написал письмо Президенту Рузвельту с предупреждением об опасности и советовал начать работы над атомной бомбой. Он указал, что немцы прекратили экс-

порт урановой руды из оккупированной Чехословакии, а значит, она им самим нужна для военных целей. Это письмо послужило толчком к «Манхэттенскому проекту» и созданию в США атомной бомбы.

Немецкие учёные первыми поняли, что расщепление ядра урана должно высвободить колоссальное количество энергии, и нацисты, хотя поначалу не особо верили в военное применение атомной энергии, направили на работу над этой проблемой своих лучших физиков. Но тут, по американской поговорке, они «выстрелили себе в ногу» – к тому времени из Германии уже были изгнаны практически все крупные учёные-евреи. А как хорошо известно, серьёзной науки без евреев не бывает. Разумеется, и среди других народов были и есть прекрасные учёные, но именно евреи в силу своего исторического развития выработали большие способности к абстрактному и аналитическому мышлению – главный талант для учёного. Будь Гитлер поумнее и не изгони он из страны евреев, кто знает, он мог бы первым получить атомную бомбу и с ней завоевать весь мир. Но его эмоции были сильнее мозгов.

– Алан, – спросил я, – вы что, серьёзно думаете, евреи стали бы для Гитлера делать атомное оружие?

– А почему нет? Делали ведь они бомбу для Сталина, диктатора куда более страшного и не менее антисемитского, чем Гитлер. Вообще, обе ядерные программы, и в США, и позднее в СССР, были во многом еврейскими проектами. А вот у Гитлера евреев не осталось – уехали Эйнштейн, Сциллард, Ганс Бете, Лиза Майтнер, Макс Борн – вообще все великие физики с еврейскими корнями. Оставались, разумеется, немцы – Планк, Штрассман, фон Арденне и Гейзенберг, но это была капля в море. Ещё в 1933 году Макс Планк, человек в высшей степени порядочный, встретился с Гитлером и пытался убедить его, что изгнание евреев принесёт Германии большой вред, но Гитлер велел ему заткнуться.

Ядерная программа в Германии в основном развивалась на базе Института Кайзера Вильгельма, урановую руду добывали в Чехословакии и бельгийском Конго, тяжёлую воду и обогащение руды делали в Норвегии и других оккупированных странах, но вот саму бомбу они построить не могли – ни мозгов, ни ресурсов не хватало. К концу войны у немцев скопилось большое количество обогащён-

ного изотопа урана 235 (U^{235}) и они резонно опасались, что он попадёт в руки русских. Впрочем, часть всё-таки попала, но оставался ещё солидный запас в Норвегии.

Шли последние месяцы войны, и немцам стало совершенно ясно, что никакую атомную бомбу они сделать уже не смогут. Единственная надежда у них была на своего союзника Японию, которая сдаваться не собиралась. Тогда Геринг решил передать Японии технологию по изготовлению ракет Фау и запас обогащённого урана. Ему подсказали, что сделать атомную бомбу японцы тоже не смогут, но вполне реально изготовить «грязную» бомбу, то есть ракету, начинённую радиоактивным ураном. Ядерного взрыва не произойдёт, но разброс такого материала над территорией противника приведёт к заражению местности и сделает её непригодной для жизни, вроде как это получилось сорок лет спустя в Чернобыле. Нацистам терять было нечего, и они хотели унести с собой в могилу весь мир. Геринг приказал адмиралу Дёницу погрузить на подлодку запас обогащённого урана и техдокументацию для изготовления ракет Фау (V-2). Таким образом, на подлодке U-234 в Японию везли уран U^{235} – ну не ирония ли с этими номерами: лодка 234 везёт уран 235!

В это время война в Европе закончилась, и капитан Фелер благоразумно сдал лодку со всем грузом американцам. Таким образом, США получили неожиданный подарок в виде урана и детальных чертежей Фау, что помогло Вернеру фон Брауну, который в те же самые дни тоже сдался в плен, ускорить разработку американских ракет.

Вот вам и вся история... Хотя я всё же не могу взять в толк – как про это мог узнать ваш русский писатель? Не верю, что он это всё выдумал...

– Алан, вспомните, может, вы сами про это писали или кому-то рассказывали?

– Ну да, – сказал он, – сразу после возвращения домой ко мне пришли люди из OSS, это в те годы была военная разведка, которая потом превратилась в ЦРУ. Они попросили меня написать подробный отчёт о том, что произошло с эсминцем, как я попал на «остров Быть» и про немецкую подлодку. Я и написал, как это всё случилось и что я там увидел. В те годы любая информация, как-то связанная с ядерной программой, была строго засекречена, потому от меня

потребовали, чтобы я держал язык за зубами и никому ничего не рассказывал. Я и не рассказывал...

– Ага, – сказал я, – тогда у меня есть гипотеза. Только гипотеза, не более того, но, быть может, произошло вот что. Уверен, вы знаете, что в конце 40-х годов прошлого века многие правительственные учреждения и даже Белый Дом были на шпигованы советскими агентами. К примеру, в Госдепартаменте были АлджерХисс, Лоренц Дагган и множество других, известных и неизвестных полезных идиотов, которые поставляли Советам секретную информацию. Не исключено, что кто-то из них снял копию с вашего отчёта и переправил её в Москву. В то время Железный Занавес уже опустился и повсюду разворачивалась холодная война, поэтому советские решили, что из истории «острова Быть» и немецкой подлодки с грузом урана можно сделать неплохой пропагандистский материал для скармливания своему населению, и поручили эту работу писателю Лагину. Вот так могла быть написана повесть «Остров Разочарования».

Яков Фрейдин до эмиграции жил в Свердловске. Он – кандидат технических наук, работал в НИИ и одновременно кинокорреспондентом на ТВ.

В США с 1977 года. Был исследователем в CWRU (университет в Кливленде) и ряде американских фирм, основал 4 компании и преподавал в Калифорнийском Университете. Автор более 90 научных статей, 60 изобретений и популярного учебника по датчикам. Автор книги (по-английски) «Приключения изобретателя – Adventures of an Inventor».

Публикует рассказы в русскоязычных изданиях и на интернет-порталах в Америке, Европе и России. Постоянный автор журнала «Времена».

В 2017 году в издательстве Hurricane Books выпустил на русском языке книгу «Степени приближения» (Невыдуманные истории). В том же году журнал «Чайка», выходящий в США в электронном варианте, назвал Якова Фрейдина лауреатом как самого читаемого автора.

Живёт в Южной Калифорнии.

«Я ПО КАПЛЕ ОТ СОЛНЦА ВБИРАЮ...»

Марине Тюриной-Оберландер – 70

Марина Тюрина-Оберландер – поэт, переводчик, прозаик. Член Союза Писателей XXI века.

Родилась в Ленинграде в семье выдающегося учёного-почвововеда, академика И.В.Тюрина.

Закончила филологический факультет МГУ и аспирантуру того же факультета. По специальности филолог-скандинавист.

Работала преподавателем датского языка в Дипломатической Академии МИД, редактором в издательствах «Прогресс» и «Радуга».

С 2000 года живёт в Вашингтоне (США).

Ее переводы печатались в *Литературной газете*, журналах *Иностранная литература*, *Весь свет*, *Крокодил*, альманахе «Поэзия» (изд-во *Молодая Гвардия*), антологиях «Современная датская поэзия», «Современная норвежская поэзия» (изд-во *Радуга*).

Оригинальную поэзию и прозу Марина Тюрина-Оберландер

публикует с 2008 года. Книги «На остром рубеже пространства» (Водолей Publishers, 2008 г.), «Музыка слов» (Водолей, 2013 г.); публикации в журналах «Большой Вашингтон», «Время и Место», «Времена», «Чайка» (все – США), «Плавучий мост» (Германия), «Дети РА», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Персона Плюс» (все – Россия), «Опыт» (Иран, в переводе на персидский язык), газетах «Поэтоград» и «Литературные известия» (Россия), художественном каталоге «Россия – параллельная реальность» (на русском и английском языках).

В 2009 году читала лекции о современной русской литературе в Нью-Йоркском Университете, Международном Центре Вудро Вильсона в Вашингтоне и Пушкинском Доме в Лондоне.

В 2014 г. вышел альбом романсов и песен на стихи Марины «Когда врывается любовь», музыку к которым написал композитор Виктор Агранович.

В марте 2018 года вышла книга двух ранних поэтических сборников крупнейшего датского поэта XX века Ингер Кристенсен «Свет» и «Трава», а в сентябре 2019 года – книга современного классика датской литературы Сёрена Ульрика Томсена «Дрогнувшее зеркало» в переводе Марины Тюриной Оберландер с иллюстрациями юного талантливого художника Константина Фердинанда Вебер-Чубайса.

В апреле 2018 года Марина Тюрина Оберландер была удостоена Международной премии им. Леонардо да Винчи за многогранность дарования.

.....

Дорогая Марина! Примите наши поздравления! Продолжайте жить и творить с полной отдачей!

Редсовет журнала «Времена»

* * *

Спасибо за ощутимую помощь в подготовке номеров журнала!

***Издатель Леон Михлин
Редактор Давид Гай***

Я – РА

я – ребёнок распахнутой речи
я – Ра
я – простого рассказа предтеча
врастающей в зарево радуги точка
и радостью замороженная строчка

Я – Ра
я – раздолье разлившейся речки
я – ярость костра, укрощённая в свечке
и рысью рысачки с натруженной холкой
разбег по полыни разбуженным холмам

Я – Ра
я – закатный ребёнок рассвета
сентябрьским теплом от рожденья согрета
я – Ра
я по капле от Солнца вбираю
чтоб жизни радеть
за воротами рая

Я ПРОСТО ЖИВУ

только дня не прожить
чтоб с окон метлой
не смести паутину
я просто живу
только глаз ворожит
и в точке иной
отмечает рутину

И если со дна моего бытия
всплывает небесных цветов отраженье
не вижу
не слышу
не чувствую я

ни траченных бед
ни былых унижений

И плачут дожди
умывая цветы
и плачет роса
на траве успокоясь
предчувствуя луч неземной красоты
врезающий ночи затянутый пояс

ВРЕМЯ РАЗБРАСЫВАТЬ И СОБИРАТЬ КАМНИ

Константину

Мой внук в саду разбрасывает камни
они блестят
отмытые дождём
и как дождя сиреневые капли
ныряют в трав зелёный окоём

их много
и они ему забава
и постигая мир за пядью пядь
разбрасывает камни он по праву
не ведая
что можно собирать

я научу
малыш мой несмышлёный
пойдём в приливом взмытую гряду
гляди под ноги
их здесь миллионы
и веки ставь на пройденном году

вот динозаврик выгнул спину гордо
вот зайчик чутко ушки наострил

а это девочка
которой очень горько
обидел кто-то
в камень превратил

гляди
мой внук
а это сам Пикассо
смещённый глаз
и кособокий рот
а вот сова из старой мудрой сказки
и пёсья морда в полуоборот ...

Сижу в тени распластанных олив
и полдень в сон рукой прозрачной манит
и слышу
бабушка
там начался отлив
мы будем собирать сегодня камни?

Я СЕГОДНЯ УЖЕ НЕ УСНУ

одолела тоска
я в плену
одолела тоска – не печаль
и пустая доска как скрижаль
со следами затёртых надежд
отлетевших как блёстки с одежд
тень опутанных сетью вранья
где, Россия, свобода твоя?
разменяла её на гроши
отказавшись от прежней души

Нет России которую знал
нет Мессии которого звал
на закате непрожитых лет

нет вопроса на горький ответ
и не убрано с поля жнивье
и убого без Бога житье

Но за крепкой спиной торгаша
твоя прежняя бродит душа
и меня обнимает тоской
отнимая и сон
и покой

* * *

Не спит душа, неуязвима
постыдной лестью подлеца
и Бог касается незримо
осолонённого лица
и слёзы катятся открыто
не прерываясь
не таясь
страны разбитое корыто
покорно всасывает грязь
и ангела седые перья
состарясь в непроглядной мгле
спадают с крыльев от неверья
исправить что-то на земле

СТРОКА УШЛА

и даром что взошла
весь вечер грея вздёрнутую душу
но не спасла
печалям несть числа
и ветер гонит мой корабль на сушу

и ливни льют
и птицы не поют
гроза грядёт над грешной головою
но сад цветёт

и в жаждой сжатый рот
вино вольётся влагою живою

сплетенья снов
мне не заменят слов
как хлеба наречённого насущным
но той строки
исполненной тоски
мне не догнать за временем бегущим

КОСТРЫ

Моей великой тёзке

Нет пастернаковских костров
а есть цветаевские
последним сполохом дубров
не отцветающие
неперейдённые поля
и жизни прожитые
укрыла горькая земля
не под подошвами

нет мандельштамовских костров
суть – отрезвляющая
но смерчем пронеслась любовь
испепеляющая
и невоспитанным стихом
лукавой грешностью
закрыла дверь в краю глухом
с печальной нежностью

цветёт шиповник в сентябре
рябина клонится
конец поэмы на горе
твоя бессонница
а век печален и суров

за жизнь цепляющийся
и нет ахматовских костров
но есть цветаевские

ты эти души обняла
своей безмерностью
и пусть звонят колокола
по их бессмертности

ДО ВРЕМЕНИ И ДО ПОРЫ

я ухожу в свои миры
и тех миров уже не счесть
которых – нет
какие – есть
печаль живёт в былых мирах
в иных ещё таится страх
над полем стелется туман
раздольно сеется дурман
где душ отведавших обман
к любви не приобщит орган

я убежал из тех миров
под счастья призрачный покров
где правит бал сплетенье слов
и где основой всех основ
любовь

нам хорошо с тобой вдвоём
куда идём – куда придём
не загадать
но до поры
не уходи в свои миры

МЕТАМОРФОЗА

Я просыпаюсь в шесть утра
не знаю –
что со мной случилось
иль это дьявола игра
иль просто божеская милость?

ведь я всю жизнь была сова
с трудом с подушки отрывалась
отведав ночи колдовства
к рассвету не питала жалость
стихи в полночи лились
дразнили радостью и болью
и шоколадом с горькой солью
мне в вечной верности клялись

теперь же всё наоборот
встаю – чуть свет дневной завидев
и шоколад не лезет в рот
но лишь напиток безобидный
под скромным прозвищем
вода мне жажду жизни утоляет
а строчки ванечку валяют
и смысла ищут
иногда

Яков ФРЕЙДИН

ЖИЗНЬ СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА

Владимиру Фрумкину – 90!

*Кто без него мы? – Кучка лоботрясов.
Забвение – бесславный наш удел,
И только Фрумкин, современный Стасов,
Могучей кучкой сделать нас сумел.*

А. Городницкий

Есть же на свете счастливые люди! Не так чтобы было их много, но попадаются. Разумеется, даже у самых удачливых и счастливых жизнь никогда не протекает плавно, без взлётов и падений – так и в сказках не происходит. Случаются у них то светлыеудачи, то горькие потери. Всё в жизни бывает. Но если подвести итог, то баланс у счастливых выходит положительный. Вот таким везунчиком оказался мой друг Володя Фрумкин. Ему исполняется 90 – возраст, хотя по нынешним меркам не заоблачный (есть у меня приятели и постарше), но всё же достаточно солидный, чтобы оглянуться и спросить: «Ну, как ты получилась, жизнь моя?» Я подумал – не стоит спрашивать Володю о его личной оценке, а решил в этом эссе пройти по приметным точкам его судьбы и самому ответить на этот вопрос.

Нас с ним познакомил довольно давно, в 1978 году, наш общий друг и позднее мой коллега Алик Рутштейн – человек большой культуры и тонкого вкуса. До сих пор сожалею, что не довелось встретиться с Володей много раньше. Мне льстит, что он числит меня среди своих близких друзей – я попал в очень даже неплохую компанию. Судите сами: в этой компании были Галич, Окуджава, Высоцкий, Матвеева, Кукин, Бродский, Визбор, Лосев, Аксёнов, в ней до сих пор Юлий Ким, Александр Городницкий, Вероника Долина.

Что и говорить, не слабо по любой оценке. Все эти люди – в высшей степени неординарные, и с кем ни попало знаться не станут; стало быть, оказывался он для них интересным, а общение с ним было им и важно и приятно.



Владимир Фрумкин, 1968 г.

Началось у него, как у многих в то время: родился, учился, бежал от войны, эвакуация. Его родители жили в Белоруссии, в небольшом рабочем поселке. Отец был тех-руком спиртзавода, а это для любителей специфической интерпретации истории служит веским доказательством того, что евреи спаивали русский народ (и белорусский тоже). Впрочем, поскольку завод был государственным, то не совсем ясно, кто именно спаивал этот народ-богоборец: Арон Фрумкин или государство?

Когда в июне 1941 года немцы стремительно наступали, Арон, чтобы ценный продукт не достался врагу, слил на землю из цистерн 96%-й спирт-ректификат, после чего жители посёлка Ковгары кинулись к канавам с ведрами. Затем, уже будучи сильно под хмельком, они помылись-побрелись-приоделись, положили на полотенце хлеб-соль и пошли встречать немецких «освободителей». Они даже Володиному отцу советовали: «Не уезжай, Арон Менделевич, ты хоть и еврей, но человек хороший, не коммунист. При немцах станешь работать, они тебя оценят. А если что, мы за тебя замолвим словечко!». Поверил им наивный Арон Менделевич и совсем было

решил остаться, но тут 11-летний Володя неожиданно закатил истерику – надо бежать! Его поддержала мать. Такому напору Арон, человек мягкий, противиться не мог, тогда они запрягли заводскую кобылу Лыску и с двумя чемоданами двинулись на восток. Вот так в первый раз жизни интуиция спасла нашего героя; не подводила она его и во все последующие годы.

Путь был долгий и опасный, на телеге проехали они без малого тысячу километров и добрались до Курска, но по дороге остановились в Брянской области – в Почепе, родном городке Володиной мамы, ждали, что непобедимая Красная армия остановит врага и повернет его обратно. Хотели верить обещаниям партии, правительства и любимым песням:

*Мы войны не хотим, но себя защитим –
Оборону крепим мы не даром.
И на вражьей земле мы врага разгромим
Малой кровью, могучим ударом!*

Однако «малой кровью» как-то не получилось, и когда к Почепу стали подходить немцы, снова запрягли Лыску и рванули на восток. В Курске им удалось втиснуться в вагон, забитый вперемешку людьми и вшами, и после многих дорожных приключений добраться до Омска. Чем не везунчики?

Там, в Сибири, Володя рос и вырослел, по счастью с родителями, так как из-за плохого зрения Арона в армию не призвали. Кстати, слабое зрение его отца по иронии судьбы оказалось фактором появления Володи на свет. Если бы не было у Арона этой проблемы, довелось бы родиться его сыну не в Брянске, а в США. Вернее, получился бы это не Володя, а кто-то другой. Произошло вот что. Ещё в 1911 году семнадцатилетний Арон решил эмигрировать в Америку. Прибыл он на пароходе «Lithuania» в Нью-Йорк и встал в очередь на обязательную медицинскую проверку в Эллис-Айленд – пропускном пункте для иммигрантов. Зрение у него было слабое и на носу сидели где-то подобранные чужие очки, совершенно ему негодные. Из-за этих толстостёклых очков видел он ещё хуже, но главная беда — от напряжения глаза стали слезиться. Иммиграционный чиновник увидел его покрасневшие глаза, решил, что это трахома, кото-

рую в США тогда смертельно боялись, а потому во въезде в страну отказал и тем же пароходом отправил Арона обратно домой. Так из-за плохого зрения и чужих очков он в Америку не попал, и его сыну Владимиру пришлось родиться в Брянске. Неисповедимы выверты судьбы...

Ещё с детских лет Володю тянуло к музыке, пытался он играть на всевозможных инструментах: балалайке, гармошке, мандолине, гитаре. В Омске родители стали учить его игре на скрипке. Сегодня на скрипках играют в основном азиаты, а в те далёкие годы скрипка считалась еврейским инструментом и профессия музыканта-исполнителя представлялась весьма престижной. Тем более, что у Володи проявились серьёзные музыкальные способности.

Впрочем, тут не обошлось без некоторых проблем. Дело в том, что в военные годы из репродукторов, то есть чёрных тарелок-громкоговорителей, бурным потоком лилась советская пропаганда вперемешку с классической музыкой, подобранной на вкус тов. Сталина. Видимо, у вождя были две самые любимые мелодии: серенада Шуберта «Песнь моя летит с мольбою...» и песня Анатолия Новикова про сборщицу винограда смуглянку-молдаванку. Звучали они непрерывно днём и ночью, и на этом музыкальном фоне с Володей приключилась беда. От голода питался он бросовым жмыхом для корма скота, которым не брезговали крысы. От этих крыс он подцепил желтуху и тяжело заболел. Из-за сочетания желтухи и любимой Сталиным музыки, что непрерывно звучала из чёрных репродукторов, у нашего героя, словно у павловской собаки, выработался стойкий условный рефлекс в виде отвращения к этим двум произведениям. Желтуха, к счастью, прошла и с годами рефлекс сгладился, но и до сих пор, стоит ему услышать про смуглянку-молдаванку или серенаду Шуберта, или даже просто вспомнить о них, как к горлу подступает тошнота и тянет к зеркалу взглянуть, не пожелтели ли глаза? Большой учёный был академик Павлов!

Закончив в Омске музыкальное училище по классу скрипки, в 1948 году он переехал в Ленинград и поступил в консерваторию на теоретико-композиторский факультет. Учёбу в консерватории он заканчивал в недоброй-доброй памяти 1953-м году. На то, чтобы затем остаться работать в Ленинграде, у выпускника с «некрасивым» 5-м пунктом в паспорте надежды не было никакой, и его распреде-

лили в Читу. Однако повезло – тут как раз отдал концы «лучший друг музыкантов-теоретиков» и наступило хоть и временное, но всё же потепление. Распределение в Сибирь отменили и учёный совет консерватории (задним числом) рекомендовал Володю в аспирантуру. Там он стал работать над диссертацией о драматургии симфоний пока ещё опального Шостаковича. Напомню, в январе 1948 года великого Шостаковича по приказу Сталина в очередной раз подвергли остракизму. Среди тех, кто его шельмовал, был секретарь Союза композиторов Тихон Хренников. Когда в 1958 году обвинение в «формализме» было частично снято, по Питеру и Москве ходила такая эпиграмма:

*Жил да был композитор Хре.
Получил много Сталинских пре.
И, взойдя на ответственный пост,
Невзлюбил композитора Шост.
Но настало другое вре,
И ЦК отменил свое Пост.
И тогда композитор Хре
Полюбил композитора Шост...*

Работу про «формалиста-рецидивиста» Шостаковича Фрумкин написал почти всю, но не закончил, хотя большие куски из неё опубликовал. Чистая теория музыки его больше не занимала. Тем не менее, он продолжал писать серьёзные статьи для журнала «Советская Музыка», а издательство «Советский композитор» выпустило его популярную книгу об истории симфонии «От Гайдна до Шостаковича» (переизданную в Петербурге в этом, 2019 году). Замечу, в СССР всё было «советское», и музыка и композиторы. Я-то по наивности думал, что музыка – это искусство совершенно абстрактное, бывает она хорошей или плохой, мелодичной или шумовой, и т.д. Но советской? Что значит «советская музыка», я понять не мог, но, видимо, это была моя проблема. А вот Фрумкин заметил, что музыка может быть и советской, и фашистской, причём, та же самая музыка. Например, «Марш авиаторов», написанный ещё в 1920 году в Киеве эстрадниками Германом и Хайтом, стал популярной нацистской песней «Дрожат одряхлевшие кости» – нота в ноту. И таких

было немало. Впрочем, сегодня уже многим понятно, что красное и коричневое – это лишь оттенки одного цвета, а мелодия та же.

Характер у Фрумкина всегда был активный, непоседливый, по выражению писателя Игоря Ефимова, «высоковольтный». Володя любил преподавать, читать лекции, вести на ТВ передачи о музыке. В 1957 году его приняли в Союз композиторов. Он был автором и ведущим цикла музыкально-образовательных передач для детей и юношества «Путь к музыке». У него открылся редкий дар рассказывать просто о сложном, его лекции о музыке пользовались большим успехом.

С 1964 до 1972 года в Питере были невероятно популярны интеллектуальные телевизионные баталии старшеклассников на самые разные темы: от литературы до музыки до астрономии – до всего на свете. Музыкальные конкурсы в «Турнире СК» вёл Володя, а редактором и менеджером была талантливая и отчаянная Тамара Львова. Отчаяние ей и Фрумкину было совершенно необходимо. В те годы передачи обычно шли в прямом эфире, то есть без предварительной записи, а в Советском Союзе было негласное правило: «сначала завизируй, потом импровизируй». Нередко случалось, что школьники распускали языки и в эфире звучали совершенно крамольные слова, за что авторам передачи сулили большие неприятности. Позже, когда на студии появились первые видеомагнитофоны, передачи вначале записывали, а затем в «опасных» местах цензор отключал звук, вроде как «по техническим причинам».

Володя регулярно выступал с лекциями-концертами в «университетах культуры» и вузах Ленинграда. После одной из лекций о русской музыке в Доме культуры пищевой промышленности он был приглашен слушателями в новое кафе «Восток» на выступление авторов «самодеятельных песен». С этого вечера жизнь его развернулась в другую сторону. Причём разворот произошёл не только в профессиональной плоскости, но вообще вся жизнь его пошла по иному пути. Он был первый из профессиональных музыкантов, кто понял, что «авторская», а вернее, «гитарная» или бардовская песня – это самостоятельный музыкальный жанр.

Тут надо пояснить, чем же гитарная песня отличается от обычной, то есть официальной песни, исполняемой, скажем, под аккомпанемент рояля или оркестра. Сначала Володе и самому было не-

понятно, но постепенно стало проясняться после того, как в 1963 году наш общий с ним друг Алик Рутштейн, которого я уже упоминал, пригласил Володю к себе поужинать в компании с его приятелем, 23-летним Иосифом Бродским. А тот, вместо того, чтобы читать свои стихи, усадил Володю за рояль и спел... одесскую песню «Мурка», а потом, уже без аккомпанемента, песни поэта Глеба Горбовского. Музыка при таком исполнении отступала на второй план. Примерно так же получилось, когда Алик с Володей пришлив гости к Новелле Матвеевой и попросили её почитать стихи. Она сказала: «Знаете, я лучше спою. Когда читаешь, кажется, что ты навязываешься, заставляешь себя слушать. А вот петь легче потому, что я это делаю как бы для себя самой, просто напеваю...» Тогда Володя стал понимать, что поэт, напевая стих, чувствует себя (особенно в узком кругу) комфортнее, чем когда декламирует его. Гитарная песня – интимный жанр музыкальной поэзии, как бы доверительный разговор близких людей.

В традиционной песне главный компонент – это музыка. Порой бывает так, что композитор сначала пишет музыку с «рыбой», то есть с абракадаброй, бессмысленным текстом, к ней ритмически подходящим. Затем эта комбинация передаётся профессиональному поэту, который «рыбу» превращает в стих. Очень часто поэзия такой песни бывает далеко не самого высокого уровня – там главное музыка. В гитарной песне как раз наоборот, в ней ведущий компонент – слова, а музыка служит поддержкой, вроде как рамой для картины. Пожалуй, гитарная поэзия ближе всего к русскому романсу, однако спектр её несравненно шире – от лирической темы до политического протеста, но, в отличие от официальных песен, никогда не пропаганда. Разумеется, и среди официально разрешённых песен были прекрасные произведения с талантливой музыкой и трогающими душу стихами. Вспомните Френкеля, Фельцмана, Шаинского, Дунаевского, Богословского, Мокроусова, да и многих других первоклассных авторов. Даже в жёстких рамках официоза (а может, благодаря рамкам?) таланты себя проявляли, и народ эти песни пел не по приказу, а по душевной тяге. Впрочем, как в официальной песне, так и в «гитарной», было много мусора, но изредка попадался жемчуг. Для меня главная прелесть «гитарной» поэзии была в её неподцензурности и свободе. Когда исчезла цензура, ушла

и притягательность этого жанра. Впрочем, почти в то же время исчезли и талантливые официальные песни.

Жанр свободной музыкальной поэзии Фрумкина захватил целиком и он решил связать с ним свою профессиональную работу. Слова Городницкого, которые я вынес в эпиграф, совершенно точно отражают его роль в бардовской песне того времени. Он стал профессиональным популяризатором этого жанра, писал статьи, выступал с лекциями, сошёлся с самыми талантливыми поэтами-исполнителями: Галичем, Окуджавой, Кимом, Матвеевой, Городницким, Визбором, Высоцким и другими. Все они сочиняли музыку к своим стихам, пели её по слуху, но записать нотами могли немногие. Володя помогал, хотя это было далеко не просто. Он вспоминает: «... однажды Галич сказал, что ему нужны ноты своих песен, чтобы отправить на Запад для публикации. Когда я стал списывать голос Галича с магнитофона на нотную бумагу, понял, до чего прихотлива звуковая ткань галичевских композиций. Это был каторжный труд...»

Много лет спустя, году в 1984, в парижском журнале «Обозрение» Фрумкин опубликовал статью, где обратил внимание на интересную особенность Галича-певца, на его умение извлекать из одной мелодической «попевки» целую гамму эмоций и смыслов. Излюбленные им нехитрые мотивы умели чутко реагировать на движение сюжета, вели себя как оборотни – звучали то так, то этак, поворачивались на любой манер, принимая различную окраску с разными словами и в разных ситуациях. В том же году в Латинском квартале Парижа Володя встретил вальяжного Никиту Богословского «Вот это да! – сказал ему Никита Владимирович. – Я тут как раз прочитал вашу статью о Саше. Удивили вы меня. Мы ведь с ним близко дружили, он часто мне пел, но слушал-то я – слова. Остальное – пение, гитара – воспринимал как некую декорацию, не более. А вы об этом – обстоятельно, на полном серьезе. Занятно, занятно...»

Власти сразу почуяли, что гитарная песня – штука им не подконтрольная, а для коммунистов нет ничего страшнее того, чем они не могут управлять. «Магнитиздат», то есть любительские записи на примитивных магнитофонах, разносили эти не прошедшие цензуру песни по всей стране, они звучали в научных институтах, в квартирах, во дворах, им подражали, их обожали. Партийное руководство считало, что это есть идеологическая диверсия, потенциально

опасная для коммунистической диктатуры. Гитарную музыку проклинали «Правда», «Известия», «Советская Россия» и прочие газеты. Спустили с цепи профессиональных критиков и музыкантов, которые справедливо видели в бардовской песне угрозу собственно популярности. С разгромными статьями выступали артист Сурен Кочарян, музыковед Л. Энтелис, журналист Н. Лисочкин и многие другие. Композитор В. Соловьев-Седой предложил приручить гитарную песню. Он писал: «Надо лишь, чтобы в их создание включились не только самоучки, но и композиторы-профессионалы, которые должны показать, что хорошие стихи гитарных поэтов могут быть положены на хорошую, полноценную музыку, соединяющую доходчивость и искренность с высоким вкусом».



А. Галич и В. Фрумкин. Академгородок, 1968.

Против официальной армии критиков стоял лишь один Володя Фрумкин. Будучи сам внутренне свободным и вдобавок смелым человеком, он бесстрашно боролся за право поэтов-исполнителей тоже быть свободными, невзирая на то, что это ставило под удар его профессиональную карьеру. Коллеги советовали ему: «Зачем тебе это надо? Занимайся Генделем, Бахом, Вивальди, веди себя тихо, и всё уладится...»

Кульминация наступила 9 марта 1968 года в новосибирском Академгородке, где в набитом до предела Доме учёных проходил фести-

валь гитарной песни «Бард-68». Фрумкин представил публике Александра Галича, причём, стараясь оградить его от будущих нападков и сгладить впечатление от бунтарского характера, представил поэта как обличителя тёмных сторон недавнего прошлого. Для убедительности припас даже высказывание Шостаковича о том, что человеческая память – инструмент далеко не совершенный, она часто и многое склонна забывать. Художник этого права не имеет... Не помогла цитата. Галич взял гитару и даже не спел, а прокричал в зал свою песню о Пастернаке, где были такие слова: «...До чего ж мы гордимся, сволочи, / Что он умер в своей постели!» Зал был ошеломлён, потрясён, люди слушали, раскрыв рты и затаив дыхание. А потом все молча встали.

С этого дня Галич и Фрумкин для советской власти стали уже не потенциальными, а явными противниками. Галича исключили из творческих союзов, его пьесы запретили для постановок в театрах, в титрах фильмов вырезали его имя, выжали отовсюду, откуда могли, а через несколько лет – и из страны.

Жизнь Володи тоже резко усложнилась, его «прорабатывали» в разных официальных комиссиях, тормозили его публикации, он стал невыездным, в 1970 году его не выпустили из страны на фестиваль «Парижская музыкальная неделя». К 1974 году Фрумкину стало окончательно ясно, что его карьера как музыковеда в советской России закончилась, и по совету того же мудрого Алика Рутштейна он и его жена Лида, замечательная пианистка, подали документы на эмиграцию по израильскому вызову. Упаковали нехитрые пожитки, никаких ценностей с собой не везли, если не считать коллекции магнитофонных записей лучших бардовских песен. Прибыли они на таможню, там их тщательно проверили: не вывозят ли эти отщепенцы с собой на Запад какие-то музыкальные секреты? Даже взяли на инспекцию коллекцию бардовских песен. Однако отпустили с миром, и отправились Фрумкины на другую сторону планеты – в американский кукурузный штат Айова, где в те годы жил Володин дядя Герман, младший брат его покойного отца.

.....

У обычного человека есть одна жизнь, а у иммигранта – две. Решиться на разлом своей жизни на две части совсем не просто и не каждому дано. Много легче, если ты не один, когда твои родствен-

ники, друзья и знакомые уезжают из страны. Эмиграция из СССР и России принимала массовый характер в 1979 году, в конце 80-х и начале 90-х, да и сейчас едут. Это был поток. Но представьте себе, как трудно было пойти на это в 1974 году, когда СССР покидали единицы, а особенно, если тебе не 20, и не 30, а целых 45 лет. И когда у тебя не ходовая техническая профессия, с которой нигде не пропадёшь (как было у меня, когда я эмигрировал в 1977 году), а если ты музыковед с женой пианисткой? Да и язык у тебя в основном русский... Гуманитарные специальности не слишком-то востребованы в свободном мире. К примеру, в трёхмиллионном калифорнийском городе, где я живу, есть лишь один музыкальный критик в местной газете, и больше таких не требуется, а критик этот будет там сидеть до конца дней своих и место не освободит. Нет здесь спроса на русскоязычных писателей, поэтов, критиков, музыкантов, даже очень высокого уровня. Подумайте про это и, надеюсь, поймёте, какое отчаянное мужество надо было иметь, чтобы разломать свою жизнь на две половины в том далёком 1974 году.

Поначалу Фрумкины поселились в городе Де-Мойн, столице Айовы. Америка, за небольшим исключением, страна неходячая – везде только на автомобилях. Чтобы купить нечто даже сильно поддержанное, но всё же имеющее четыре колеса, надо было найти хоть какую-то работу. Как я уже сказал, США не испытывают острой нехватки музыкантов-теоретиков. Впрочем, музыкантов-практиков тоже, а потому пришлось нашему герою взять работу не совсем по специальности – наняться разнорабочим на фабрику мужских курток с зарплатой в \$3,29 в час, что в нынешнем эквиваленте примерно десять долларов. Работа была очень даже пыльная – забрасывать в оглушительно грохочущую машину грязные отходы стекловаты, которая шла на подкладки для курток. Стояла жуткая жара и духота, работа выматывала до предела, потому возвращаясь домой, Володя ложился в ледяную ванну и с ужасом думал, что завтра опять будет всё то же. После холодной ванны нужно было одеваться, принимать благородный вид и идти на очередной приём – среди аборигенов Айовы Фрумкины были экзотикой и шли нарасхват, ибо пришельцы из СССР в те далёкие годы являлись невероятной редкостью. Приходилось раскланиваться, улыбаться до боли в скулах и что-то там объяснять на своём примитивном в то время английском.

Но, как часто бывает в жизни, везёт тем, кто готов свой шанс не упустить. Проработав на фабрике 25 дней и сколотив на том состоянии в 500 долларов, он за эти деньги купил грандиозных размеров старый автомобиль марки «FordGalaxy-500», где цифра 500 видимо определила цену... Володя и Лида погрузили в багажник свои нехитрые пожитки и отправились в штат Огайо, в университетский городок Оберлин, что недалеко от озера Эри. Дело в том, что там неожиданно открылась вакансия директора Русского Дома, то есть общежития для студентов, изучающих русский язык. Первое, что он сделал после приезда, отнёс в акустическую лабораторию университета свою коллекцию бардовских песен, чтобы там её привели в порядок. К его ужасу оказалось, что на советской таможне все катушки с плёнкой были размагничены и вся прекрасная коллекция пропала.

Так начался 14-летний период его и Лидии университетской работы, где она стала профессором в Оберлинской консерватории, а он директором Русского Дома. Володя преподавал русский язык и литературу, ставил со студентами спектакли на русском языке, объяснял им, чем отличается жизнь в СССР и США, пытался, не всегда, впрочем, успешно, убедить молодых людей, что капитализм – хорошо, а коммунизм – плохо. Общаться со студентами в первые годы было трудно – часто возникало взаимное непонимание, чувствовалась разница в жизненном опыте. Например, однажды он дал им задание выучить стишок Корнея Чуковского, где были слова: «Не ходите, дети, в Африку гулять. Африка ужасна, да, да, да! Африка опасна, да, да, да!» Одна студентка-негритянка сказала Володе, что она на Чуковского за эти стихи обижена и не станет их заучивать, так как они оскорбительны для Африки. Вот тут помогли Володе долгие годы общения со школьниками и его питерские телепередачи – нашёл что сказать. Объяснил он студентам, что Чуковский написал не просто сказку для детей, но и тонкую пародию для взрослых. В «Бармалее» он высмеял приключенческие романы начала века про экзотические дальние страны, по которым бродят страшные хищные звери и жестокие разбойники. В них рассказывалось и про Африку. Так что все эти заклинания и устрашения, все эти «Не ходите, дети» и «Африка ужасна» не нужно принимать всерьёз. Это же ирония, насмешка над второсортной романтической литературой и

над поверившими ей наивными читателями! Вот так у музыковеда проявился ещё один талант – педагога и дипломата. Впрочем, не всегда удавалось ему переубедить студентов, воспитанных на полной толерантности. Они были убеждены, что любая идея и каждый личный выбор имеют право на жизнь. Когда Володя спросил, имеет ли право, скажем, людоед на свою трапезу, они немного подумав, отвечали – да, если у него такая культура.



В. Фрумкин, В. Некрасов, Л. и Н. Коржавины. Вермонт, 1982

Двадцать лет подряд, с 1976 по 1996 год, Фрумкин каждое лето проводил в Русской Школе Норвичского университета, что в штате Вермонт. Там он преподавал историю русской культуры и русской музыки, русскую драму, а вдобавок вёл кружок гитарной поэзии. В эту школу съезжались студенты-слависты из Америки и Канады, а лекции им читали Ефим Эткинд, Вячеслав Иванов, Виктор Некрасов, Лев Лосев и другие, которых можно назвать цветом русской культуры. Постоянным «писателем при университете» был Наум Коржавин, к нему дважды, в 1990 и 1992 годах, присоединялись московские друзья Фрумкина Булат Окуджава и Фазиль Искандер.

У российских профессоров с американскими студентами порой возникали те же проблемы, что и у Володи. Выросшим в почти тепличных условиях, не знавшим нужды, голода, страха, молодым американцам жизнь виделась в розовом цвете. Володя вспоминал,

как во время гастролей в Америке Ростроповича попросили послушать детей, обучающихся музыке. Приговор Славы был суров: дети играют грамотно, техника у них в порядке, но музыки – нет. Звучит она вяло, без нерва и страсти. А почему? Слишком хорошо живут. Комфортно и благополучно. «Заставьте их пострадать, – заключил Маэстро. – Бейте их. Желательно – ежедневно. Пусть испытают боль, пусть поплачут. Увидите – заиграют иначе». Примерно в том же ключе говорил на семинарах в Норвиче Володин коллега, бывший московский литератор Анатолий Антохин: «Вы никогда не станете людьми, никогда не поймёте, что к чему в этом мире, если не научитесь страдать, не помучаетесь как следует, не узнаете, почём фунт лиха. Читайте Достоевского! Учитесь у его героев! Поезжайте куда-нибудь, где вам будет плохо, очень плохо».

Володя, однако, быстро научился понимать психологию молодых американцев. Он смог увидеть, что американские студенты не такие уж бесхребетные хлюпики и не совсем наивны. Они отменные трудяги, живут не от сессии-до-сессии, как обычно учились студенты в СССР, а работают круглый год, занимаются ежедневно, не разгибаясь. Но вот что касается либерально-утопического мировоззрения, то это да. За последние 30-40 лет их взгляды ещё больше сместились влево, и теперь университетская молодёжь (и многие профессора) мало чем отличаются от китайских хунвейбинов 60-х годов прошлого века.

Есть у Володи добрый друг-тёзка, Владимир Матлин. В 1988 году он и его жена Аня рекомендовали Фрумкина начальству русской службы «Голоса Америки», и Володя получил приглашение. Хотя жаль было расставаться с уютным Оберлином, но работать на радиостанции, которая вещала на Россию, было почётным и интересным, своего рода *dejavu* после тех давних передач на питерском телевидении. Фрумкины долго не думали, и решили эмигрировать из штата Огайо в штат Вирджиния, что рядом с Вашингтоном, где находилась редакция вещания на русском языке. Лида, однако, не отказалась от своей профессорской должности в Оберлинской консерватории и ещё много лет ездила туда на работу из Вирджинии – 400 миль в один конец.

С тех пор «Голос Америки» зазвучал голосом Фрумкина. Он работал редактором, переводчиком, диктором и автором собствен-

ных программ. С 1991 года вел еженедельный дискуссионный цикл «Вашингтонские встречи» с постоянным гостем – Василием Аксёновым. Потом по телефону к ним присоединился Лев Лосев. Хотя между Аксёновым и Лосевым была взаимная неприязнь (из-за их противоположного отношения к Бродскому), в эфир это не просачивалось и вели они себя по-джентльменски.



Б. Окуджава и В. Фрумкин. 1990

Гостями Володи в радиопередачах бывали его друзья Булат Окуджава, Юлий Ким и другие поэты-певцы. А ещё вел он в прямом эфире (то есть без предварительной записи) еженедельные передачи «Говорите с Америкой по-русски» с телефонными звонками от радиослушателей из России. Однажды ему пришла в голову лихая идея: а что если не ждать звонков, а самому звонить наугад неизвестным людям? Эта передача получила название «Алло, вам звонит Америка». Он набирал случайный номер в России, а когда отвечали, втягивал людей в разговор. Получалось интересно и неожиданно. Однако, когда в Кремле воцарился Путин, в страну начал возвращаться страх, и люди стали побаиваться звонков из «Голоса Америки», после чего передача заглохла.

Фрумкин проработал здесь 18 лет, до пенсии. Все годы жизни в Оберлине и Вашингтоне он постоянно занимался литературной деятельностью. Вместе со своей дочкой Майей выступал с концер-

тами – они пели песни Окуджавы и других поэтов. В издательстве «Ардис» Володя опубликовал (в 1980 и 1986 гг.) два сборника песен Окуджавы, с нотами, комментариями, фотографиями; писал, да и сейчас пишет, потрясающе интересные статьи и книги о музыке и литературе.

Господи! Есть же на свете счастливые люди!

.....

Дорогой Владимир Аронович! Редсовет журнала «Времена» сердечно поздравляет Вас с юбилеем. Лет до 120, как принято желать евреям. Полагаем, к нашему поздравлению присоединятся многие сотни подписчиков и читателей журнала, имеющих возможность получать пищу для ума благодаря вашим умным, глубоким, актуальным публицистическим статьям во «Временах». Надеемся на продолжение творческого содружества!

*От имени и по поручению редсовета журнала
Издатель Леон Михлин
Редактор Давид Гай*

Виктор НОРД

«ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!»

Рождение знаменитого мюзикла

Окончание

Существуют сотни переводов и толкований известного изречения Перикла, но суть их остается неизменной: Нельзя сказать, что занимаясь своим делом, ты стоишь в стороне от политики, ибо любое дело без политики – немыслимо.

Иными словами – от политики не спрячешься.

На самом деле Меррик никогда и не пытался спрятаться, просто уйти от политики: его подход к событиям в мире и стране был куда более циничным. Они либо способствовали кассовому успеху его постановок – либо наоборот, мешали ему. Это, собственно, и определяло линию поведения Меррика – гражданина. То есть, гражданином продюсер Меррик был, прямо сказать, никудышным.

Дэвид не удивился, когда в начале августа 1964-го позвонили из Белого дома. Он лишь попросил секретаршу Хелен Никкерсон убедиться, что это не розыгрыш. Звонили из предвыборного штаба президента. Точнее, действующего президента до ближайших выборов – Линдона Джонсона. На подобного рода звонки опытный секретарь всегда отвечала, что мистер Меррик в данный момент находится за кулисами. Это давало ассистенту Делинну по меньшей мере полчаса, чтобы окольными путями разузнать причину звонка...

Несколько лет назад Алана Делинна, не обладавшего ни опытом, ни даже минимальным уровнем интеллигентности для работы в театре, наняли в офис с единственной целью. В детстве он дружил с одной из сестер Джона Кеннеди. Перед знакомством с Мерриком Делинн позаботился о том, чтобы тому показали телерепортаж о каком-то приеме в Белом Доме. На экране отчетливо видно было, как

проходя мимо ряда гостей, президент Кеннеди останавливается на секунду и дает дружеского тычка под ребра Делинну – а тот в ответ хлопает его по плечу. Достаточно, чтобы получить должность в офисе Меррика. Через месяц выяснилось, что мистер президент тогда же спросил помощника, кто это был такой – лицо вроде знакомое, а вот имя вылетело из головы... Но за этот месяц, пользуясь уже именем Меррика, Делинн оброс десятками важных знакомств и контактов.

Когда выяснилось, что группа астронавтов во главе с легендарным Уолтером «Уолли» Ширра собирается приехать в Нью-Йорк, Дэвид вызвал Делинна в свой красный кабинет и поручил обеспечить посещение всей звездной командой его мюзикла «Остановите мир – я хочу сойти!».

Еще с утра измученные бесчисленными тостами, речами и возторженными зрителями парада, бедные астронавты с трудом сумели высидеть длинное шоу до конца. Мюзикл был зачат в Лондоне для снобливой публики Вест Энда и включал в себя даже греческий хор. Половина астронавтов – и их жены – никогда до этого не бывали в Нью-Йорке и о функции греческого хора имели представление довольно смутное. Однако из Белого дома специально позвонили с рекомендацией посетить этот спектакль; героям неловко было отказать, и они героически дождались возможности сразу после шоу опохмелиться в баре напротив «Сарди'з». Телекамеры и репортеры при этом фиксировали каждый их шаг – а вместе с ними «случайно» попадал в объектив и Дэвид Меррик. Продажи его билетов в тот день подскочили в два с половиной раза. Такое вмешательство политики в искусство Меррику определенно нравилось. Ассистент Делинн оправдывал свое жалованье, и мы еще вернемся к нему.

О самом процессе проб, репетиций и сценическом воплощении «Долли» написано на удивление мало. Сохранились сотни страниц тщательно документированных хроник куда менее важных постановок со схемами мизансцен, режиссерскими партитурами, записями хореографии, света, смены декораций и т. п. Что касается «Долли», ставшей поворотным пунктом в истории музыкального театра – большинство ее рабочих документов, в том числе и юридически важных, каким-то образом не потрудились сохранить, даже в архивах Меррика. Впоследствии его мюзикл приходилось возобновлять,

пользуясь лишь копиями материалов, разбросанных по обе стороны Атлантики: оригиналы были бесследно утрачены.

Одним из объяснений такого феномена можно принять тот факт, что сам спектакль, много лет созревавший внутри его создателя, уже вполне сложился у него в голове, был практически – концептуально во всяком случае – полностью готов. Работа в репетиционном зале и на пробных сценических площадках, таким образом, являлась для продюсера своего рода антикульминацией, скорее техническим, нежели творческим процессом.

Но для этого надо осмелиться признать Дэвида Меррика главным создателем «Долли» – и даже сегодня рисковать за это получить публичную оплеуху от какого-нибудь критика, одного из многочисленных врагов самой идеи американского коммерческого театра.

Стоит раскрыть любой академический справочник – или популярные Википедии и любые другие ...педии – и в глаза сразу бросятся имена суперзвезд-исполнителей; авторов музыки, хореографии, сценического оформления, текстов песен, мастеров света и звука. И лишь где-то в конце, мелкими буквами и, как правило, в страдательном залоге будет упомянуто: «Представлено Дэвидом Мерриком» или «Дэвид Меррик рад (или даже горд!) представить звезд таких-то в новом мюзикле таком-то».

Нам кажется важным на минутку остановиться здесь и попытаться понять, в чем же собственно заключается суть профессии театрального импресарио – вернее, его американского эквивалента, бродвейского продюсера. Часто спрашивают, на что он, собственно, вообще нужен. Действительно, кто он такой, этот *спонсор* – пресс-агент, *пиарщик*, мешок с деньгами, контролер бюджета, организатор международных туров? Филантроп, наконец?.. Особенно если у него нет личных денег – а Меррик давно уже перестал финансировать свои проекты из собственного кармана.

Многие удивились бы, узнав что бродвейский продюсер – это прежде всего идеальная сваха!

Он посредник, без которого непредставим вообще никакой бизнес, но особенно такой непростой, такой эфемерный, зыбкий, как создание музыкального представления. Талант продюсера – это мастерство сватовства – совокупности, комбинации правильных

элементов, необходимых для создания спектакля: либретто («книги»), исполнителей («талантов»), музыки и хореографии, источника финансирования и еще десятка других важных факторов, от которых зависит судьба будущего шоу.

Для этого продюсеру следует прежде всего точно знать, какое именно зрелище он хочет создать: это знание и есть самый главный, первичный образ спектакля, его замысел! Среди пригорошни профессионалов – действительных, а не самозванных продюсеров театра, существует железное правило: если ты не в состоянии изложить на одной трети страницы, в двух абзацах, о чем и для чего ты хочешь создать спектакль – значит, ты сам к нему еще не готов – и даже в лучшем случае, т.е. в случае успеха, все равно останешься в убытке.

Ибо замысел и образ спектакля тебе все равно придется искать – но уже в процессе репетиций, дорогим мучительным путем, полным ненужных финансовых затрат, робких проб и болезненных ошибок, раздувая выходящий из-под контроля бюджет. И это еще – в лучшем случае, если волею небес публика аплодирует и покупает билеты – лишь тогда вместо позорного провала и угрозы банкротства ты получаешь еще шанс попробовать разок-другой, оставив твоих финансовых партнеров – инвеститоров списывать убытки.

Поэтому наиболее важным и интересным этапом работы над «Долли» для Дэвида явился поиск правильных творческих людей, или «талантов», как несколько нахально и наивно принято именовать их в шоу-бизнесе. Приходящий на ум дилетантский принцип «Больше талантов, хороших и разных!» или даже просто «Два плюс два – четыре» здесь не работает: любой продюсер знает, что самолюбивые «таланты» имеют склонность взаимно пожирать друг друга на сцене и что театральная склока способна легко погубить и привести к провалу даже самую блестящую, самую успешную пьесу.

Прежде всего, надо вспомнить, что даже самого названия «Хэлло, Долли!» еще не существовало. Будущий мюзикл имел рабочее название «Долли, эта чертова неугомонная баба», и над его сюжетом трудился Майкл Стюарт, в прошлом уже принесший Меррику успех своей работой в «Карнавале». Это был пока что единственный закрепленный контрактом профессионал в распоряжении Дэвида, хотя обычно либреттист работает в параллель с композитором.

Но самое главное, Этель Мерман, звезда, для которой годами и создавался весь этот проект, неожиданно отказалась играть Долли!

Кассовые успехи двух прошлых шоу Дэвида сейчас рикошетом ударили по его планам. Кто бы мог знать...

После успеха «Джипси» Мерман получила деньги, славу, международное признание и она не спешила с выбором новой пьесы. Актриса приближалась к пятидесяти, взять новую роль было, по ее словам, для нее «все равно что приподнять вуаль». Угрозы и крики в общении с дивами были бесполезны, это Дэвид усвоил уже давно.

«До сих пор, Меррик, я бывала автором каждой своей роли, – сказала звезда. (Дэвид владел собой достаточно, чтобы удержать при этом циничную ухмылку.) – Вот и сейчас я не желаю оказаться музыкальной тенью чужого образа, прославившего когда-то Рут Гордон в «Свахе».

О, это актерское честолюбие... Дальнейший разговор был бы пустой тратой времени. Дэвид остался без главной клоунессы, без своей *comediienne*, отправной точки всего его замысла. Надо было начинать все с нуля.

Для обычного продюсера такой удар означал бы на неопределенный срок отложенный проект – но не для Дэвида. Планы его, подобно падающим костяшкам домино, начали рушиться, собственно, еще раньше, но он упрямо рвался вперед, к началу репетиционного периода.

Еще в начале работы он лишился композитора: Боб Меррил наотрез отказался работать с режиссером Гауэром Чемпионом. Несмотря на огромный успех их совместного мюзикла «Карнавал», композитор не мог простить режиссеру публичные скандалы, доходившие почти до драки. Продюсер Меррик считал это нормальным творческим процессом; в конце концов, кассовый успех оправдывает все остальное. Режиссера с его диктаторскими замашками Дэвиду заменить было нечем; угрозы, потрясение кулаками и топанье ногами на композитора не сработали, и максимум на что согласился композитор – это изредка консультировать постановку в обмен на *ройялтиз*, один процент с будущих сборов. Шкура неубитого медведя.

Продюсер отправился искать нового автора музыки, а прежний, увенчанный лаврами успеха композитор – писать музыкальные номера для его более вежливых конкурентов.

В поисках артистов Дэвиду-бизнесмену пришлось пойти против многих своих правил. «Долли» была его детищем, его мечтой, и на этот раз он решил изменить принципу иметь дело только с самыми успешными, самыми признанными талантами. Музыка Джерри Хермана Дэвид услышал совершенно случайно. Тема «Молока и меда», комедии о вечной еврейской тоске по Земле обетованной, была бесконечно далека от вкусов Дэвида; он заглянул в театр только на минутку, чтобы сфотографироваться с тамошней главной героиней. Музыка Хермана привлекла его внимание, он остался в зале до конца первого акта, потом досидел и до финального номера – а когда занавес закрылся, пригласил композитора пересечь 44-ю улицу и подняться к нему в офис на несколько минут.

Херман до того ни разу не видел Меррика, и его поразили густые черные брови Могула и режущий глаза ярко-красный цвет стен его офиса.

– То, что я слышал, мне понравилось, – сразу перешел к делу Меррик, – но это оперетта, совсем не то, что я сейчас ищу.

– Но именно этого требовал материал, мистер Меррик, – робко возразил композитор. – Для того ведь меня и наняли.

– Мне нужен человек, способный написать стопроцентную *Американу*, – заявил Меррик, – а не очередную «*аудише маме*». Вот синопсис, полистайте его.

– Но мистер Меррик, девять десятых всей *Американы* ведь было написано сыновьями той самой *аудише маме*...

Могул нахмурил тараканьи брови: возразить было нечего, но он не любил, когда с ним спорили малознакомые. Был вечер пятницы; договорились, что в понедельник утром Херман принесет Меррику четыре музыкальных номера на темы «Долли» и тем докажет, что «*стопроцентная Америка*» – это именно его область творчества. Не теряя времени, композитор помчался к себе на шестой этаж без лифта в Гринич Виллидж, а Дэвид, тертый калач, пошел спать, уверенный, что мошенник притащит ему свои старые залежавшиеся запасы *из сундука* – и уж тогда-то он и покажет ему на дверь.

Но в понедельник оказалось, что все четыре номера ложатся в тему, как в обойму патроны. Это было точное попадание: три из четырех написанных тогда за ночь номеров впоследствии вошли в окончательный вариант спектакля!

...Меррик закрыл крышку рояля: «Что ж, малыш, шоу – твоё, забирай. И раз уж ты такой шустрый, начинай работать над вступительным и финальным номерами, полдела от этого зависит.» И крикнул вслед уже уходящему Херману: «И не вздумай ждать от меня поощрительных комплиментов – мы теперь одной веревочкой связаны!»

По дороге домой окрыленный удачей композитор стал насвистывать какую-то первую пришедшую ему в голову мелодию – она бодро ложилась на шаги и показалась ему даже почти знакомой. Придя к себе, Херман на всякий случай записал ее на свободном листке нотной бумаги и назвал «Call on Dolly» («Обращайтесь к Долли»).

Через несколько дней Дэвида ожидал еще один удар. Гауэр Чемпион, тот самый, из-за кого пришлось искать нового композитора, объявил, что будет занят на другой постановке и предложил подождать с репетициями «Долли» еще полгода. «Что ж, подождем, – согласился Меррик с беззаботной улыбкой. А сам в панике бросился искать замену режиссеру. Теперь на руках у него было почти законченное (но уже полностью оплаченное!) либретто; готова музыка, автор которой не был его первым выбором – и не было основного: ни режиссера, ни хореографа, ни исполнительницы главной роли.

Захватив с собой Хермана с его партитурой, Меррик явился на переговоры к Хэролду (Хэлу) Принсу, тогда еще не старому, но уже обладавшему десятилетним опытом самому успешному бродвейскому режиссеру. Прослушав музыку, Принс решил, что это, пожалуй, *не его чашка чая*, но чтобы как-то смягчить горечь отказа, мастер на прощанье дал создателям пару бесплатных советов.

Автору этих строк посчастливилось взять несколько интервью у этого легендарного старика, ушедшего из жизни совсем недавно, 31 июля 2019-го. В одном из них Хэл со смехом вспоминал, что прежде всего он рекомендовал создателям избавиться от «той кошмарной песенки в начале и в конце спектакля»: это был музыкальный номер «Хэлло, Долли!».

Еще смешнее было то, что и Херман, и Меррик охотно согласились с его рекомендацией. Оба считали, что эту тему, ту самую на ходу насвистанную счастливым композитором по дороге домой,

вполне стоило бы заменить чем-то более солидным, пышным, более основательным...

Поразительно, но похожая судьба выпала и на долю известной песни Дороти «По ту сторону радуги» из «Волшебника Изумрудного города» – руководство студии требовало вырезать ее из фильма; и песенки Одри Хепберн «Лунная река» – из «Завтрака у Тиффани», спасенную от ножниц только благодаря яростным протестам актрисы. И даже знаменитую «Кабаре!» прокатчики пытались выбросить, потому что Лайза Минелли неправильно произносила там это слово: *Кабо-Оре*, выпевала она, напирая на «о» во втором слоге...

К счастью, планы Гауэра Чемпиона вскоре изменились, он оказался свободен, с ним был немедленно заключен договор, и теперь уже вся троица занялась поисками главной исполнительницы.

Рамки журнального варианта этой публикации не позволяют углубиться в длинный список примадонн, к которым обращались авторы. Можно лишь уверить читателя, что ими не было упущено ни одно из мировых имен музыкального театра. И тем не менее, несмотря на репутацию продюсера и прошлый успех пьесы «Сваха», все дивы на их предложения отвечали отказом.

Наиболее интеллигентной и доброжелательной звезде показалось, что это будет шоу лишь одного музыкального номера, всего – пятнадцать минут действия, коими, собственно, и исчерпывается вся идея будущего зрелища. Остальные персонажи и их номера – это лишь механические двигатели примитивной фабулы.

Звезду звали Бетт Дэвис. И на первый взгляд, она была полностью права – а у Дэвида не хватало ни эрудиции, ни знания античного театра, чтобы объяснить актрисе, что в том-то и была оригинальность и новизна его замысла: поместить женщину-кукловода, вполне современную, реалистичную «*ЭмСи*», *Master of Ceremonies*, своего рода конферансье, – и поручить ей управлять всем бесконечным карнавалом, этим парадом условных образов-масок. И быть посредником между сегодняшним ньюйоркским зрителем и обитателями тихого предместья Йонкерс конца девятнадцатого века.

(Следует отметить, что менее чем через год все дивы уже соревновались за право сыграть главную роль в этом новом мюзикле.)

Как бы ни расходились мнения режиссера и продюсера в поисках главной героини, последнее, что обоим могло бы придти на ум – это обратиться к актрисе по имени Карол Чаннинг. Чемпион вообще не хотел о ней слышать – ему донесли, что эта дива, которой он когда-то *сделал имя*, предпочитала его хореографии работу заклятого конкурента Боба Фоссе. Меррик, в свою очередь, тоже не мог ей простить ранний успех: уже после своей второй премьеры юная Чаннинг попала на обложку журнала «Тайм», куда Дэвид много лет безуспешно пытался пробиться. Это ее второе шоу называлось «Джентльмены предпочитают блондинок», и международные туры, помимо прочего, обеспечили ей годы безбедного существования.

Успех Чаннинг, впрочем, был недолговечен; критики постоянно пели ей немислимые дифирамбы, но спектакли с ее участием быстро сходили со сцены и портили ей биографию вот уже более десятка лет.

Однажды агентесса актрисы правдами и неправдами затащила Меррика на «Миллионершу» по Джорджу Бернару Шоу; исполнение заглавной роли Дэвиду понравилось – во всяком случае настолько, что он согласился пригласить Чаннинг на короткую беседу к себе в офис.

– В чем дело? – начал Меррик в обычной своей бесцеремонной манере. – Твой опыт и способности только крепнут с годами, а спектакли – проваливаются. Что, нехватает силенок вытянуть на себе целое шоу?

– Ничуть, – не моргнув, парировала актриса, – просто мне приходится иметь дело с изнеженной молодежью: даже замечание на репетиции они боятся сделать, чтобы не задеть чье-нибудь самолюбие. А я – перфекционист, моим спектаклям вечно не хватает равного мне требовательного автократа, деспота, тирана типа Гауэра Чемпиона.

– Гауэр у нас есть, но он не хочет тебя. – не отказал себе в удовольствии сообщить Меррик.

– Так скажи ему, чтоб засунул свое мелкое, недостойное его таланта уязвленное самолюбие себе в бисексуальную задницу и дал мне шанс попробоваться на роль!

С годами у актрисы явно окрепли не только способности, но и

иммунитет к бродвейскому хамству. Сердце Меррика начало таять – если допустить, что у него вообще был этот орган.

– Хорошо, я попробую, – пообещал он. – Но только знай: мне тоже оскомину набили твои улыбки на снимках, этот огромный, от уха до уха, лягушечий рот и тридцать два сверкающих зуба в нем! Наше шоу совсем не об этом, это не реклама дантистов.

– Не волнуйся, это всего лишь для глянцевых обложек. Когда ты туда, наконец, попадешь, ты тоже засверкаешь зубами из-под усов. И не забудешь, держу пари, перед съемкой подстричь свои брови.

– Туше, – только и смог сказать Меррик.

В пятом часу утра из номера мисс Чаннинг в гостинице «Карлайл» вышли, пошатываясь от усталости, два прилично одетых джентльмена. Послав им вслед воздушный поцелуй, выглянула, запахивая халат, и хозяйка номера. Огромные зеленые глаза ее были обрамлены зловещими черными кругами, она едва держалась на ногах. В коридоре ночной страж-секьюрити, лифтер и горничная по-нимающе переглянулись.

– Все, Дэвид, ключ к образу в кармане у нас: утверждение жизни!.. И ведь умна, дрянь, как змея – ктобы мог подумать... – сказал в лифте один из гостей.

– А как выложилась на первой же читке! – воскликнул другой. – В полуобмороке наверное сейчас, но четыре часа репетиции – и вуаля, готова главная роль, нате вам. Что значит изголодаться по настоящей работе...

Перед выходом из гостиницы оба на минутку остановились внизу у внутреннего телефона.

– Вы еще не свалились, Карол? – спросил Гауэр Чемпион. – Ах, в ванной уже? – прошу извинить. Роль – ваша. Доброй ночи.

Среди профессионалов не принято именовать свой род занятий интригующими толпу названиями. Никому, например, в голову не придет сказать о себе: я – звезда! Это звучит еще нелепее, чем заявить о себе в России: я – олигарх. Или в США – я американец. Режиссер на Бродвее не режиссирует пьесу, а только *ставит* (*stages*) ее. На вопрос о профессии продюсер скорее всего скажет, что он только *собирает* спектакль (*puts the show together*).

С утверждением исполнительницы на главную роль «Долли»

была продюсером *собрана воедино*, и Дэвид-автор, завершив свою творческую функцию, вернулся к привычной для себя деятельности Дэвида-бизнесмена.

Разумеется, это не означало, что отныне все пойдет гладко и спектакль помчится по накатанной дорожке прямо к премьере на Бродвее. Когда после громкого провала своей брехтовской «Карьеры Артуро Уи» Меррик, мрачнее тучи, прилетел из Нью-Йорка на прогоны «Долли» в Детройт, ему это настроения не повысило. Шоу находилось в плачевном состоянии. Публика аплодировала жидко, на поклон актеры выходили хорошо если три раза, а местная пресса выражала сомнение, что спектакль вообще дотянет до ньюйоркской премьеры. Одна из рецензий даже так и называлась: «Прощай, Долли!»

Последовала обычная цепь скандалов, криков, угроз немедленно закрыть шоу, ответных угроз актеров откупить у продюсера все права и послать его наконец к черту, последовали попытки давать замечания режиссеру – сквозь все это уже проходили основные участники процесса в прежних постановках – и в «Джипси», и в «Карнавале».

«Если такое шоу и сможет стать *хитом*, это будет по совершенно глупой, ложной причине! – орал Меррик, топая ногами. – Оно сойдет в Лету, и никто не вспомнит о нем уже через полгода!»

...На столе у пишущего эти строки лежит оригинал записки, тогда же отосланной труппе ныне покойным Гауэром Чемпионом: «Когда мистер Усатый соизволит убраться восвояси, прошу сообщить об этом моей ассистентке и жене Мардж, и тогда я вернусь, чтобы продолжить работу».

Мистер Усатый восвояси не убрался, но письменно обязался больше не торчать в зале во время репетиций. Вместо этого он отстучал телеграмму в Нью-Йорк консультанту Мериллу: «Прилетай ночным рейсом уикэнд спасти свой процент точка шоу не (так! – НЕ) получается меррик». А заодно Дэвид *забил* на всякий случай помощь еще двух популярных бродвейских авторов песен.

И наконец, в качестве крайней меры он позвонил старому приятелю-менеджеру Джо Глейзеру и в порядке личного одолжения попросил того записать со своим клиентом на пластинку-образец

вступительный номер «Долли» – единственный, на взгляд Меррика, элемент спектакля, пока что готовый к премьере.

Такой давно уже не практикующийся способ рекламы был весьма популярен в то время: наиболее заманчивая ария мюзикла записывалась на одну сторону гибкой пластинки-«сорокопятки» каким-нибудь популярным исполнителем, и ее копии рассылались почтой во все бюро предварительных продаж билетов как сувенир и образец-приманка для зрителей и агентов.

Этим клиентом, популярным исполнителем с неповторимым голосом, был уже немолодой, но все еще пользовавшийся популярностью в провинциальной Америке и особенно за границей Луис Армстронг.

Взглянув на ноты, живой классик слегка пожал плечами, но спорить не стал: раз менеджер Глейзер просит, он знает, что делает. В ньюйоркскую студию «Брилл» был вызван композитор Херман для аранжировки – и ему тоже показалась смешной идея пригласить гиганта джаза записать нехитрую песенку в стиле 1890 годов, его *valentine*, нечто вроде цыганского приветствия: «К нам приехал, к нам приехал...» Впрочем, каждый из участников звукосессии, не тратя попусту время на рассуждения, занял свое место; подготовили аппаратуру, и через час дело было сделано: Армстронг записал «Хелло, Долли!», слегка переврав текст, сходил в уборную выкурить еще закрутку марихуаны, до которой был большой охотник – и забыл обо всем мероприятии: последний раз он записывался более двух лет назад.

Единственное, что отличало эту запись – это то, что предприимчивый издатель решил оттиснуть на обратной стороне одну из старых мелодий Армстронга и выпустить это в продажу коммерческой двусторонней пластинкой: не пропадать же добру...

В Детройте тоже не теряли времени зря. Прибытие «шоу-доктора» Меррилла поначалу оказалось неприятным сюрпризом для всей творческой группы, так как продюсер по своей привычке утаил от всех его приезд, а ему самому солгал, что все только и ждутаго, ожидая помощи. Напряжение в театре однако быстро ослабло, стоило «доктору» лишь взглянуть свежим глазом на действие и реакцию на него зала.

По его мнению, шоу было гораздо ближе к завершению, чем ка-

залось удрученному Меррику и приунывшей труппе; все дело было лишь в перекомпоновке сюжета: неверными, чересчур изящными номерами заканчивался первый акт и начинался второй. Им надо было найти другое место. Не хватало короткого, но яркого апофеоза в финале первого действия, этакого грубого, режущего глаза красками, а уши звуками шествия, общего *парада-алле!* Напуганный опасностью конкуренции «доктора», Херман, вернувшись из Нью-Йорка, сразу побежал к себе в отель работать над финалом, и в три ночи уже разбудил Кэрол Чаннинг, чтобы проиграть ей номер «Прежде, чем пройдет парад». Та была в восторге, и еще через три часа несколько человек во главе с режиссером слушали новый финал, притопывая шлепанцами и отстукивая на спинках стульев ритм. Все они были в халатах и пижамах – все кроме Меррика, уже одетого в свою формальную «тройку» с серым жилетом, ибо в сутки этот монстр спал не более четырех часов!

Не дожидаясь конца номера, Гауэр обернулся к Меррику: «Дэвид, ты понимаешь, что на это потребуются новые декорации и еще одна смена костюмов на весь состав?»

«Ладно. Валяйте. – ответил продюсер. – А мне после обеда надо быть в Нью-Йорке. Увидимся на той неделе».

И ушел.

«Даже не спросил, во сколько это обойдется, чудовище, – глядя ему вслед со злобным восхищением воскликнул режиссер. – А секретарше моей пятерку в день все не соберется прибавить, одни обещания...» Захлопнувшаяся было за Мерриком дверь внезапно снова приоткрылась и в щель просунулась его голова. «Она кроме этого еще и твоя жена, Гауэр! – напомнил продюсер. – От этого финала зависит судьба шоу – будет успех, все заработаем, у всех нас есть интерес. А можно хоть весь бюджет истратить на канцелярскую помощь – и конец шоу-бизнесу. А нет бизнеса – нет и шоу! Привет!»

Когда за Дэвидом снова закрылась дверь, в наступившей тишине Гауэр громко и, как многим показалось, счастливо рассмеялся.

«*Indomitable!* – только и смог сказать режиссер. – Другой бы занял: ставьте номер на фоне накрашенных холстов, а этот... Ничто его не берет. Несгибаемый шоумен!»

И эти слова режиссера подсказали мне название книги.

Через десять дней весь состав переехал в Вашингтон, и там в новой переписанной версии «Хелло, Долли!» *открылась* под овации восторженных зрителей и хвалебные отзывы прессы. Местные критики предупреждали ньюйоркскую публику, что ее ожидает сурприз: новый гигантский *хит*.

Через неделю после премьеры на Бродвее в театре Сент-Джеймс 16-го января 1964 года стало ясно, что действительность превзошла самые фантастические прогнозы провинциальной критики. После первых осторожных отзывов последовали недели усиливающегося экстаза, почти истерии – зрителей, газетных ревью, телерепортажей, радиопередач. Он нарастал подобно снежному кому, катящемуся по склону горы. Рецензенты принялись восхвалять костюмы, свет, музыку, хореографию, кордебалет; пели дифирамбы Кэрол Чаннинг и остальным исполнителям. Даже самые злобные обозреватели ухитрились теперь с сахариновыми улыбками находить слова одобрения и признания заслуг и для Меррика тоже.

А Дэвид только ухмылялся в усы. Он знал, что успех как огонь для ночных бабочек, привлекает десятки, сотни, тысячи друзей, и он-то знал цену этим новым друзьям и их признанию. Важнее было другое. Он чувствовал: период медленного, мучительного рождения нового зрелища благополучно закончился. И его трудная карьера, казалось, побежит теперь вперед в ногу с мировым временем. И почему-то ему было грустновато от этого...

Поэтому Меррик не удивился и не обрадовался, когда раздался звонок из Белого дома...

Между тем за временем на земле теперь уже просто было не угнаться никакой карьерой.

Пока «Долли» проходила свой тернистый путь от замысла к воплощению, в стране появился новый, молодой и фотогеничный президент, успел стать символом и надеждой юного поколения, успел наделать ошибок в мировой политике и дома, ощутил мир на грани ядерного конфликта – и, к ужасу нации, погиб на глазах приветствовавшей его толпы – и все это произошло менее чем за три года! Надежды на обновление мира сменили глубокое разочарование и тоска.

После убийства Джона Кеннеди, в атмосфере шока, подавленности растерянности, «Хелло, Долли!» оказалась именно тем средством, в котором отчаянно нуждалась больная нация.

Это разноцветное шумное зрелище захандрившая публика восприняла как напоминание о непобедимости оптимистического, жизнеутверждающего начала, столь свойственного Америке. На фоне провала мрачноватых, *социально значимых* европейских пьес новый мюзикл сверкал на Бродвее своей белозубой, наивно приветливой американской улыбкой, затмевая все остальные представления.

Вездесущий ассистент Делинн знал всех телефонисток Белого дома по имени; ему не понадобилось и десяти минут, чтобы выяснить, что звонили из предвыборного штаба президента с просьбой разрешить использовать для его кампании музыкальный номер «Хелло, Долли!». Меррик тут же пообещал эксклюзивный неограниченный *релиз* (согласие на использование) в обмен на личный звонок действующего президента.

– Классная мелодия, мистер Меррик, – пролаял с техасскими переливами в трубку Джонсон, – благодарствую.

– О, не стоит и упоминания, сэр, – отвечал Дэвид с британским акцентом, которому его научил гей – помощник официанта в «Сарди'з». – Я попрошу нашу звезду подскочить в ваши края и напеть необходимый текст. А после – от моей фирмы мы вышлем в фонд вашей кампании ее пластинки. Десяти тысяч копий хватит?

– Вау! – рыкнул президент, не привыкший к любезностям, – я ваш должник.

– О, прошу вас! – с самой светской улыбкой устыдил его Дэвид. И закончив разговор, он обернулся к звуковику, записывавшему беседу, и перешел на свой обычный тон: – Качество как? Найду хоть один изъян – уволю к чертям, понял?»

Вплоть до самых выборов на каждом своем сборище демократы распевали «Хэлло, Линдон!» тысячеголосым хором, вторя сияющей с экранов Карол Чаннинг; композитор аккомпанировал ей, а телевидение отправляло эти концерты в эфир для миллионов своих зрителей.

Позвонили из штаба республиканцев поинтересоваться, нельзя

ли и им тоже положить на популярную мелодию имя Барри Голдвотера, конкурента Джонсона, записать «Хелло, Барри!»

«Не вздумайте, – последовал хамоватый ответ. – Засужу – не расплатитесь!» Меррик-бизнесмен следовал своему обычному правилу верить не в претендентов, а только в признанных фаворитов, и в данный момент он ставил на демократов.

Джонсон победил. И на углу Сорок четвертой улицы и Восьмой авеню вывесили рекламный щит: Долли: «Классная мелодия!» (Президент Джонсон).

Снежный ком, однако, еще только разгонялся. Теперь все прежде забраковавшие Долли звезды терпеливо ожидали шанса ее сыграть. Все позиции были забиты, контракты подписаны: Этель Мерман, для которой когда-то писалась эта роль, была поставлена на очередь на шесть лет вперед! Ее давняя соперница Мэри Мартин, тоже отказавшись поначалу, опомнилась прежде Мерман и в этой роли покоряла сердца лондонских снобов на Вест Энд; русскими были запланированы ее выступления в Москве и Ленинграде в рамках Соглашения об Обмене, а пока что ей аплодировала не менее восторженная токийская публика.

Месяца за три до этого произошел еще один случай, которому сперва никто не придал значения. Во время выступлений в глубинке, где-то в Айове, Армстронгу из зала стали кричать: «Хэлло, Долли!» Поначалу он не обращал на это внимания, но крики повторялись на каждом концерте, и в конце концов он спросил своего басиста Арвелла Шоу: «Что за хэлло-долли такое?» – «Ну как же, мы записали эту песенку в Нью-Йорке». – «Правда? – удивился Армстронг, редко слушавший радио. – Хоть убей, не припомню. И что же, есть ноты?» Позвонили в Нью-Йорк, чтобы срочно выслали ноты – они уже вышли там тиражом в 300 тысяч копий и продавались по 75 центов за буклет. На следующем концерте в конце первого отделения он прямо с листа напел «Долли» – и весь зал встал и начал ему подпевать. В перерыве к сцене потянулись зрители за автографом; на руках у них были «сорокопятки», пластинки-сингл «Долли». Поклонники протягивали конверты с портретом исполнителя на подпись; сомнений быть не могло – на обложке было его собственное лицо!

В Небраске история повторилась: казалось, там уже у каждого

зрителя была дома пластинка! Армстронг решил впервые прослушать запись и вспомнил, что он вставил там в текст свое имя. С тех пор он решил так и продолжать петь, произнося свое имя по-южному; публика сходила с ума.

В начале мая 1964 года «Долли» Армстронга заняла первое место в списке главных *хитов*, потеснив впервые за три месяца прежних фаворитов, Битлз, с их «Can't Buy Me Love». Продажи его пластинки перевалили за миллион. Ветерану джаза было почти 63 года, за спиной была полувековая карьера; соперники его вполне годились ему во внуки. Ничего похожего гигантская грамофонная индустрия США не знала – ни до того, ни после.

И это еще был далеко не конец сюрпризов, ожидавших ее...

Для подготовки сценических площадок Меррик вылетел в Москву из Сиэтла через Токио. Там в ожидании московского тура все еще работала Мэри Мартин со своей труппой. Самолет едва приземлился, как Дэвида вызвали на срочный разговор с Нью-Йорком. Секретарша Никерсон только что получила телекс из Госдепартамента. Русские внезапно отложили визит «Хелло, Долли!» в знак символического осуждения военных действий США во Вьетнаме.

«Они тронулись там в Сайгоне! Какие к черту военные действия перед гастролями? Будем жаловаться в Белый дом! – заорал Меррик и неожиданно со смехом оборвал самого себя.

До него вдруг дошел весь абсурд собственной истерики, багровый румянец сошел, и лицо его приняло нормальный цвет. Выхода не было. Полмиллиона вылетало в трубу – и это только из его кармана! А скандал с партнерами, а банки? Нет, если уж не спастись от галопирующей истории, то надо было хотя бы попробовать ее оседлать.

«Хелен, срочно найдите Делинна, – успокоившись, попросил Дэвид. – Пусть свяжется со мной, я буду здесь, не отхожу от телефона».

Сообщение Госдепартамента о переносе гастролей «Долли» пришло в Белый дом в середине совещания президента по Вьетнаму. Джонсон глотнул воды, извинился перед военным советником Ачесоном и запустил недопитым стаканом в стену, даже не дочитав

тав до конца *мемо*. Видавший виды Дин Ачесон, бывший госсекретарь Трумэна, впоследствии злорадно объяснял этот взрыв бешенства общей атмосферой любительщины и провинциализма, на его взгляд, царившей тогда в Белом доме.

Помощники бросились наперебой успокаивать *босса*, но президент не желал ничего слушать. Он воспринял это как личное оскорбление. «Долли» полюбила его, он смотрел ее уже дважды и суеверно настаивал, что песенка оттуда принесла ему удачу на выборах!

И вообще – осточертели ему эти русские с их символическими осуждениями и протестами. Они капризничают, как пуританские барышни на деревенских танцульках, возомнившие, что все мужчины только и мечтают их изнасиловать. Вечно ко всему они пристегивают политику, а на простой вопрос, что бы их устроило, вместо ответа они спрашивают: «А что вы можете предложить?», опасаясь продешевить. Можно подумать, что даже в сортир у них ходят только *во благо мира во всем мире*, бушевал президент.

Джонсон надеялся, что новый советский лидер Брежнев, вступив в должность почти одновременно с ним, прекратит использовать оперетту в целях политического давления – куда там!

В ответ Белый дом не рекомендовал возобновлять Соглашение о Культурном Обмене (более известное как Договор Лэйси-Зарубина), срок которого истек к концу 1964 года. В хронике американско-советских отношений появилась новая запись: *инцидент «Долли»*.

В такой ситуации звонок из офиса Меррика администрация восприняла как неожиданный дар с небес.

Делинн передал по инстанциям предложение продюсера: вместо Советского Союза отправить шоу прямо из Токио во Вьетнам для показа в частях американских вооруженных сил. Через час об этом уже знал президент. Организовать линию связи Токио – Белый дом заняло еще десять минут. Русские захотели пропагандной войны – что ж, они ее получают сполна! «Классная идея, Меррик! – прорычал Джонсон. – Поглядим, чем сможем помочь».

Когда Президенту Соединенных Штатов кажется какая-нибудь идея *классной*, он может помочь многим. Пентагон предоставил группе мюзикла четыре «Геркулеса Н-130». В гигантские самолеты

уместили всех исполнителей, весь технический состав, оборудование, декорации, костюмы – всё, кроме жестких каркасов декораций. Колонну грузовиков с открытыми кузовами, охрану и вертолеты для туров на местах согласилось, поворчав, дать местное командование. Дополнительная ответственность означала лишнюю головную боль.

Джонсон лично позаботился, чтобы для его любимого вступительного номера актрисе обеспечили достаточно удобную лестницу: по ней во время своей партии Долли в сверкающем блесками платье, окруженная хористами, должна была царственно спускаться прямо к приветствующей толпе поклонников. Для этого по особой просьбе босса для премьеры освободили самолетный ангар на одной из военных баз. Президенту явно понравилось на минуту почувствовать себя продюсером.

А продюсеру Меррику, захваченному событиями врасплох, спасая свой инвестмент, поневоле пришлось заниматься политикой: ладить с военными, объяснять банкам выгоду беспрецедентной рекламы, заручаться поддержкой местных властей. Только сейчас Дэвид начал понимать, насколько похожи друг на друга обе эти роли: вся разница состояла лишь в том, что Меррик-продюсер должен был прежде всего уметь делать деньги, а Меррик-политик – знать, как их поэффектнее истратить!

Об успехе представлений «Долли» в Юго-Восточной Азии написаны книги, исследования; снят так называемый *спешл* – полнометражный документальный фильм NBC «Кругосветный вояж «Долли». Поначалу фильм назывался «Долли идет на войну» -- вскоре название благоразумно сменили. Туры начались с двух недель во Вьетнаме, но ввиду небывалого приема аудиторией, по личной просьбе президента последовали еще три недели – на военных базах Окинавы и Кореи.

Эти импровизированные гастроли стоят особой главой в американской истории. Достаточно упомянуть, что после азиатских туров «Долли» окончательно завоевала планету. Он шла на испанском, французском, иврите; была поставлена в «целиком черном» варианте; альбом с оригинальной записью спектакля в момент раскупался во всем мире; широкоформатная ее киноверсия, набитая знамени-

тостями, включая дуэт Барбры Страйзанд и самого Армстронга, вот уже третий год дожидалась конца бродвейских представлений, чтобы получить юридическое право выйти, наконец, на экран.

А «Долли» все шла на сцене и упрямо не желала ее оставлять: число ее показов перевалило за две тысячи, потом за две с половиной и конца этому видно не было. И это не считая еще около восьмиста лондонских представлений. И туров. И бесчисленных региональных постановок!

За это время успели появиться и с налета захватить Америку Битлз, покорить ее, опрокинуть все прежние представления о ее поп-культуре, и – распасться навсегда, оставив после себя лишь эхо «Битлмании»,... а простодушная «Хэлло, Долли!» все еще набирала скорость – и никто не в силах был объяснить причину этого феномена!

И вот тогда-то по просьбе посла Анатолия Добрынина с ним встретился посол Фой Д. Колер, чтобы попробовать возобновить Соглашение, в сердцах отмененное президентом Линдоном Джонсоном.

Мягким отеческим тоном Добрынин упрекнул американцев в неадекватной реакции на советский демарш. В конце концов, в ответ на ненадолго отодвинутые гастроли вполне можно было тоже отложить какой-нибудь там русский балет или цирк... Но зачем же нервничать и разрывать добрые соглашения?

Однако теперь посол Колер получил инструкции поставить жесткое условие: в новый текст Соглашения должен быть вписан пункт, обязывающий стороны строго следовать взятым обязательствам, и в случае внезапных изменений компенсировать все расходы пострадавшей стороне в твердой валюте!

Упрямые, но далеко не наивные русские быстро поняли, что Линдон Джонсон, старая лиса, оказался куда хитрее своих советников. Вместо презрительных насмешек он отдал должное советскому вызову и принял его. Как и его политические противники, он оценил огромный пропагандистский потенциал шоу-бизнеса, помогшего ему войти в Белый дом.

И когда Меррик, этот гений рекламы, предложил ему в ответ

на осуждение американского военного присутствия во Вьетнаме отправить отмененное Москвой шоу именно во Вьетнам, президент ухватился за эту идею обеими руками – и она сработала, да еще как!

Бесшабашная, неунывающая, и всегда доброжелательная Долли напомнила солдатам о доме, о тыквенном пироге на сладкое, о сестрах, женах и бабушках – о той сильно идеализированной Америке, во имя которой они, собственно, и были отправлены за океан рисковать жизнью.

Гений коммерческой рекламы Меррик оказался и гением политической пропаганды!

Настроение на военных базах было восстановлено. Отряды посланных Красным Крестом во Вьетнам из Америки девушек, румяных, спортивных и целомудренных, называли теперь не иначе как «Пончиковыми долли»: для поддержки боевого духа их миссией было встречать выходивших из боя солдат тележками с пончиками и горячим кофе.

Президент получил еще года два, чтобы расхлебать вьетнамскую кашу, заваренную его предшественником, и добиться более или менее пристойного выхода из войны. Удалось ли ему это вполне – вопрос интерпретации истории. Несомненно одно: надвигавшийся тогда моральный кризис 60-х в экспедиционных войсках, чреватый гигантской военной катастрофой, был предотвращен.

Что касается феномена Луиса Армстронга, закончить нашу публикацию нам помогли охочие до математических выкладок русские участники Фэйсбук. Они внесли поправку в скрупулезную бухгалтерию американских аудиторов.

Одному миллиону двумстам семидесяти шести тысячам восьмистам восьмидесяти трем продажам «Долли» в исполнении Армстронга они противопоставили свои расчеты.

В 1965 году, по их оценке, в СССР уже находилось по меньшей мере десять миллионов частных катушечных магнитофонов. Каждый был способен неограниченно копировать в домашних условиях любую запись. Допустив, что один владелец мог снабдить этой записью еще восемь человек, они пришли к очень консервативной цифре в восемьдесят миллионов советских слушателей «Хэлло, Долли!». И это похоже на правду: свидетели уверяют, что в одной лишь Москве

летом 1965 года из каждого открытого окна лилась всем знакомая мелодия, звучала на каждой танцплощадке. Тот редкий случай, когда нью-йоркская, мировая и московская мода шли нога в ногу.

Именно тогда вероятно, не в силах сопротивляться давлению своих внуков и детей, и дрогнули кремлевские старцы, и в кабинете Главного Стража советской идеологии и зазвонил красный телефон.

Стало ясно, что с «Соглашением об Обмене» русские дали маху: железный занавес не выдержал конкуренции с театральным. Сваха из Йонкерса прорвалась сквозь барьеры, кризисы и прочие символические позоры агрессорам. Пора было отпустить гайки, пока их не сорвало массовой любовью к незамысловатой мелодии.

По официальным оценкам, Тигра, поющего «Долли» в новогоднем «Голубом огоньке» 1966 года, прослушали сорок миллионов советских зрителей – только в одном временном поясе. По неофициальным – все восемьдесят.

За годы феноменального успеха спектакля «Хелло, Долли!» число его театральных зрителей слегка превысило 12 миллионов...

Наша история приближается к концу. Связь времен, начавшаяся еще во времена Новой Аттической комедии, а то и раньше, кажется восстановленной. Триумфальный полет нашего комического Персонажа Долли над океанами и континентами – результат влияния и взаимодействия талантов многих эпох и культур. От античной Греции и Рима, сквозь средние века к Возрождению и золотому веку Елизаветинцев; из девятнадцатого века легкомысленной Вены – в молодую жизнерадостную наивную Америку двадцатого; сквозь шок убийства братьев Кеннеди и кризис контркультуры 60-х – эту цепь завершает последнее звено: 63-летний Армстронг, увенчавший простую мелодию своими неповторимыми радостными интонациями, присоединив свой голос к хору вечного прославления жизни!

И на этом разрешите проститься с вами, дорогой читатель – и пожелать и вам радости и веселья от бесценного дара быть частью мира живых!

Виктор Норд – режиссер и сценарист. Ему было 19, когда по его репортажу был сделан документальный фильм «Ночной вокзал». Это помогло ему поступить в Институт кинематографии на факультет режиссуры.

В 1973 году В. Норд уехал в Израиль. Первой его работой там стали военные репортажи для Си-Би-Эс и документальный фильм «Третий день войны» («Война судного дня» 1973 г.) Главную роль в его художественном фильме «Сад» (1976) сыграла 17-летняя актриса Мелани Гриффит, и это положило начало ее успешной карьере в кино.

С 1982 года Виктор живет и работает в Нью-Йорке. Работы его представлялись на фестивалях (Канны, Сан-Франциско, Торонто, Таормина).

Недавно в Москве был издан его роман «Непредвиденные последствия» – первая большая работа, публикуемая на русском языке.

Виктор Норд – постоянный автор журнала «Времена».

Андрей ФРОЛОВ

ГЕНЕРАЛ СМЕРШ

Продолжение. Начало в №3 (7) 2018

Осенью 1952-го года на расширенном заседании руководства третьего Главного управления МГБ был заслушан мой отчёт о результатах работы по укреплению контрразведки войск Дальнего Востока. Отчёт получил оценку значительно выше удовлетворительной.

После этого я был принят зам. министра по кадрам Епишевым и затем министром Игнатьевым. Мне потом было сказано, что министр принял меня в связи с тем, что я был рекомендован на должность заместителя начальника 4-го Главного Управления МГБ СССР. Министр был не против моей кандидатуры, но усомнился, что в ЦК меня утвердят в этой должности, потому что жена моя еврейка. Игнатьев прекрасно знал Маню, она была его секретарём в Уфе. Он был о ней высокого мнения, но чем он мог мне помочь – он не имел никакого веса. Меня всё это очень заедало.

Тогда же, будучи в командировке в Москве, в гостях у наших друзей Саши и Тани Блиновых, я встретил Пашу Судоплатова, там же был и ещё один наш сотрудник – Серёжа Алексеев. Пили коньячок, слушали Петра Лещенко. Судоплатов сидел какой-то грустный.

Подвыпив, Алексеев намекнул мне, что это Паша организовал случайное падение Яна Масарика из окна в 1948-м году, в чём, впрочем, я и раньше несколько не сомневался. Ведь мы тогда уже подмяли под себя все страны Восточной Европы, один Масарик в Чехословакии ерепенился и пытался играть свою игру. Гибель его выглядела вполне закономерной...

Мысли мои однако вертелились в основном вокруг Мани. Я знал, что еврейские жены Калинина, Поскрёбышева и Молотова в лаге-

рях. Меня поражала неспособность трёх этих, якобы волевых коммунистов, отстоять близких людей. А вдруг и мою жену арестуют, а меня не тронут?..

13 января 1953-го года лежим ещё утром с Маней в постели, слушаем радио и, вдруг – сообщение ТАСС об обнаружении и аресте страшной банды врачей-вредителей, орудовавших в Кремле. Меня это просто потрясло:

- Липа! – кричу. – Враньё! Всё сфальсифицировали!
- Андрей, ты что, как ты смеешь такое говорить!? Прекрати!
- Да, липа, я тебе говорю!

Вот что такое слепая вера! С другой стороны, я ведь с Маней ничем не делился и она, как большинство советских людей, слепо верила Сталину и партии. Да и я разве не верил в виновность Тухачевского и Якира? И всё-таки какая наивность... Сама еврейка, а не понимает, что это же против неё и всей нашей семьи кашу заварили. А что тогда с других взять?

Конечно, мы с ней тут же помирились, я дал ей слово нигде больше такого вслух не говорить, и она ушла на работу более-менее успокоенной. А я ещё больше утвердился в необходимости бороться со всякой верой, которая держит людей в темноте и позволяет манипулировать ими. Ведь если ты во что-то поверил, значит уже обманут. Только размышлять, анализировать, встречать с недоверием любое утверждение, проверять практикой, сопоставлять с аналогичными случаями, всё подвергая сомнению. Так нас учили Шацкий и Стэн ещё в двадцатые, пока их не поставили к стенке. Сталин из Ленина специально икону лепил, чтобы нам глаза ей замазать, и вот до чего докатился. Но хрен с ним, будем как-то стараться выжить, не впервой уж, раньше удавалось и теперь как-нибудь – по натуре я всегда был оптимистом.

5 марта вся страна погрузилась в глубокий траур – умер Иосиф Виссарионович Сталин.

Сразу после его смерти Берия, назначенный главой министерства внутренних дел, начал наводить в органах порядок и, первое, что сделал – запретил пытки и всякие меры физического воздействия на заключённых. Это был огромный прогресс. А в начале апреля в «Правде» появилась статья, разоблачающая дело врачей

как фальсификацию органов и лично карьериста Рюмина. Исчезли слухи о готовящейся депортации евреев и открытая антисемитская пропаганда – было очевидно, что корабль меняет курс.

Мне это было глубоко симпатично.

Гоглидзе стал членом коллегии министерства и начальником 3-го управления (контрразведка в Советской армии и ВМФ). Он пригласил меня своим заместителем. Берия планировал перед утверждением со мной побеседовать, но был слишком загружен делами. Только посмотрел на мою фотографию в личном деле и сказал Гоглидзе: «Красивый парень – пусть работает» и подписал приказ о моём назначении.

Да, перспективы открывались отличные, у Берии, похоже, полно идей по перестройке работы органов, да и вообще жизни в стране в сторону меньшей кровожадности и людоедства. Хотя, конечно, и за ним наблюдалось сведение счётов и много чего еще. Но за запрещение пыток и прекращение позорного антисемитского «дела врачей» ему многое можно было простить.

Итак, я стал заместителем Гоглидзе. Одно мне в нем не нравилось – придёшь к нему домой, а там стены в картинах, мебель шикарная, ковры, статуэтки. А я-то ведь знал, что это всё – имущество репрессированных. Проводились в нашей организации такие позорные аукционы. Я туда ни ногой, да как можно...

Я вообще презирал всю эту тягу к вещам, к деньгам. А тут ещё имущество репрессированных. Меня это коробило. Никогда и гвоздя не присвоил, мебель только казённая, картины только друзей-художников или недорогие репродукции из магазина. Машину и ту отдал государству. И супруга, к счастью, такая же – никогда ничего не просит. Раз приглашают её генеральские жёны в Хабаровске барахлишко трофейное из Германии делить, шубы там, ковры, посуду. Пришла она, посмотрела: «А это описано?» – спрашивает. – «Да нет, потом опишут, бери не робей», – вот что ей ответили. Она мне звонит, я приехал, заставил всё описать как положено, и по сути запретил растаскивать. Понятно, на меня генеральские жены со злобой смотрели...

В конце апреля я получил указание арестовать Василия Сталина.

Сам не поехал – не хотел с ним встречаться, смотреть ему в глаза. Послал Серёжу Косинцева. Тот арестовал его прямо в ресторане.

Василий был уже порядком выпивши и орал, что его отца отравили, а теперь хотят и его. Тут же ему предъявили обвинение по статье 58.10 часть 2 – антисоветская пропаганда и агитация и вскоре впяли восемь лет тюрьмы. На том и успокоились.

Ирония судьбы – сына посадили по статье, изобретённой отцом против критики в свой адрес. Отец вырыл яму сыну. А мне было интересно, врал он или нет, по поводу отравления отца, и насколько эти его обвинения были обоснованы.

Берия я встречал только в коридорах Лубянки, он был весел, оживлён, на ходу кивал знакомым. А 17-го июня, оставшись за начальника Третьего управления МГБ, я был у него на совещании. Берия сидел в торце большого стола, а мы, человек двадцать по сторонам.

Он сходу наскочил на разведку: «Это чтё наци резиденты в США делают, я спрашиваю, чтё они там делают?»

Судоплатов с Фитиным ответили красноречивым молчанием.

– А я вам скажу, что они там делают – они сидят в библиотеках, выписывают из макулатуры и шлют нам всякую общеизвестную ерунду, выдавая её за ценную агентурную информацию. Так чтё, мы им за это деньги платим? Что они мне пишут? Какая месяц назад была погода в Нью-Йорке, вот что они мне пишут! Я хочу знать, о чём президент Америки не только говорит со своими доверенными лицами в Белом доме, но и чтё он думает, вот что я хочу знать!

Судоплатов с Фитиным сидели, опустив головы, и записывали то, что говорил им Берия. Не только они, но и почти все присутствующие делали вид, что стараются записать каждое слово всесильного министра. Один я сидел с равнодушным видом и даже ручку не вытаскивал из кармана – терпеть не мог придуриваться. Моим отделом Берия не заинтересовался, и я так и остался одиноким зрителем. А Берия не унимался:

– Это чтё у нас делается в ГДР, кто-нибудь может что-нибудь толком сказать? – воцарилась гробовая тишина, как в классе, когда учитель задаёт какой-либо сложный вопрос и все избегают попасться на глаза. Обведя поочерёдно всех взглядом, Берия продолжил:

– Вот Сталин, что натворил, какую-то ГДР придумал нам на голову, социализм ему надо было в Германии строить. Он заварил, а мы расхлёбывай! Зачем немцам социализм? Зачем, я спрашиваю?

Все как в рот воды набрали. Меня покорила такая откровенная критика умершего Сталина, но, понятно, смолчал. Вообще, мне как-то не понравились самоуверенная манера и речь Берии. Заметив мой взгляд, он посмотрел на меня и спросил:

– Чтё, неужели все согласны со мной? Неужели никто не хочет со мной спорить? Почему никто со мной не спорит? Сидите и только головами киваете. А потом будете говорить – это всё Берия, Берия. Спорьте со мной, спорьте!

Но никто и не пикнул, и Лаврентий Павлович только рукой махнул.

За пару часов до этого совещания у Берия ко мне зашёл Гоглидзе:

– Еду, Андрей Петрович, в командировку в ГДР подавлять восстание, вы остаётесь за меня.

Повернулся и вышел из кабинета.

Было видно что он не в своей тарелке, что-то его гнетёт. Ещё более странно, что он, всегда очень интеллигентный и воспитанный, даже не попрощался, хотя мы были в очень хороших, уважительных, можно даже сказать, приятельских отношениях. Пока я удивлялся, он вернулся, вид его был очень грустным, в глазах неуверенность и тревога.

– Андрей Петрович, я очень извиняюсь, забыл с вами попрощаться, – и крепко пожал мне руку, посмотрел печально и вышел. Больше я его не видел.

26 июня, когда мы с Маней на нашей даче в Рублёвке ещё досматривали утренние сны, я, вдруг услышал урчание танков. Сначала я подумал, что мне просто снится война, но потом понял, что звук реален. Я вскочил и подбежал к окну. В направлении к центру города, в свете утренних лучей солнца, двигалась колонна сочно-зелёных тридцатьчетвёрок. Я тут же разбудил Маню: «Это что-то нехорошее...» и бросился к телефону. Я позвонил к себе в Третье управление. Трубку взял один из молодых сотрудников. Я его попросил разобраться, в чём дело, почему войска идут на Москву. Он долго куда-то ходил, но так ничего и не узнал. Я его выругал за неспособность разобраться в обстановке и позвонил военным.

– Штеменко слушает, – ответили в трубке.

Хорошо, что попал на него – с заместителем начальника Генштаба мы были достаточно близко знакомы.

Я представился.

– Сергей Матвеевич, сообщаю: по дороге по направлению к центру движется колонна танков.

– Вы не беспокойтесь, товарищ Фролов, мы всё знаем, всё в порядке, спокойно отдыхайте, скоро появится официальное сообщение...

А через пару часов по радио сообщили об аресте Берии.

Обстановка сразу изменилась. На Лубянке провели собрание, на котором мы единодушно осудили преступника и шпиона Лаврентия Берия. Рядом со мной сидел муж знаменитой балерины Лепешинской Леонид Райхман. Пару лет назад был арестован по «делу Абакумова», после смерти Сталина был освобождён из-под стражи и реабилитирован. Никто тогда не знал, что его ждет новый арест и немалый лагерный срок. Райхман незаметно давил мне коленку – типа слушай, как сейчас на нас всякую чушь понесут. Так и произошло. Выступил очень неуважаемый мною бывший заместитель Берии Серов с обвинениями в наш адрес: «Вы у Берия в кармане сидели!». Я хотел крикнуть ему: «А вы, партийные, в каком месте у Сталина сидели?», но сдержался.

Потом в перерыве всё-таки не выдержал и сказал это вслух в разговоре с Судоплатовым и Райхманом. К сожалению, это услышал проходивший рядом кадровик Малыгин, с которым у меня отношения были не очень. Мы, профессиональные чекисты, плохо относились к присылаемым к нам партийным работникам, а Малыгин был из таких. Он и на фронте-то не был, а нос задирает куда там. Теперь он командовал у нас кадрами..

– Как вы сказали? – уставился Ардальон Николаевич на меня.

– Как надо, так и сказал, – отрезал я, прямо глядя ему в глаза.

– Для меня партия это всё. Я вам этих слов не забуду, – сказал он, повернулся и пошёл по коридору.

В общем, у меня как выдвигенца Берии дела были швах, тем более, что арестовали моего непосредственного начальника – Гоглидзе. Его тут же обвинили в шпионаже и всех бериевских грехах. На

меня завели партийное дело, поставили в вину, что я был с Гоглидзе в приятельских отношениях, а Маня брала почитать у его жены книгу «Югославская трагедия». Это уже было серьёзно.

В июле меня отстранили от дел до окончания следствия. Целыми днями я сидел дома с детьми или гулял с ними в парке, но мысли мои были только о том, как выскочить из этого дела, как уцелеть.

Однажды, когда мы шли с Юрой по центру, около нас притормозила машина и из неё вышел маршал Малиновский, командующий войсками Дальневосточного военного округа.

– Здравствуйте, Андрей Петрович, как дела, как семья? – и он пожал мне руку.

– Дела – как сажа бела, сами знаете, Родион Яковлевич...

– Знайте, я всегда на вашей стороне, и если будут проблемы, обращайтесь прямо ко мне, не стесняйтесь, я постараюсь помочь.

– Папа, ты к нему обратишься? – спросил меня с надеждой Юра.

– Нет, сынок, чем он может мне помочь? Только себе шею сломает. Как в жизни получается – я ведь Малиновскому дело шил, за каждым его шагом следил, и он прекрасно об этом знал, а готов помочь с риском для своей репутации. Вот что значат личные симпатии и антипатии – никогда не предскажешь, что у кого на душе, – и мы с сыном пошли себе дальше.

Настроение было скверное. Это был уже новый капкан. Очень большой и крепкий. К тому же Маня была беременна нашим последышем Андрюшкой, как решили мы его назвать. Да, четверо детей в такое время. Что с ними со всеми будет? Спал я очень плохо, что для меня совершенно несвойственно.

А тут зашёл Косинцев и рассказал об аресте Паши Судоплатова по обвинению в государственной измене. То есть натягивают ему вышку. Я обомлел. С какой стати? Зачем это Хрущёву? Что он мог иметь против Пашки? Паша ведь напрямую с массовыми репрессиями не был связан. Почему его надо так срочно убирать? Ну – Гоглидзе, понятно, лицо, приближённое к Берии, но Паша? Он ведь не был приближённым Берии, ни его выдвиненцем, Берия его не привозил в Москву, он с ним не пил, так как Паша вообще не переносил алкоголь. И вдруг его обвиняют в попытке сговориться с Гитлером – полная чушь. Тут что-то другое – Паша чем-то очень неудобен

Хрущёву, что-то знает такое, чего знать бы не должен. Короче, Паша влип, и как бы мне за ним не последовать...

Шубняков тоже был под следствием – его обвинили в убийстве актёра Михоэлса. До этого Федя, как и Райхман, был арестован по «делу Абакумова», сидел в тюрьме, был освобожден и реабилитирован. И вот новая напасть. Федю вызвали прямо в ЦК, и Маленков кричал на него, как это он смел убить невинного человека. На что Шубняков ответил, что выполнял указание товарища Сталина. Маленков вновь закричал на него: «Какое ещё указание, а где письменная копия?» Шубняков был не из тех, кто в карман за словом лезет:

– По ликвидациям Сталин передавал нам устные указания через наших руководителей, и вопросов о письменных копиях никто никогда не задавал.

– Так это что, если бы Сталин приказал вам меня убить, вы бы и меня убили?

– Убил бы!

– Вон отсюда! Я тебя научу, как разговаривать с руководством ЦК!

– Я, Андрей, вышел и пошёл домой прощаться с женой и детишками, – рассказывал Шубняков.

К счастью для него, гроза прошла стороной, он остался на свободе и вскоре даже стал нашим разведчиком в Австрии.

Я всё-таки решил сгонять к Эмме Судоплатовой. Она, понятно, была очень грустна, подавлена, но обрадовалась: «Что ж ты Маню не привёз, я так по ней соскучилась!» Я что-то замекал в ответ, но Эмма и сама всё прекрасно поняла – всё-таки профессиональная разведчица с уникальным опытом работы не где-нибудь, а в гестапо, куда, она еврейка, была внедрена и сработала так, что никто не смог её вывести на чистую воду. Эмма не могла понять, почему так навалились на Пашу – никаких личных счётов у Хрущёва и других больших людей к нему не было, и быть не могло, никакого компромата на них у Судоплатова тоже не хранилось, это было не по его ведомству, но почему-то они хотят его уничтожить, причём бесповоротно. Разведчица Зоя Воскресенская везде пытается пробиться в его защиту, но никто и слушать не хочет, и, скорее всего, ей это самой станет боком.

Я понимал, что за квартирой Судоплатовых наверняка следили, а, может, и прослушку воткнули. Разговор как-то скомкался, и я вскоре ушёл, чмокнув Эмму в щёку. А что я мог ещё для нее и Паши сделать, когда сам висел на волоске?

В августе я был сослан зам. начальника контрразведки в Оренбургский военный округ. Это была опала, подполковничья должность в глухой провинции. Прощай, Москва! Слава богу, не посадили...

В Оренбурге я отслужил два года, на службе приятного было мало, в военном городке, где мы жили, все прекрасно знали мою историю, что меня выгнали из Москвы как соратника Берии, а большинство тогда искренне верило, что Берия вредитель и шпион, что именно он самый страшный человек в истории страны, проливший море невинной крови. А тут ещё и Абакумова расстреляли как политического авантюриста. А я ведь у него даже одно время в замах ходил.

Яшке Броверману заодно аж двадцать пять лет вlepили. За что? Он в допросах никогда не участвовал, он только информацию, которая стекалась к нему со всей страны, анализировал, корректировал, сжимал до 3-х страничек и направлял Сталину – вот и всё, чем человек занимался. Мухи за свою жизнь не убил, так и на него репутацию палача навесили. Это Яшка-то палач? Он в жизни и в морду никому ни разу не дал, а арестованных и в глаза не видел, никогда в следствии участия не принимал и ничью судьбу не ломал. Но чем нелепее обвинения, тем скорее им верят. Изверги, убийцы, палачи, шпионы и диверсанты... У нас, уж если покатали бочку, так гром на всю улицу и пыль до небес. То верный ленинец и борец за интересы трудящихся Лаврентий Павлович, то гнусный убийца, шпион, диверсант и растлитель малолетних, двурушник и лакей мирового империализма Берия. По другому не бывает.

А тут ещё сынок Юра чёрной краски добавил. Большой уже мальчик, почти 15 лет, так нет, учудил. Приятель его из нашего же городка, сын полковника, Игорь Сугробов, спровоцировал. Вырезал Игорь от скуки и романтики печать из резины, а на ней череп и кости с надписью: «Мальчики, вступайте в Чёрный Легион». Вот

и показал этот Игорь моему Юрке эту печать, а того и уговаривать не надо, лишь бы схохмить при первом удобном случае. Взял он у этого Игоря печать, и, как только остался дежурным по классу, всем ребятам наштамповал в тетради. Ну и скандал на следующий день.

Вызывает меня начальник:

– Неприятность, Андрей Петрович, ваш сын призывает одноклассников вступать в Чёрный Легион.

– Какой Чёрный Легион?!

– Вот и выясняем, в какой. Вы ничего не знаете?

Начальник вкратце поведал.

– Вот хулиган! Я ему покажу Чёрный Легион! Я с ним разберусь!

Но начальник подозрительно покосился:

– Там уже разбираются, Андрей Петрович, идёт следствие. Если вам нечего по этому поводу мне объяснить, идите работайте.

К вечеру всё-таки узнал у наших, что Юрку допросили, его многократно спрашивали, чем конкретно занимается этот Чёрный Легион, а он сказал, что ничем, нет такой организации, что это так, глупость.

В общем, Москву решили в известность об этом не ставить. Но чёсу я ему дал – фингал под глазом поставил и с утюгом гонялся, чтобы на всю жизнь знал, как шутить. Нет, шутить надо, я сам это любил, но и о политической составляющей забывать нельзя, живо ведь дело пришьют, не на Луне живём. Потом, конечно, со смехом вспоминали, особенно, когда меня из органов выгнали, а Юрка мой стал доктором наук и заслуженным изобретателем СССР. Но тогда я капитально его повоспитывал, да и бегать он быстрее стал после этого.

Игорь тот, хотя тоже на другой день пришёл в школу с синяком на лице, с Юркой больше не разговаривал.

Вскоре нам из Оренбурга пришлось уехать. Я проявил большую неосторожность, окончательно перечеркнувшую мою карьеру. В общем разговоре с сослуживцами кто-то обронил, что Берия английский шпион. Меня настолько к тому времени заела эта всеобщая, царившая в стране кромешная глупость, что не сдержался:

– Да Берия такой же шпион, как и я!

Вот об этом уже тут же донесли в Москву. Малыгин только этого и ждал и меня уволили из органов с формулировкой: «по фактам дискредитации высокого генеральского звания», при этом положенную мне военную пенсию уменьшили в два раза, что было совершенно незаконно, но...

Продолжение – в следующем номере

Виктор БРОНШТЕЙН

ЗАДНИЙ ПРОХОД КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Уважаемый читатель! Прежде чем с возмущением и негодованием отбросить прочь, с глаз долой, текст, предваряемый таким, мягко говоря, неаппетитным заголовком, прошу принять во внимание, что перед тобой не материал для какого-нибудь «Комеди клуб», претендующий на присуждение Шнобелевской премии, а серьёзное научное исследование, ставшее предметом долгих ночных бдений автора, порождённых тревогой за будущее непутёвого человечества. Согласись, что для настоящей науки никаких запретных тем не может быть. Иначе какая же это наука? А главное – всё по правде, никакой пустой болтовни про мифические достижения британских и иных учёных.

Сегодня нашей темой станут тяжёлые металлы, в частности, свинец, с точки зрения его влияния на здоровье человека. Не ртуть, не мышьяк, доставившие славу знаменитым средневековым отравителям из семейства Борджиа, а их более скромный собрат, наделавший куда больше шороху, чем все они, взятые вместе. Не вдаваясь в детали, сразу скажем, что хотя свинец известен людям ещё с каменного века, ничего хорошего из этого знакомства, кроме, как говорится, головной боли для человечества не произошло. Скорее напротив.

Вот что нам говорят серьёзные медицинские труды. Длительное, систематическое поступление даже незначительных доз свинца в кровь чревато: слабоумием, бесплодием, выпадением волос, нарушением работы желудочно-кишечного тракта, почечной недостаточностью, а также (внимание) появлением у человека агрессивных и преступных наклонностей, вплоть до тяги к убиению себе подобных. Кажется, достаточно. Поэтому не вызывает удивления, что при

таким джентльменском наборе свинец сыграл самую зловещую роль в человеческой истории. В частности, среди серьёзных учёных бытует достаточно обоснованное мнение, что он значительно поспособствовал падению Древнего Рима, вследствие длительного злоупотребления его гражданами красным вином с примесью соединений свинца. Между прочим, если кто подзабыл или не знал вовсе – могучей империи, просуществовавшей аж целую тысячу лет.

На этом фоне кажутся уже детским лепетом кровавые разборки Ивана Грозного, «зъихавшего з глузду» под воздействием содержащих свинец красок, покрывавших стены его царских покоев, или, скажем, гибель некой полярной экспедиции из-за свинца, входившего в состав содержащих пищевые продукты консервных банок.

Уместно будет также упомянуть массовые отравления в годы сухого закона аппалачских шахтёров самодельным самогоном «moonshine», добываемым с помощью старых автомобильных радиаторов, или серьёзный экологический ущерб, нанесённый природе в окрестности американских хайвэев выхлопами автомобилей, заправленных бензином с присадками свинца и нынче почти повсеместно запрещённым. Но расслабляться, громадяне, рано. Даже и сегодня мы не можем чувствовать себя в безопасности, ибо этот зловредный металл входит в состав святая святых – женской губной помады. Так что, мужики, знайте, кто ваш враг. Врага и начальство надо знать в лицо: в этом святом деле никакая осторожность не будет чрезмерной. Я настоятельно рекомендую целоваться с вашими и чужими жёнами, не говоря уже о гёрлфрендессах, через простынку, как это делают мудрые хасиды, правда, при этом они руководствуются соображениями совсем уж высшего порядка, нашей сегодняшней науке пока недоступными.

Нетерпеливый читатель имеет теперь полное право спросить, а где, собственно, тема, заявленная автором в заголовке, и с какой целью автор морочит читателям головы своими страшилками. Терпение и ещё раз терпение. Как говорил Альфред Хичкок, создатель направления фильмов-ужасов в киноиндустрии: «В самом начале сюжета должен быть труп, а потом должно быть ещё страшней».

А теперь, как говорится, вперёд и с песней! Но для убедительности нам придётся как раз немного отмотать плёнку назад, чтобы окинуть ностальгическим взором не столь уж давние события, про-

исходившие в бесславно почившем государстве, для краткости на современном сленге именуемом «совок». Всем нам хорошо знакомо словосочетание «советский человек». Это такая ни на кого не похожая человеческая особь, взращённая в инкубаторе, именуемом Советский Союз, известном как самая читающая страна в мире. То есть будущие антропологи имеют полное право выделить советского человека в отдельный подвид: «человек читающий» (далее – ЧЧ).

Здесь, однако, уместно поставить вопрос: «А что он, родимый, собственно, читал?» Шуточное ли дело, 70 лет подряд человек, как подорванный, читал, похерив все прочие соблазны и прелести жизни. А читал он то, что ему ещё на заре советской власти было завещано улыбчивым дедушкой Лениным: советские газеты и подобную им, но не менее занятную пургу, впитывая, так сказать, всеми порами своего тела и души невзъезженную мудрость начальников и их многочисленной, хорошо оплачиваемой дворни, которой доверено было богоугодное дело идеологического воспитания человека новой формации. Причём, читал везде: дома, в постели, на работе, в трамвае, его на эту работу и с работы везущем, и, страшно сказать, даже в туалете (если оный тёплый сортир имелся), замыкая тем самым непрерывную цепочку самого тесного духовного альянса с начальством. И всё бы хорошо, но именно в туалете во весь рост перед ЧЧ вставал вопрос наличия, а, вернее будет сказать, совершеннейшего отсутствия средств персональной гигиены, т.е. инструментов для удаления по завершении головного процесса остатков продуктов его жизнедеятельности с самых интимных частей организма. Инструментов, именуемых в просторечии туалетной бумагой. Это же получается форменный когнитивный диссонанс: человек только что, по словам поэта, отдал всю душу октябрю и маю, а тут такой, извините, неожиданный облом, можно даже сказать – досадная заминка в экологической схеме круговорота говна в природе. Ведь, вот, обо всём позаботилась родная народная власть, даже про свободу слова не забыла, сердешная, записать в Конституции, в том смысле, что гарантируется она постоянными, стратегическимигосударственными запасами газетной бумаги. А про туалетную бумагу молчок, будто и нет её в природе вовсе. Не графья, мол, и так перетопчетесь.

Как- то сама собой напрашивается мысль, что социализм и туалетная бумага находятся на противоположных полюсах челове-

ской цивилизации. Ведь как только ещё в Союзе было объявлено о наступлении эпохи перестройки и гласности, туалетная бумага как бы сама собой, практически мгновенно, вынырнула из небытия, как пророк Иона из пасти кита. Как нам теперь с нежностью не вспомнить этих расхристанных, потных тёток с сияющими от счастья глазами, перепоясанных связками заветных рулонов через плечо, на манер бравого революционного матроса Железняк с пулеметными лентами через плечо.

А ведь, строго говоря, мы понятия не имеем и о том, как решали этот животрепещущий вопрос наши предки. К сожалению, гении русской литературы, как будто сговорившись, окружили эту скользкую тему стеной глухого молчания. И мы совершенно не представляем сегодня, как выходили из положения наши любимые литературные герои, вроде Евгения Онегина или Наташи Ростовской, в кратких перерывах между дуэлями и писанием любовных писем. Слабенький намёк, правда, донёсся до нас от легкомысленных французов в лице одного из героев Рабле, рекомендовавшего для этих благородных целей воспользоваться новорождёнными гусятами. Но мы, бывшие гордые резиденты совка, можем встретить подобные рекомендации лишь горькой усмешкой, расценив их как гнусное издевательство и злобную провокацию. И всё же, всё же...

Мы теперь очень хорошо знаем, как будучи поставлен перед голым фактом и поняв, что ждать помощи неоткуда, а спасение утопающих – дело рук самих утопающих, ЧЧ успешно решил эту судьбоносную проблему самостоятельно, сделав средством персональной гигиены, на зависть гнилому Западу, аккуратные нарезанные листочки всё той же, только что употреблённой им в качестве духовной пищи, газеты, предварительно любовно растерев её между мозолистыми ладонями на предмет умягчения. Газеты, неисчерпаемые запасы которой ему клятвенно гарантировало горячо любимое им государство рабочих и крестьян.

Но, как это часто бывает, дьявол кроется в деталях, и вышеупомянутый триумф воли нашего героя на длительном временном интервале обернулся бедой, на поверку оказавшись подлой и опасной мышеловкой...

А теперь – по порядку. Нам потребуется краткий экскурс в технологию полиграфического производства. Исстари известно, что

полиграфическое производство – одно из самых вредных. И в первую очередь, по той причине, что в нём как для набора шрифта, так и для других нужд используются материалы, содержащие свинец с добавками сурьмы, также не самой полезной для человека. Не надо быть зачуханным ботаником, замученным досмерти собственным и чужим интеллектом, чтобы сообразить: при износе шрифта (а изнашивается он довольно быстро по причине мягкости материала) его микрочастицы неизбежно попадают в краску, которая в итоге наносится на лист бумаги, впоследствии именуемый газетой.

Сообразительный читатель уже догадался, куда гнёт автор. Только представьте себе: всё население Советского Союза, а это порядка 300 миллионов человек, в течение 70 лет с остервенением втирало себе в причинное место, между прочим, теснейшими узами связанное с сердечно-сосудистой системой человека, материал, воздействие которого на организм иллюстрируется весьма одиозным джентльменским набором, приведенным в самом начале нашей статьи. Стоит ли теперь удивляться, что в современной России население так явно демонстрирует кое-какие из тех качеств, которые приведены в этом списке. Ими же легко объясняется удивительная податливость российских граждан к зазывным воплям наглых теле-коробейников, лукавых разносчиков залежалого и откровенно гнилого товара. Как-то легко забывают люди, что, имея такую, мягко говоря, неоднозначную историю своей родной державы, неплохо было бы, наконец, дабы не будить лиха, подружиться с собственной головой. Фактически на наших глазах происходит молниеносный скачок в процессе преобразования видов, биологическая революция, на которую матери-природе понадобились бы сотни миллионов лет. Человек читающий (ЧЧ) стремительно превращается в человека смотрящего (ЧС).

А что вы хотите? Почва старательно вспахана и унавожена, приходи и засевай её всем, что взбредёт в голову. Успех гарантирован. Отсюда произрастают и «победобесие», и Сталин, Крым и Донбасс и всё прочее, что бог ни пошлёт в будущем. И не надо никакого Чернобыля, никаких модных теорий об утрате генофонда, вполне достаточно одного, хронического, на протяжении нескольких поколений, тихого и незаметного сдабривания беззащитного нашего организма свинцовой отравой.

А теперь – что касается «современной цивилизации», упомянутой автором в заголовке. На протяжении целого столетия, вслед за так называемой Великой Октябрьской Социалистической Революцией, плодами которой мы успели нахлебаться по самое не могу, мы имеем возможность наблюдать, как в мире с удивительным упорством то тут, то там вспыхивают и перебегают с места на место злобные болотные огни, отрывка этой самой революции, сопровождаемые хором «отнять и поделить». И хотя все эти поползновения неизменно заканчиваются полным провалом, а чаще всего почти неизбежным, сопутствующим ему кровопролитием, этот бесовской натиск не ослабевает, и в процесс втягивается всё больше и больше людей, зомбированных примитивными идеями равенства. Этот яд усилиями циничных и безответственных университетских пастырей проникает даже туда, где его отродясь не бывало, захватывая, в первую очередь, незрелые юны еумы, чей жизненный опыт бесконечно далёк от того, что выпало на нашу с вами долю.

Складывается впечатление, что этот тренд сохранится и только усилится в будущем.

Если я прав, и это случится, то что-то мне подсказывает – первой его невинной жертвой будет именно туалетная бумага. И история пойдёт по уже до боли знакомому нам, протоптанному кругу. Прислушайтесь, юные: туалетная бумага – это маркер, определяющий степень подлости государства, в котором вы живёте. Если она есть, то в такой стране ещё можно дышать. Если она исчезла – то, как говорят шофёры, сливай воду. Срочно, пока не поздно, определив по карте расстояние до ближайшей границы, берите в этом направлении билет в одну сторону. И никогда не жалеете о содеянном. (Примера страны с полоумными Чавесом и Мадуро вам мало?!)

К сожалению, ничто на Земле не проходит бесследно. Период полураспада свинца составляет 700 лет. Так неужели же человечество ждёт жалкая судьба Римской империи? Или нам суждено покорно склеить лапы среди ледяного безмолвия, под равнодушным небом, усеянным колючими звёздами, повторив судьбу горемычных полярников? Бог весть... Остаётся только молиться, что запас прочности нашей цивилизации таков, что он позволит ей сохраниться хотя бы немного дольше.

Виктор Бронштейн в США с 1989 года. В прошлом – научный работник. В России не публиковался, в США печатался в газетах «Новое Русское Слово», «Еврейский Мир», журналах «Метро», «Острова», «Смехотерапия», «Время и Место», «Континент США» и альманахах Союза писателей Нью-Йорка.

Издав две книги стихов и эссе: «Игра в слова» (Effect Publishing Inc., 2006) и «Я-Поэт» (Amazon, 2014).

В последние годы активно публикует свои материалы в Фейсбуке.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Леон Михлин

«ДОМ НА КАНАЛЕ» (роман и три рассказа),

218 страниц, Нью-Йорк, 2019

Книги как дома: в одних хочется поселиться надолго, в других – на какое-то время, в третьих вовсе не хочется, едва приоткроешь дверь. Трудно сказать, каким кому покажется дом для героев этого повествования Леона Михлина, но есть ощущение,

что мимо открытых дверей читатель не пройдет, а заглянув внутрь, постарается задержаться, пока не обживет все углы.

Что питает идеи и замыслы писателя? Среди ответов, возможно, наиболее точным является такой: реалии его жизни. «Каждый пишущий пишет свою автобиографию, и лучше всего это ему удастся, когда он об этом не знает». Знакомо ли Леону Михлину высказывание Кристиана Геббеля? Но, отталкиваясь от мысли крупнейшего немецкого драматурга, жившего в первой половине 19-го века, он может сказать про себя: «Я пишу о том, через что прошел сам, что пережил и осмыслил».

Достоверность материала, составившего основу книги «Дом на канале», заметим, первой в творчестве автора, – сильная сторона его прозы. О чем бы он не писал – о особенностях американского компьютерного бизнеса, отданного на откуп в Индию, о проблемах строителя, занявшего деньги в банке и оказавшегося в финансовых клещах, о своеобразном сеансе реинкарнации, когда героиня исповедуется от имени того, кого уже нет на свете и перед кем она чувствует неизбывную вину, или о человеке на грани между жизнью и смертью из-за болезни – во всем читатели ощущают отсвет личности автора.

Сборник составлен из романа и трех рассказов. Роман «Индий-

ский гамбит», по сути – *производственный*. Термин вовсе не уничижительный, отнюдь. Есть прекрасные образцы производственного романа: скажем, «Аэропорт» и «Отель» Артура Хейли или советская классика – книга Ал. Бека «Новое назначение» – о жизни и делах сталинского наркома Тевосяна. Так что Михлину было на кого равняться...

В его художественные тексты вкраплены различные финансовые или технические подробности, в дополнение к драматическим отношениям между героями; доступным языком изложена информация о том, как функционирует та или иная организация или система и как они влияют на общество и его индивидуумов.

И одновременно «Дом на канале» – в известной степени книга исповедальная, она ведет нас по закоулкам подсознания, показывает людей на изломе, в борьбе с неблагоприятными обстоятельствами.

Герои писателя – сильные духом, их не так просто сломить. Пейзажи в книге порой соответствуют их настроению: «Вечер все больше хмурился, темнел, наливался злым декабрьским вечером. Подобно человеку, он свел в тяжёлые складки абрис улиц, лицо насупилось и смотрело исподлобья».

И однако хочется подчеркнуть важную особенность прозы Леоны Михлиной. Она оптимистична, но не дешевым расхожим «хэппи энд», а самой логикой борьбы, в которой герои закаляются и крепнут.

Кто верит в свою удачу, удачлив, говорит автор, и мы солидарны с ним...

P.S. Книга переведена на английский язык и вышла почти одновременно с русским изданием.

Заказ книги «Дом на канале» можно осуществить по телефону (646) 270-9615

или электронному адресу: guydavid094@yahoo.com

Андрей Оболенский

«7+2, ИЛИ КОШЕЛЕК МИЛЛЕРА» Роман-письмянс из девяти карт и джокера

Изд. «Рипол-Классик», Москва, 438 стр. 2019

В России появился новый яркий оригинальный писатель. Согласитесь, само название его книги не оставляет равнодушным, интригует, хочется открыть и начать читать.

Не сочтите за неуместную похвальбу, но я открыл этого автора задолго до того, как он обрел известность среди российских читателей. В журнале «Время и место» и затем во «Временах», к коим я имел и имею самое прямое отношение как редактор, были напечатаны две повести Андрея Оболенского, вошедшие в книгу. Его, пожалуй, раньше узнали и оценили в русской Америке, нежели на родине. Он сам считает эти публикации важными и существенными для творческого становления, о чем недавно написал мне...

Оболенский – коренной москвич. По профессии – врач-педиатр, ведет давнюю частную практику. Намеревается в перспективе оставить медицину и посвятить себя литературной деятельности.

Давайте послушаем его коллег-литераторов, тех, кто уже познакомился с первой большой книгой автора. На удивление доброжелательные отзывы, редко свойственные «паукам в банке» – братьям-сочинителям, зловерным и завидующим.

«У того литературного направления – булгаковско-орловского – в котором работает Андрей Оболенский, есть масса привлекательных черт, одна из которых – чудные потусторонние края, в которые ты никогда не забрёл бы... Все сюжетные повороты хранятся глубоко внутри текста и до поры до времени скрыты от читателя, а потом – что хочешь, то и думай и не жди необходимого уточнения пути., зато есть пронзительный, порою жестокий взгляд на реальность жизни».

Афанасий Мамедов

«Андрей Оболенский – литературный хулиган, нашедший в пыльном коридоре московской коммуналки дождевик Булгакова и калоши Владимира Орлова и появившийся в этом наряде на

людях. Смешно? Сложно сказать. Страшно? Относительно. Может быть, духоподъёмно, как и должно быть в русской прозе? А вот тут начинаются свистки и пляски. Герои Оболенского, хотя и любимы автором, но обречены. Пожалуй, в этом и есть настоящая правда. Вот-вот всё утрясётся, однако всё рушится, вернее укладывается в дерзкую мозаику, но не так, как ждёт читатель. Это интересная, хитровая и очень изящная проза».

Даниэль Орлов

«Самобытная проза Андрея Оболенского сродни самой жизни, которая всегда ставит вопросы, но на самом-то деле не всегда дает на них ответы. В его прозе множество реальностей, и в каждой из них нет ни лишних событий, ни случайных героев, там всё уплотнено до сути. Однако его книгу можно читать и для развлечения, не вдумываясь: для этого она сюжетна и пропитана интригой. Искушенный же читатель может дойти до глубин – вжиться в смыслы, подтексты и лишь обозначенные вопросы, самому искать на них ответы. И только тогда становится понятно, почему писатель называет свою книгу романом. Этот роман крепко сплетает судьбы и времена напоминая о беспощадной хрупкости добра, от которой не скрыться нигде и никогда».

Евгений Бень

«Андрей Оболенский не заигрывает с читателем, автор вместе с нами идёт вслед за сюжетом, предлагая читателю самому поучаствовать в осмыслении странных событий, происходящих с его героями. И это не преувеличение: в финале каждого произведения нас ждёт совсем не хеппи-энд и не присущий нынешней российской литературе «треш и угар», писатель оставляет место для фантазии читателя, полагая его равным себе и интригуя всё новыми тайнами. «Кошелёк» – это не мейнстрим и не модное чтиво, это самая настоящая современная литература, которую давно ждёт российский читатель».

Виталий Сероклинов

Со многими высказываниями я согласен, они избавляют меня от необходимости дотошно описывать сюжеты всех повестей и новелл.

«7 + 2, или Кошелек Миллера» – и в самом деле книга необычная. На первый взгляд, между ее частями нет ничего общего, нет сквозного сюжета, нет главных героев. Но вся хитрость в том, что они – подразумеваются. Большая история – за кадром, ее, как паянс, надо собрать, учитывая при этом, что от каждой открытой карты зависит итог. И это заставляет читать книгу внимательнее, искать точки соприкосновения. Но и каждая из маленьких историй – сама по себе самоценна и самодостаточна. А получился роман-фантазмагория, в которой есть и увлекательный сюжет, и хороший, не замусоренный русский язык, и знакомые до боли интонации.

...Роман заканчивается эпилогом, написанным, понятно, в фантазмагорическом ключе. (А как же иначе?!)

«Сейчас я на удивление спокойно проживаю жизнь одного милейшего и очень разумного обывателя, никому не известного литератора по имени Андрей Оболенский. И странная вещь случилась: впервые за несколько столетий мне приказали – не спрашивайте, кто и зачем, я сам этого не знаю – заставить господина Оболенского забыть о мелких житейских заботах и написать эту книгу, а потом обязательно опубликовать, что я послушно исполнил. На этом моя власть над ним закончилась, и дела пошли по-старому. Мы с Андреем пишем рассказы и обдумываем новую книжку, а я иногда, очень нечасто, размышляю о том, кто такие мы, Вечные, как сложится моя следующая жизнь и что суждено печальной стране, где я прожил четыреста лет, перевидал всё, что возможно, испытал мучения, радости, страх, разочарования... да чего только не испытал...

Но так ничего и не понял?

Давид Гай

Вера КОРЧАК

**АМЕРИКА:
ОТ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ К КОММУНИЗМУ?**

Отклик на статью Владимира Фрумкина «Что связывает коммунизм и либеральную демократию», журнал «Времена», №3 (11), 2019.

«Я слышу у вас иностранный акцент. Разрешите полюбопытствовать, из какой вы страны?»

«Из России (СССР)».

«О, как интересно!» – восклицает мой любознательный сосед в самолете (магазине, библиотеке, парке – где угодно, ведь этот вопрос иммигранту приходится слышать в самых разных местах).

Вежливо улыбаюсь. Надеюсь, что больше вопросов не последует. И знаю, что надеюсь зря – потому что все это было уже не раз, и примерно в одном и том же порядке. Так и есть:

«А почему вы оттуда уехали?»

«Хотелось свободы».

«О да, свободы!» – кивает головой, но явно неудовлетворен и даже слегка смущен. Продолжает смотреть на меня, не уходит (особенно если уходить некуда, например, сидим в самолете). Явно ждет продолжения.

Терпеливо объясняю: «В России свободы не было, государство все за нас решало, и где жить, и что читать, и где работать... Государство управляло всей экономикой.»

Чувствую себя обязанной продолжать: ведь интересуется человек! И это замечательно: где ему еще услышать о прописке по месту жительства, о трудовых книжках, о внутренних паспортах, о коммуналках, о десятилетнем (и дольше) ожидании получения отдельной квартиры, о норме на жилплощадь (в моем городе по 7 квадратных метров на человека, а докторам наук, ударникам производства,

партийным и другим заслуженным деятелям – по 9), о цензуре, о запрещенной литературе, «самиздате», об очередях за основными продуктами питания и прочих прелестях жизни в тоталитарном государстве.

Слушает недоверчиво: не преувеличиваю ли я. Многого не может понять. Оживляется только при упоминании очередей за продуктами:

«О да, я читал об очередях за хлебом! Видел фотографии в газете!» – ему теперь хоть на что-то можно опереться, хоть что-то он уже где-то слышал. Он рад.

И тут же коронный вопрос, который всегда убивает наповал: «Но почему же народ это терпел? Почему не сопротивлялся?»

Конечно, сопротивлялся! Вкратце о сопротивлении большевикам, о казнях и расстрелах, о ГУЛАГе, о сталинизме, о 60 миллионах погибших, об инакомыслящих, о психушках, о произволе властей... Ему это тяжело слушать, непонятно, переключается на другое:

«А почему именно в Америку?» – спрашивает.

«Самая свободная страна, и самая гостеприимная.»

«Ну уж скажете тоже! В Америке тоже много несправедливости и притеснений, и тоже есть police brutality», – отходит, потерял интерес. Не понравился ему мой ответ. Догадываюсь, что Америка ему не нравится. Смотрю вслед. Молодой...

Подумалось: вот парадокс – о хлебных очередях, которых он никогда в жизни не видел и в которых никогда не стоял, он понял, а о свободе, которой окружен с пеленок, которой наслаждается день и ночь – не понял. Не замечают ее американцы, не ценят. Привыкли.

Во время моей поездки в США в 1990 году мои американские друзья повезли меня на выступление какого-то советского экономиста. Это была моя первая поездка за рубеж, да еще и кратковременная, и неизвестно, сумею ли я еще побывать в этой стране. Хотелось больше посмотреть Америку, а не тратить время на какого-то советского экономиста. Но отказаться было неудобно: американцы очень радовались, что могут предоставить своей гостье такую возможность, и почему-то считали, что я очень захочу встретиться с соотечественником.

Выступление, как оказалось, проходило в красивом ресторане и сопровождалось изысканным обедом. Круглые столы, белые ска-

терти, прекрасная сервировка, услужливые официанты... На эстраде – выступающий. Кто-то его представил, звучат аплодисменты. Не помню ни его имени, ни темы выступления. Но запомнилось, что он, рассуждая о разбазаривании государственных средств, заявил, что деньги в государственных сундуках – ничьи, поэтому их и разбазаривают. По залу прокатился шумок, потом – иронический смех. Было ясно, что с выступающим не согласны и что его заявление считают забавным. Я недоуменно обернулась к моим спутникам: почему такое веселье? Они объяснили: «Да как же деньги ничьи? В Америке это *наши* деньги, которые мы зарабатываем своим трудом! Каждый мало-мальски грамотный американский школьник знает, что все поступления в государственную казну – это налоги, собираемые с граждан США и американских бизнесов. На эти деньги мы, американские налогоплательщики, содержим правительство, полицию, армию, оплачиваем создание и поддержание инфраструктуры».

А теперь перенесемся в сегодняшний день – почти на 30 лет вперед (2019). Закончились первые два раунда дебатов между кандидатами от Демократической партии на пост Президента. Во время дебатов кандидаты изо всех сил старались перещеголять друг друга обещаниями бесплатных благ: кто больше раздаст избирателям, став Президентом. Бесплатная медицина, бесплатное образование, бесплатное всё и вся. Откуда на все это возьмутся средства, скромно умалчивали, но давали понять, что средства найдутся, и они будут «одаривать» население, так сказать, из государственного кармана. Правда, некоторые вскользь проговорились: один предлагал растянуть введение всех этих благ на 2 года, а другой - на 10, чтобы было «менее болезненно» (!!!) для населения (то есть для «среднего класса», так как бедняки налогов вообще не платят, а для самых богатых увеличение налогов не будет таким уж болезненным). Кто-то после этих дебатов подсчитал, во сколько такая халява обойдется стране, то есть налогоплательщикам – десятки триллионов долларов! (Мировой банк: на 2017 год стоимость *всей* мировой экономики примерно 80 триллионов долларов). Вот и возникает вопрос: вызвали ли эти заявления кандидатов ироничный смех зрителей и слушателей, подобный слышанному мной 30 лет назад? К сожален-

нию, уверенности в этом нет. Ведь кандидаты на пост Президента самой мощной державы мира наверняка знают свой электорат и не станут произносить такого, за что их поднимут на смех. Тридцать лет назад их, пожалуй, освистали бы за подобные высказывания. Что же изменилось за эти годы?

Изменилось общество. Американское общество формировалось в условиях, радикально отличающихся от современных. Его создавали преимущественно беженцы из стран Европы, которые приносили с собой европейскую культуру и хозяйственные навыки. Они – и это важно – отличались особым менталитетом, отражающим богатую событиями европейскую историю. Независимо от причин бегства, основная масса беглецов отличалась инициативой, смелостью, решительностью, и, главное, ярко выраженным индивидуализмом и стремлением к свободе. В процессе создания нового государства этим ярким индивидуалистам удалось найти (методом проб и ошибок) компромисс между обеспечением общественного порядка с одной стороны и индивидуальной свободой с другой – между потребностями и правами коллектива и потребностями и правами личности. Сформировалось уникальное, никогда ранее в истории человечества не существовавшее государство – «of the people, by the people, for the people». (Приблизительный перевод: «Правительство, избранное народом, из народа, в интересах народа»). Это была настоящая «власть трудящихся», а не казенный лозунг, используемый правителями нашей исторической родины для маскировки своей тотальной власти над бесправным населением.

Больше всего отцы-основатели опасались превращения молодого государства в тиранию меньшинства, которое сосредоточило бы в своих руках все рычаги правления и навязывало бы свою волю народу. Понимали они, что государство – неизбежное зло, понимали и ненасытность любителей власти («дай им палец, они и руку откусят»). Поэтому разработали систему государственного управления так, чтобы федеральное правительство как можно меньше вмешивалось в жизнь отдельных штатов и отдельных граждан. Американская Конституция была создана со специальной целью защитить индивида от государства, и большинство ее статей носит запретительный характер, четко определяя, что правительство НЕ может

делать, и очерчивая границу его власти. Конституция очень умно ограничивала власть правительства, разбив его на три независимые ветви и устанавливала сдержки и противовесы, позволяющие этим трем ветвям контролировать и сдерживать друг друга. Можно без преувеличения сказать, что американская система власти и государственного устройства является наиболее эффективной из всех, когда-либо созданных человечеством.

...С тех давних пор многое изменилось, и обещания политиков взять всех желающих под крылышко государственной опеки путем «честного» перераспределения доходов вызывает интерес у немалой части населения. **Об этих тревожных изменениях в общественном сознании и пишет Владимир Фрумкин в своей статье «Что вызывает коммунизм и либеральную демократию»** (журнал «Времена», №3, 2019). Статья посвящена анализу идей польского философа, историка и писателя Рышарда Легутко. В статье также дается краткий анализ книги Рышарда Легутко «Демон в демократии: тоталитарные соблазны в открытых обществах». Легутко отмечает угасание классической культуры, на которой основывается западная цивилизация, вульгаризацию и опошление традиционной западной морали. Он указывает на тот тревожный факт, что либеральная демократия, лежащая в основе западной государственности, начинает приобретать ряд черт, свойственных коммунизму. Фрумкин, впрочем, предупреждает читателя, что у Легутко слово «либеральный» большей частью употребляется не в классическом понимании, а в том значении, которое оно приобрело в последние десятилетия: это идеология лево-радикального прогрессивизма.

Напомним читателю, что никакая идеология не существует сама по себе: ее создает организация на основе какого-либо учения. На основе учения Маркса, например, было создано множество идеологий: марксизм-ленинизм, троцкизм, сталинизм, маоизм и проч. За каждой из них стояла какая-либо организация. Какая же организация стоит за идеологией «лево-радикального прогрессивизма»? Не сама же собой либеральная демократия «приобретает ряд черт, свойственных идеологии коммунизма».

Безусловно, сегодня такой организацией является Демократическая партия США. Лево-либеральные идеи распространяются ею весьма активно. Лево-либеральными являются почти все средства

массовой информации. Они в значительной мере являются пропагандистской машиной Демократической партии.

На 2015 год согласно федеральному регистру в правительстве насчитывалось 430 ведомств, агентств и суб-агентств. Это – миллионы чиновников. Они штампуют многочисленные нормативно-правовые акты, правила и постановления, имеющие силу законов, которым граждане США обязаны подчиняться. Именно через эти ведомства государство сосредотачивает в своих руках (точнее: в руках своей бюрократии) все больше функций. Поэтому с некоторым основанием можно сказать, что современной Америкой правит бюрократия. При этом не важно, какой партии придерживается тот или иной бюрократ – он даже может быть беспартийным. Но всех их объединяет стремление увеличить роль правительства (а значит, и свою собственную) в жизни граждан, сделать государство административным, превратить население в послушных работников, служащих государству (а значит, им).

Если иметь в виду классическое определение либерализма, то, казалось бы, у него не только нет ничего общего с социализмом (коммунизмом), но эти два учения находятся на противоположных полюсах идеологического спектра. Исторический либерализм означает защиту прав и индивидуальных свобод человека, включая право на собственное мнение и право распоряжаться плодами своей деятельности (частная собственность). Но сегодняшних либералов, следуя примеру писателя Кима Холмса*, правильней назвать «иллибералами». Они проявляют яростную нетерпимость ко всем, не согласным с их точкой зрения. Либерализм – это философия, в рамках которой «личность отождествляет себя с самой собой» (пользуясь выражением Андрея Амальрика), то есть является суверенной и признает права других таких же суверенных личностей. В социализме личность отождествляет себя с классом или с какой-то группой. К философии либерализма тяготеют индивидуалисты, ценящие свою независимость и свободу, а к философии социализма – «угнетенные», малоимущие, завистливые, озлобленные. «Угнетенные» классы в США днем с огнем не сыщешь, поэтому лево-либералы их

* Kim R.Holmes “The Closing of the Liberal Mind: How Group think and Intolerance Define the Left”.

создают искусственно, внушая различным «меньшинствам», что их угнетают либо белые, либо капиталисты, либо консерваторы, либо гетеросексуалисты, да и вообще кто угодно, поэтому они нуждаются в защите государства, а угнетателей надо наказывать.

Попробуй навяжи свою власть индивидуалистам, ценящим личную свободу и не нуждающимся в опеке государства!.. А вот «угнетенными», слабыми, завистливыми и озлобленными управлять гораздо легче.

Этим объясняется и поддерживаемая членами Демократической партии политика открытых границ, и осыпание бесплатными пособиями вновь прибывающих в страну нелегальных иммигрантов, и установка на «этнический федерализм» (мультикультурализм), активно внедряемая с середины XX века. Эта установка требует законодательного закрепления особых прав этнических (а в последнее время и различных других) «меньшинств», что в принципе означает отказ от обязательной ассимиляции со всеми вытекающими последствиями. Те принципы и идеи, которые 30 лет назад знал каждый мало-мальски грамотный американский школьник, новые иммигранты так и не усваивают.

Не усваивают их и сегодняшние американские школьники и студенты. Система среднего и высшего образования США уже давно стала лево-либеральной и бомбардирует неокрепшие и податливые молодые умы социалистической и антиамериканской пропагандой.

К этому следует добавить и увеличение доли коренного населения Америки, приученного к пособиям и прочим подачкам государства. По официальным данным 47% всех американцев не платят федеральных налогов. Такой американец не тяготится зависимостью от государства. Не станет он защищать и индивидуальную свободу от посягательств государственной власти, так как власть его освобождает «от важных обязанностей, сильно затрудняющих его жизнь» (Легутко). На этот контингент, видимо, и ориентировались кандидаты от Демократической партии на пост Президента в упомянутых выше дебатах. Но он пока не настолько велик, чтобы определить исход выборов. Поэтому лево-либеральные политики прикрываются идеологией либерализма, которую безжалостно кромсают и перекраивают, подгоняют под свои цели.

Однако не будем забывать: в Америке дух свободы еще не вытравлен. К тому же в коллективном сознании нации еще жива память о том, сколько бедствий и горя в прошлом веке принес миру коммунистический тоталитаризм (вместе с тоталитаризмом фашистским).

Как ни манипулируй идеологиями, превратить либерализм в социализм (коммунизм) – задача нелегкая. Но как тут не вспомнить апологета коммунизма Саула Алинского, который утверждал, что Америка – слишком стабильная и преуспевающая страна для революционных преобразований, и пока в ней существует средний класс, сделать ее социалистической не удастся ни реформами, ни тем более революционным путем. Более пятидесяти лет назад он написал книгу «Правила для радикалов» о стратегии и тактике «мирного» захвата власти социалистами в Америке с помощью агитации и пропаганды марксистского толка и создания соответствующих общественных организаций. Он поучает, что, в отличие от учения Маркса-Ленина, теперь в Америке и других развитых странах не два класса – бедных и богатых, а три: между бедными и богатыми сформировался обширный «средний класс». Вот этот класс и надо ослабить, развалить, разобщая его членов, натравливая друг на друга, создавая моральный, политический, социальный и экономический хаос. Одной из главных целей любого начинания должна быть *поляризация* общества. И конечно, для всего этого надо создать другую идеологическую парадигму путем очень постепенного переноса акцента с идеи свободы и индивидуализма на идеи равенства, братства (уровнировка и коллективизм) и социальной справедливости.

Социал-либерализм, которого придерживается Демократическая партия, отличается от классического либерализма тем, что хотя признает свободное предпринимательство и право личности на самоопределение, но с той оговоркой, что государство **должно и обязано** вмешиваться в рыночные отношения с целью поддержки менее обеспеченных слоев населения **путем перераспределения доходов**.

Если внимательно прислушаться к риторике кандидатов на пост Президента от Демократической партии и к выступлениям ведущих членов этой партии, становится ясно: позиция партии

по основным экономическим и социальным вопросам значительно сдвинулась влево («покраснела»). Новые социал-демократы, в противоположность старым социал-либералам, стоят на позиции «больше социализма, меньше капитализма», вплоть до национализации целых отраслей (например, здравоохранения). Еще десять лет назад демократические социалисты считались маргиналами и маячили на задворках американской политической арены, а теперь они в открытую заявляют о своих взглядах, имеют много поклонников и даже побеждают на выборах (например, Александрия Окасио-Кортес, а также Рашида Тлаиб и Илан Омар). А демократический социалист Берни Сандерс не только баллотировался в 2016 г. на пост президента от Демократической партии, но и почти «побил» Хиллари Клинтон. Он вновь баллотируется на президентский пост в следующих выборах (2020), и на момент написания этих строк занимает второе место по популярности среди кандидатов от Демократической партии.

Более того, в риторике лево-либералов и прогрессивистов все более ясно звучат положения, характерные для тоталитарной идеологии. Эти положения не доказуемы и должны приниматься на веру. Поэтому назовем их аксиомами. Это аксиома «раскола», аксиома «непримиримости», аксиома «победы» и аксиома «награды»**. В идеологических установках Демократической партии аксиома «раскола» прослеживается очень четко в виде деления общества на ущемленные «меньшинства» и привилегированное белое «большинство» (вот она, поляризация общества по Алинскому!). А чтобы убедить «меньшинства» в том, что они, во-первых, действительно «ущемлены», и во-вторых, сами себя защитить не способны, используется аксиома «непримиримости». Эта аксиома утверждает враждебность и непримиримость «их» и неустрашимость «раскола». Третья аксиома: «мы победим» необходима для привлечения сторонников и деморализации противника. Четвертая аксиома – обещание награды после «победы». Это компен-

** Для более подробного описания этих аксиом см. А. А. Корчак «От идеологии к идеократии», журнал «Мосты», №56, с.164-184. Также А.А. Korchak «Contemporary Totalitarianism: A Systems Approach», Columbia U. Press, 1994, глава 8.

сация участникам за их усилия. Аксиома переносит эту компенсацию в будущее.

Иллюзорность всех таких обещаний проявляется, в частности, в том, что «награда» во всех случаях удаляется по мере приближения к ней. Иллюзорны и обещания американских прогрессивистов обеспечить своим приверженцам бесплатную медицину, бесплатное обучение в колледжах и университетах, «прощение» займов на образование (это – совсем недавнее обещание Берни Сандерса) и т. п.

Тот факт, что лидеры Демократической партии открыто пропагандируют идеалы социализма – что было совершенно невозможно даже в совсем недавнем прошлом – указывает на то, что достаточно большие группы населения к этой пропаганде готовы и ее охотно воспринимают. И это опасно.

«О, боже! Я не хочу умирать! Я не хочу умирать!!!»

Средних лет афроамериканка истошно вопила: O, my god! I don't wanna die, I don't wanna die! – и если бы не она, вряд ли в вагоне обратили внимание на этот неприметный пакет.

Геннадий Кацов

Кэрол (обводя взглядом дом). Что тут происходит? Последний раз я видела подобное побоище 30 лет назад в сумасшедшем доме под Бостоном. Мы туда пришли с дедушкой вручать больным рождественские подарки. Но ведь там были – больные люди...

Виктор Дальский

Я сегодня уже не усну
одолела тоска
я в плену
одолела тоска – не печаль
и пустая доска как скрижаль
со следами затёртых надежд
отлетевших как блёстки с одежд
тьень опутанных сетью вранья
где, Россия, свобода твоя?..

Марина Тюрина-Оберландер

С этого дня Галич и Фрумкин для советской власти стали уже не потенциальными, а явными противниками. Галича исключили из творческих союзов, его пьесы запретили для постановок в театрах, в титрах фильмов вырезали его имя, выжали отовсюду, откуда могли, а через несколько лет – и из страны.

Яков Фрейдин

По официальным оценкам, Тигра, поющего «Долли» в новогоднем «Голубом огоньке» 1966 года, прослушали сорок миллионов советских зрителей – только в одном временном поясе. По неофициальным – все восемьдесят. За годы феноменального успеха спектакля «Хелло, Долли!» число его театральных зрителей в разных странах слегка превысило 12 миллионов...

Виктор Норд